ВЕЛИКИЕ ВЛАСТИТЕЛИ

в романах

АВГУСТ ОКТАВИАН

АВГУСТ ОКТАВИАН

63 до н. э. – 14 н.э.

Джон Уильямс

АВГУСТ

исторический роман

Москва
АРМАДА
1997

УДК 82-311.6(02)
ББК 84.(7)я5
А 18

John Williams
AUGUSTUS

Составители серии
В. М. Мартов,
С. А. Смирнов

Художник
В. Н. Любин

Перевод с английского
Н. В. Прокунина

© Сост., художественное оформление, АРМАДА, 1997
© Перевод, Прокунин Н. В., 1997
© Вступительная статья, перевод, Смирнов С. А., 1997

ISBN 5-7632-0231-7

Из энциклопедии «Британика».
Издательство Вильяма Бентона,
1961, т. 2

АВГУСТ ОКТАВИАН, римский император (63 г. до н.э. — 14 г. н.э.). Август* — почетное, фамильное имя, присвоено сенатом в 27 г. до н.э. Гай Октавий — имя, данное при рождении. С 44 г. до н.э. известен как Гай Юлий Цезарь в соответствии с именем своего приемного отца. Для периода 44 — 27 гг. до н.э. в английской исторической науке принято называть его Октавианом*, хотя сам он никогда не использовал имя Октавиан. Имя Август (*греч.* Севастос) в действительности носили все последующие императоры Рима, однако историки никогда не использовали это имя с целью выделить из них кого-либо особо.

Октавий родился в Риме 23 сентября 63 года до н.э. и происходил из состоятельного и уважаемого, однако замкнутого семейства из города Велитры, область Лаций. Его отец, Гай Октавий (ум. 58 г. до н.э.), первый член рода, ставший сенатором, в 61 году был претором* и успешно управлял Македонией. Его мать, Атия, была дочерью Юлии, сестры великого Юлия Цезаря, и это родство определило карьеру Октавия. Цезарь выделял юного Октавия из числа своих родственников, возлагая на него особые надежды: он вручил ему знаки военных отличий при своем африканском триумфе, брал его с собой в испанскую кампанию 45 года, сделал патрицием* и обеспечил его избрание понтификом*. Наконец, из-за отсутствия законного сына, Цезарь в своем завещании объявил Октавия своим приемным сыном и наследником трех четвертей имущества.

Период возвышения. Когда в 44 году произошло убийство Цезаря, Октавий получал образование в Аполлонии Иллирийской. Он отправился в Италию и, узнав, что стал сыном и наследником Цезаря, решил добиваться получения опасного

наследства. Его позиции были очень слабы. Он был замкнутым восемнадцатилетним юношей, без опыта и влиятельных связей. Антицезарианская партия отнеслась к нему с естественным подозрением, а признанный лидер цезарианцев, Марк Антоний*, захватив деньги и архив Цезаря, ответил ему отказом. Имея в своем активе только факт усыновления Цезарем, Октавий незамедлительно присвоил себе имя Цезаря, раздал полагавшиеся народу, согласно завещанию Цезаря, деньги, причем из собственного кармана, и устроил за свой счет ludi Victoriae Caesaris (игры в честь побед Цезаря). В то же время Октавиан старался снискать расположение Цицерона*, который считал, что имеет возможность воспользоваться юношей как средством в борьбе с Антонием, а затем сбросить его со счетов. Когда назрел разрыв между Антонием и сенатом, Октавиан нелегально собрал войско из трех тысяч ветеранов армии его приемного отца, а также сумел переманить на свою сторону два легиона Антония. Объявив войну Антонию, сенат по предложению Цицерона определил официальный статус Октавиана, сделав его сенатором и объявив imperium pro praetori (см. «Претор» в комментариях); при этом сенат также обязал его помогать в ведении войны двум консулам*, избранным в 43 году. Антоний был разбит у Мутины (Модена), однако оба консула погибли, и таким образом Октавиан оказался командующим всей победоносной армией. Он немедленно потребовал себе консульства и, когда сенат стал возражать, двинулся маршем на Рим. Он был избран консулом 19 августа 43 года вместе со своим дядей Квинтом Педием и исполнил свой первый долг перед приемным отцом тем, что ввел закон о проскрипциях* в отношении его убийц. Теперь он мог вести переговоры на равных с Антонием, который объединил силы с Марком Эмилием Лепидом, правившим Галлией. Втроем они встретились в Бононии (Болонья) и приняли соглашение разделить между собой верховную власть. Они были провозглашены триумвирами с высшими полномочиями на срок с 27 ноября 43 года по 31 декабря 38 года.

С целью запугать оппозицию и обеспечить себя средствами, триумвиры подвергли проскрипциям триста сенаторов и две тысячи человек из сословия всадников*. Затем Антоний и Октавиан двинулись в Македонию, чтобы сокрушить Марка Юния Брута и Гая Кассия (убийц Цезаря). После победы при Филиппах (42 г.) Антоний принял под свое управление восточные провинции, а Октавиан вернулся в Италию, где, проведя безжалостные конфискации, обеспечил ветеранов земельными наделами. В 41 году он был вынужден вести войну в

Перузии (Перуджа), подавляя мятеж, поднятый братом Антония Луцием Антонием, которого поддерживала Фульвия, супруга Антония. Антоний болезненно воспринял действия Октавиана, однако в 40 году в Брундизии (Бриндизи) между ними было достигнуто примирение, согласно которому Антонию отходили все восточные, а Октавиану — все западные провинции, за исключением Африки, оставшейся за Лепидом; для подкрепления союза Антоний женился на Октавии, сестре Октавиана (к тому времени Фульвия умерла). В следующем году в Мизене, у Неаполитанского залива, был подписан пакт с Секстом Помпеем*, в котором триумвиры признавали его власть над Сицилией, Сардинией и Корсикой. Затем Антоний вернулся на Восток. Секст вскоре денонсировал Мизенский пакт, а между Октавианом и Антонием снова возникли трения. Однако стараниями, которые приложил Октавиан, в 37 году в Таренте (Таранто) было вновь достигнуто примирение.

Триумвират, легальный срок власти которого истек, был продлен на следующие пять лет, и триумвиры приняли соглашение о совместных действиях против Секста Помпея. В 36 году Октавиан и Лепид организовали совместную высадку на Сицилии; хотя сам Октавиан потерпел жестокое поражение, его верный сподвижник и лучший военачальник Марк Випсаний Агриппа спас положение, и Секст был разбит. Лепид, повздоривший со своим союзником после победы, был покинут своими войсками и смещен. Октавиан, имея с 38 года титул «imperator», изначально обозначавший судебную должность, в ведении которой находилось военное командование, и называя себя imperator Caesar divi filius (император Цезарь, сын бога), возвратился в Рим, чтобы отпраздновать овацию*, и среди прочих почестей получил священное звание плебейского трибуна*.

Теперь Октавиан обладал властью над всем Западом, а Антоний — над всем Востоком, и становилось ясно, что столкновение двух верховных властителей неминуемо. Октавиан приобрел авторитет и популярность благодаря победе над Секстом, которая обеспечила безопасность путей зерновых поставок в Рим. В продолжение последующих нескольких лет он и его сподвижники, особенно Агриппа, плодотворно занимались общественными делами. Кроме того, Октавиан, собрав свои войска, добился еще большей славы при завоевании Иллирии (Далмации) в 35 — 33 годах. Тем временем Антоний терял свое влияние из-за безуспешных парфянских кампаний и становился чуждым римскому народу, сойдясь с Клеопат-

рой*. Таким образом, Октавиан получил возможность возвыситься как глава Италии и Рима, выступающий против восточной царицы и ее опустившегося любовника.

Кризис наступил по завершении второго пятилетнего срока триумвирата, когда Октавиан потребовал от Антония сложить свои властные полномочия. Консулы и более трехсот сенаторов выехали из Италии и присоединились к Антонию, однако Октавиан вынудил дев-весталок* аннулировать завещание Антония и обнародовать его с подиума сената. То был весьма необдуманный документ, возвышавший Клеопатру и всех ее детей, рожденных от Антония, и возбудивший против того общественное мнение. Октавиан получил возможность добиться клятвы в личной верности от всего народа Италии, потребовавшего от него стать вождем в грядущей войне. Все западные провинции приняли его сторону. Война была объявлена конкретно Клеопатре, и в 31 году Октавиан, установив свое государственное положение принятием консульства (в течение 32 г. он, по существу, оставался частным гражданским лицом), принял военное командование. В битве при Акции 2 сентября 31 года он нанес решительное поражение объединенным армиям Антония и Клеопатры, которые бежали в Египет. 1 августа 30 года он вступил в Александрию; Антоний и Клеопатра покончили с собой. Был аннексирован Египет и захвачены огромные сокровища. В следующем году Октавиан возвратился в Рим, где он отпраздновал великолепный тройной триумф: завоевание Иллирии, победу при Акции и захват Египта.

Законодательство Августа. Таким образом, власть Октавиана в империи стала неоспоримой, однако законность ее оставалась под вопросом. Начиная с 31 года он стал ежегодно избираться на консульство, но при этом превышал все законные полномочия, требуя себе неограниченной верховной власти в соответствии с народной клятвой 32 года. Теперь, после окончания войны, дальнейшее укрепление монархической власти могло оттолкнуть от него высшие и средние слои италийского населения, настроенные в республиканском духе. В 28 году он занялся отменой противозаконных актов триумвирата и вместе со своим другом, консулом Агриппой, провел перепись и жесткую чистку сената, который чересчур разросся и имел в своем составе множество нежелательных лиц. Затем, 13 января 27 года, он торжественно сложил с себя чрезвычайные полномочия и оставил за собой одно из двух ежегодных консульств. В благодарность 16 января 27 года сенат присвоил ему почетное имя Август. Он призвал его не оставлять республику, и он согласился взять на себя дело умиротворения

провинций, не поддававшихся управлению. С этой целью он был назначен на десять лет правителем очень больших провинций, включая Испанию (кроме ее южной области, Бетики), Галлию, Сирию и Египет, а также получил полномочия объявлять войны и заключать договоры. За исключением этих полномочий, имевших прецеденты в эпоху поздней республики, когда такие чрезвычайные полномочия были по голосованию в сенате даны Помпею* и Цезарю, государственный строй республики был восстановлен. Были возобновлены свободные выборы; магистраты под руководством сената исполняли свои обычные функции; проконсулы, получавшие власть над провинциями сроком на один год, более не подчинялись Августу. На монетах Август был обозначен как libertatis populi Romani vindex (защитник свободы римского народа). При этом он сохранил контроль над всеми легионами, за исключением немногих — тех, которыми командовали проконсулы Иллирии, Македонии и Африки.

Последующие три года (27 — 25 гг.) Август провел в своих западных провинциях, где ему наконец удалось подчинить беспокойные племена Северо-Западной Испании, Астурии и Кантабрии. Притом каждый год он выставлял свою кандидатуру на консульство и, естественно, избирался на эту должность. Столь продолжительное пребывание в качестве консула не предусматривалось установлениями 27 года и потому стало вызывать нараставшее недовольство. С одной стороны, знать имела свои претензии из-за того, что шансы получить консульство упали вдвое. С другой стороны, все осознавали, что столь длительное пребывание одной персоны в высшей государственной должности противоречит закону и духу республики. Недовольство достигло высшей точки в 23 году, когда Авл Теренций Вар Мурена, второй консул и до того верный соратник Августа, организовал заговор с целью его убийства. Август понял, что, если он хочет избежать судьбы Юлия Цезаря, ему придется идти на более серьезные уступки, и с 1 июля 23 года он отказался от консульства, после чего, за исключением двух лет (5 и 2 г. до н.э.), никогда более не добивался его. Он остался проконсулом своих провинций (его правление в них не прекращалось вплоть до 17 г.), однако, желая показать, что его власть продлится не долее, чем это будет необходимо, он отказался от провинций, в которых уже был установлен мир,— Нарбонской Галлии (Южной Галлии) и Кипра. В качестве компенсации за потерю консульства он получил некоторые привилегии. Было установлено, что, в отличие от других проконсулов, он не утрачивает imperium, т. е. коман-

дной должности в войсках, по возвращении в Рим и получает majus imperium, или высшие полномочия по отношению к другим проконсулам, т. е. в случае необходимости имеет право не считаться с их решениями. Он также получил полномочия созывать сенат и определять его деятельность. Наконец, он получил пожизненную власть плебейского трибуна. Значение этой власти не совсем ясно. Она давала Августу определенные права: вводить законодательные акты и накладывать вето на распоряжения сената и должностных лиц, однако этим правом он пользовался в редких случаях, хотя оно и могло оказаться полезным при каких-либо опасных ситуациях. Это был скорее пропагандистский прием, посредством которого он заручился поддержкой простого народа, считавшего трибунов защитниками и поборниками своих прав.

В 22 году Август отбыл в продолжительную поездку по восточным провинциям и не возвращался в Рим вплоть до 19 года. Если республиканская оппозиция была удовлетворена новым положением дел, то народ им был недоволен и предлагал Августу установить диктатуру, принять годовое консульство с бессрочным продлением, а также ряд других неординарных должностей. В 22 и 20 годах народ настаивал на его избрании консулом, однако он отказался принять эту должность. Казалось, что народные массы действительно были напуганы возможностью того, что Август окончательно удалится в провинции и бросит их на произвол сената. Обеспокоенный угрозой мятежей, подавить которые власти не были способны, сенат потребовал от Августа вмешаться в ситуацию и отпраздновать свое возвращение у алтаря Fortuna Redux (алтаря богини Фортуны, покровительствующей тем, кто возвращается на родину). Теперь республиканцы были готовы пойти на уступки. Согласно историку Диону Кассию, титул «imperium» был присвоен Августу пожизненно. Достоверность этого факта сомнительна, однако несомненно то, что с тех пор Август обладал исполнительными полномочиями на территории Рима и Италии на уровне консула. Законность его положения была теперь утверждена окончательно и никаким изменениям впредь не подвергалась. Он был единогласно избран как pontifex maximus* в 12 году, после смерти Лепида, который занимал эту должность ранее, а во 2 году до н.э. его приветствовали как pater patriae (отца отечества), однако все эти титулы являлись только проявлениями почета. В должности правителя провинций его восстанавливали с промежутками в пять и десять лет вплоть до его кончины в 14 году н.э.

Много споров возникало вокруг того, действительно ли Август имел намерение восстановить республиканский строй или же хотел создать систему двоевластия, диархию, при которой он разделил бы управление империей между собой и сенатом, или же он просто поддерживал видимость республики, потакая настроениям высшего класса. Некоторые его высказывания свидетельствуют о том, что поначалу он, возможно, имел надежду навести порядок в империи, а затем отойти от дел, вручив бразды правления сенату, однако такие надежды, если он когда-то их и лелеял, вскоре угасли. Он определенно прилагал усилия к тому, чтобы активизировать деятельность магистратов и сената в управлении страной и продвижении реформ республиканской административной системы. К примеру, некоторые функции, которыми ранее пренебрегали эдилы*, он перенес на вновь созданные коллегии лиц, уполномоченных сенатом, таких, как curatores aquarium (ответственные за водоснабжение). В отношении эдилов, ответственных за деятельность пожарных команд и снабжение Рима зерном, это было последним из упорядочивавших их функции нововведений, которым Август занимался самолично. В то же время он старался как можно меньше вмешиваться в законотворчество. Он сохранил выборную систему свободной, оставив за собой право рекомендовать народу избрание некоторых кандидатов, которым он благоволил. Однако в конце его жизни эта commendatio превратилась в жесткое право выдвигать ограниченное число кандидатов на избрание вне конкурса. Август прилагал большие усилия, чтобы добиться от сената пересмотра ротационной системы членства, и, хотя в двух случаях (в 18 и 11 гг. до н.э.) ему пришлось действовать волевым порядком, в 4 году н.э. ему наконец удалось достичь своей изначальной цели. Вместе с тем реальную власть он крепко держал в руках и ни при каких обстоятельствах не ослаблял личного контроля над армией.

После 19 года Август обладал законными прерогативами, позволявшими ему диктовать свою волю в случаях практически любых непредвиденных обстоятельств. За пределами своей провинции он предпочитал использовать свою власть в минимальной степени и влиять посредством своего личного морального авторитета (auctoritas). Так, хотя он и вводил некоторые законы как плебейский трибун, основное законотворчество в поздний период его правления проводилось консулами, находившимися под его влиянием. Консулы также обеспечивали деятельность сената, хотя она и так определялась в узком кругу лиц с Августом во главе. Нося титул majus imperium, он, однако, обладал гораздо

большими возможностями, нежели только руководство действиями консулов. Из всех своих официальных титулов он игнорировал imperium и предпочитал tribuncia potestas. Он также предпочитал быть известным как princeps (принцепс), старший государственный служащий республики.

Возможно, наиболее важным доказательством того, что он никогда всерьез не помышлял о восстановлении республики, служит факт его постоянных забот о потенциальном преемнике. Он подвергался критике за желание подыскать такового среди членов своей семьи, однако основанием для этого выбора кроме личных чувств служили и серьезные политические соображения. Легионы были преданы семье Цезарей, что проявилось в начале карьеры Августа, и стабильность режима во многом зависела от их лояльности. Судьба не дала Августу сыновей. Его первый брак со Скрибонией, в 40 году, принес только дочь, Юлию, родившуюся в 39-м. В день ее рождения разведясь со Скрибонией, он в 38 году женился на Ливии Друзилле, в которую страстно влюбился и мужа которой, Тиберия Клавдия Нерона, принудил к разводу с ней. Брак оказался счастливым и долгим (Ливия пережила Августа), однако бездетным. Август имел только одного близкого родственника из мужчин — Марка Клавдия Марцелла, сына своей сестры Октавии. Ливия имела двоих детей от первого брака, будущего императора Тиберия* и Нерона Клавдия Друза, которые были поселены в доме Августа.

Первый выбор Августа пал на Марцелла. Он женил его на Юлии и дал ему соответствующее продвижение. Это, по-видимому, привело к трениям с его верным соратником Агриппой, который, умиротворившись, в 23 году сошел со сцены и стал коллегой Августа в ряду проконсулов, получив в сферу своего управления Восток. Марцелл умер в следующем году, и Юлия незамедлительно вышла замуж за Агриппу. Этот брак принес двоих сыновей, Гая Цезаря (род. 20 г.), которого Август объявил своим приемным сыном, и Луция Цезаря (род. 17 г.). В 18 году проконсульские полномочия Агриппы вместе с таковыми полномочиями Августа были продлены еще на пять лет, и на такой же период он разделил с Августом его власть трибуна. План заключался в том, что в случае преждевременной кончины Августа (его здоровье всегда было слабым) Агриппа останется у власти и по праву передаст ее своим сыновьям, которые по крови и преемству были из рода Цезарей. В 13 году полномочия Агриппы были опять продлены на пять лет, однако на другой год он скончался.

Август передал роль Агриппы старшему сыну Ливии Тиберию, на котором он женил Юлию, заставив Тиберия развестись с горячо любимой им супругой. В 6 году до н.э. Тиберий получил полномочия трибуна на пять лет, однако почти немедленно удалился на Родос и отказался от всякого участия в правительстве. Повод для ссоры стал очевидным на следующий год, когда сын Агриппы, Гай Цезарь, пятнадцати лет от роду, был избран консулом с пятилетней отсрочкой вступления в должность и объявлен членами сословия всадников princeps juventutis (главой молодого поколения); во 2 году до н.э. Луций Цезарь был удостоен тех же почестей.

Тиберий, который нес полноценную службу в Паннонии и Германии в качестве легата* Августа, не собирался играть второстепенную роль при двух юнцах. Август был последователен в своей политике, назначив в 1 году до н.э. Гая Цезаря на проконсульскую должность, доверив ему решение проблем Парфии и Армении. Однако ему вновь пришлось разочароваться в своих надеждах. Луций умер во 2 году н.э., а Гай — в 4 году. Августу пришлось вновь обратиться к Тиберию, которого он объявил своим приемным сыном и ввел на десять лет в совместное управление с полномочиями проконсула и трибуна. Эти полномочия были возобновлены и продлены в 14 году н.э. незадолго до кончины Августа.

Расширение империи. Хотя сам Август не был выдающимся полководцем, он существенно расширил границы империи в результате длительного ряда войн, часть из которых он вел сам, но большинство велось Агриппой, Тиберием, Друзом и другими компетентными военачальниками. Августа не привлекал соблазн восточных завоеваний, и он противился общественному мнению, которое поддерживало идею возмездия по отношению к Парфии. В 20 году он, расчетливо продемонстрировав свою военную мощь, вынудил парфянского царя выдать штандарты и пленников, захваченных у Красса* в битве при Каррах в 53 году, и признать римского ставленника на армянском троне. Таким образом восстановив авторитет Рима и удовлетворив гордость римлян, он не стал предпринимать дальнейших акций вплоть до 4 года н.э., когда Гай Цезарь новой демонстрацией силы заставил парфян молчаливо согласиться с тем, что Август вновь определил, кому стать царем Армении. Август подтвердил права всех зависимых правителей, которых Антоний посадил на Востоке, особенно Полема Понтийского, Аминта Галатского, Архелая Каппадокийского и Ирода Иудейского. Впрочем, Галатия была аннексирована и присоединена к провинциям Августа после убийства Аминта в 25 году. Непро-

думанная попытка аннексировать Аравию Феликс (Йемен) в 26 году закончилась провалом.

В Европе, помимо умиротворения Испании, усилия Августа были направлены на достаточное укрепление северной границы; северные пределы Италии оставались очень уязвимы. Первым этапом были завоевания альпийских областей, Реции и Норика вплоть до Дуная, которые проводились Тиберием и Друзом (16 — 14 гг. до н.э.). В последующие пять лет (13 — 9 гг.) Агриппа и затем сменивший его Тиберий подчинили Паннонию; тем временем Друз, двинувшись к востоку от Рейна в Германию, достиг Эльбы. После смерти Друза в 9 году до н.э. его военную задачу взял на себя Тиберий. Сведения о годах отставки Тиберия (6 — 4 гг. н.э.) очень скудны, однако известно, что германская кампания продолжалась, и как будто в этот период была завоевана Мезия. По возвращении Тиберия был разработан грандиозный стратегический план завоевания Маркоманнского королевства* в Богемии и установления более короткой границы от Эльбы до большой излучины Дуная. Одновременное наступление с двух сторон на Маробода, короля маркоманнов, началось в 6 году н.э., когда восстала Паннония. Мятежники сопротивлялись три года, доведя ресурсы империи до значительного истощения. Оно едва не оказалось полным, когда Арминий, король херусков, заманил Квинтилия Вара, командующего римскими частями в Германии, с тремя легионами и полностью уничтожил их в Тевтобургском лесу (9 г. н.э.). Сокрушенный чередой поражений, Август отказался от своих амбициозных планов; Маробод остался непобежденным, и легионы отступили за Рейн. Несмотря на эту неудачу, достижения Августа были огромны. Он продвинул северные границы до Дуная и присоединил к империи четыре провинции — Рецию, Норик, Паннонию и Мезию. Поскольку эти провинции вместе с Иллирией были добавлены к областям его правления, то его вес в правительстве империи значительно возрос. Кроме того, воинские части были выведены из Македонии, и, таким образом, только один легион, подчинявшийся проконсулу Африки, остался не под его командованием.

Армия. Августу в конце концов удалось создать стабильную армию, в которой империя давно нуждалась. После битвы при Акции он распустил большую часть огромных армий, сформированных им и Антонием. Он, казалось, решил довольствоваться 28 легионами (число которых после поражения Вара сократилось до 25), которые стали постоянными воин-

скими подразделениями и многие из которых сохранялись на протяжении веков. С 30 года он установил рекрутский набор с шестнадцатилетнего возраста, а в 6 году н.э. — с двадцати лет. Главной финансовой проблемой, с которой сенат никогда не сталкивался во времена республики, стало наделение демобилизованных ветеранов земельными участками и наградными пособиями. С 30 года до н.э. вплоть до 6 года н.э. Август сам покупал требуемые земли или оплачивал пособия за свой счет. Затем он создал особую военную казну и вопреки сенатской оппозиции установил новый налог с граждан Рима для ее пополнения. Вспомогательные части в провинциях, ранее набиравшиеся нерегулярно, также были реорганизованы и переведены на постоянную основу. Были созданы также два постоянных флота, базировавшиеся в Равенне и Мизене. Другим нововведением в войсках стала реорганизация традиционных отрядов телохранителей (cohors praetoria — преторианских когорт) проконсулов в многочисленное и постоянное подразделение из девяти когорт (девять тысяч воинов), размещенных вокруг Рима. С ними были тесно связаны еще три городские когорты, размещенные в самом Риме.

Гражданская администрация. Для выполнения разнообразных задач Август создал в помощь себе административную машину, по своему характеру рудоментарную, предназначенную для конкретных дел и не имевшую четкой внутренней координации. Он назначал сенаторов из консульской или преторианской среды в качестве своих уполномоченных (legati Augusti — легаты Августа) для управления своими провинциями и командования легионами (за исключением стоявших в Египте). Он также вводил старшего сенатора в консульский ранг в качестве префекта города для поддержания порядка в Риме силами городских когорт; впервые такое временное назначение последовало во время пребывания Августа в Испании в 26 году, а затем, будучи возобновлено в период его пребывания в Галлии в 16 — 13 гг., приобрело постоянный статус вплоть до конца его правления. Для командования вспомогательными частями и управления маленькими провинциями он обычно использовал префектов всаднического ранга; такая важная провинция, как Египет, которую было опасно доверять сенатору, также, в виде исключения, управлялась префектом из всадников. Он использовал всадников для командования вновь организованными отрядами пожарных, для обеспечения зерновых поставок в Рим и в качестве командиров преторианской гвардии. Своей домашней челяди, рабам и

вольноотпущенникам, он придал статус центрального секретариата и финансового органа. Для контроля своих финансовых интересов в провинциях он использовал частных агентов (procuratores — прокураторы), которые ведали его частным имуществом, но также собирали доход и производили выплаты воинским частям; принципальные прокураторы обычно были людьми из всаднического сословия, однако некоторые из них, а также все их подчиненные, вышли из числа вольноотпущенников и рабов Августа.

Под управлением Августа провинции приносили большой доход. Во-первых, провинции пожинали плоды мира, воцарившегося после гражданских войн и связанных с ними несчастий. Во-вторых, Август упразднил существовавшую ранее систему взимания налогов в провинциях и вместе с ней положил конец вымогательствам со стороны publicani (публикан — откупщиков государственных доходов), установив фиксированный уровень налогов, зависящий от ценза населения и собственности и собиравшийся властями городов. В своей части империи он отобрал для управления лучших людей и держал их под неусыпным контролем. Иногда, пользуясь правами majus imperium, он пресекал злоупотребления в других провинциях и упростил процедуру, согласно которой их жители могли требовать удовлетворения от правителей, занимавшихся вымогательством.

Социальная и религиозная политика. Август пытался реформировать религиозную, нравственную и социальную жизнь римского народа. Он восстанавливал заброшенные храмы, вышедшие из обихода ритуалы, деятельность жречества и в целом предпринимал усилия, чтобы оживить старые религиозные традиции, проникнутые патриотическим духом. В сфере морали он пытался восстановить священное отношение к супружеству и стимулировать рождаемость, с этими целями проведя около 18 года до н.э. два закона — lex Julia de adulteris, признававший супружескую измену преступлением, и lex Julia de maritandis ordinibus, предусматривавший наказание неженатых и бездетных граждан и поощрение родителей больших семейств. В 17 году до н.э. празднованием Секулярных игр было объявлено наступление новой, лучшей эры. Позднее, посредством двух законов, Август упорядочил и ограничил освобождение рабов, пытаясь пресечь распространение фальсификации гражданства, практиковавшейся среди вольноотпущенников.

К одной стороне религиозной жизни Август проявлял особую осторожность. Известно, что некоторые нововведения

Цезаря в этой области подорвали его популярность сильнее, нежели принятие им культовых почестей от римских граждан. Август настоял на признании «божественности» своего приемного отца и выстроил в его честь великолепный храм, однако сам по мере своих сил запрещал римлянам возносить себе почести как богу. Он был осторожен даже в отношении провинций. В восточных областях была давняя традиция поклонения проконсулам, Август же позволил там строить храмы не иначе как «Риму и Августу». Вместе с тем он, по-видимому, пришел к признанию значимости своего культа как выражения лояльности к империи и намеренно вводил его в более отсталых, недавно завоеванных провинциях Запада, воздвигнув в 12 году до н.э. алтарь в Лугдуне (Лион), где галльские общины поклонялись Риму и Августу, а позднее соорудив подобный алтарь для германцев в oppidum Ubiorum (Колония).

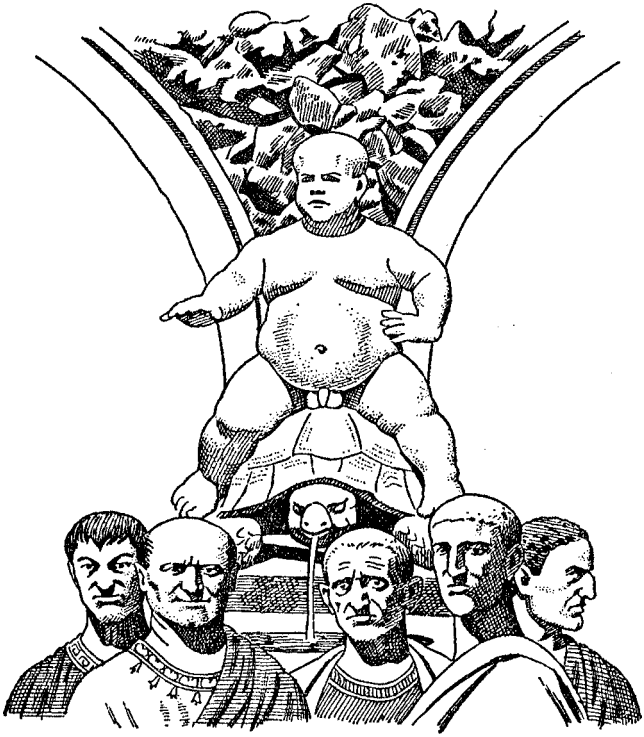
Литература и искусство. В эпоху Августа литература и искусство переживали расцвет, и Август сам предпринимал усилия для их развития. Он был великим строителем и мог справедливо гордиться тем, что принял Рим глиняным, а оставляет его мраморным. Храмы, форум и общественные здания, возведенные при Августе, послужили образцами для многих архитекторов и скульптуров. Он и Гай Меценат*, остававшийся его другом до конца своей жизни, покровительствовали поэтам и вдохновляли их посвятить свои таланты воспеванию идей новой эпохи. Вергилий* воспел божественное происхождение Рима (и его нынешнего правителя), Гораций* прославлял преобразования в религиозной и нравственной жизни, и даже Овидий* восхвалил возрождение религии в своем произведении «Фасты».

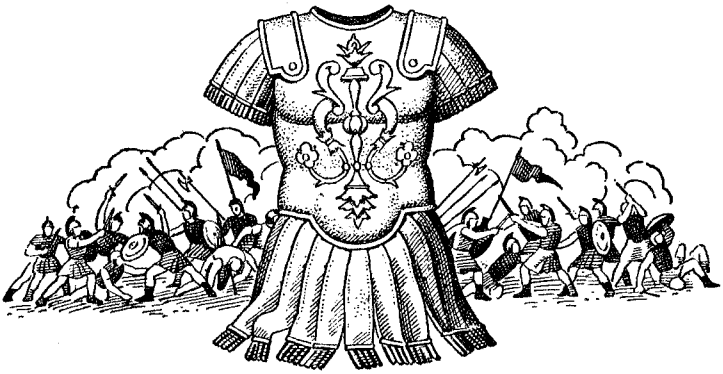
Личность и успехи. Характер Августа остался в известной мере загадкой. В период возвышения он, вне всякого сомнения, был порой беспринципен и жесток, и стремление к власти представлялось его главной страстью. Обретя власть, он смягчился и развил в себе качества образцового государственного деятеля. Он избавился от недостатков, имевшихся в юности, и почил среди всеобщего уважения и любви. Он не был гением, подобным своему приемному отцу Юлию Цезарю, и часто страдал, сравнивая себя с ним, однако он обладал блестящими талантами в области политики и управления. Его административные реформы, особенно реорганизация армии, были прекрасно продуманы и умело проведены в жизнь, пройдя испытание временем. Кроме того, он был поразительно чуток к общественному мнению и умел манипулировать им. Ему

удалось примирить с собой все классы, даже остатки высшей знати. Он с успехом потакал республиканским настроениям образованных слоев общества и объединил их в поддержке нового государственного устройства. Главное доказательство значимости его трудов можно видеть в том, что созданная им государственная система просуществовала без особых изменений в течение трех веков.

Август умер* в городе Нола, область Кампания, 19 августа 14 года нашей эры.

АВГУСТ





От автора

Один известный римский историк как-то сказал, что ради красного словца готов приписать победу при Фарсале* Помпею; и хотя я не позволял себе подобных вольностей, некоторые фактические неточности в моем повествовании не случайны: так, я изменил последовательность кое-каких событий, добавил отдельные детали в тех случаях, когда источники страдали неполнотой или противоречили друг другу, и, наконец, дал жизнь ряду персонажей, которых история не удостоила вниманием. Местами я использовал более современные названия и терминологию в сравнении с принятыми в римскую эпоху, отдавая предпочтение скорее общему звучанию слов, нежели механически следуя традиции. Авторство всех документов, составляющих основу романа, принадлежит мне, за исключением трех эпизодов, когда я перефразировал отдельные места из писем Цицерона, позаимствовал несколько пассажей из «Актов Августа», а также использовал фрагмент из утерянной «Истории» Тита Ливия* в передаче Сенеки-старшего*.

Если в моем труде и излагаются какие-то истины, то они скорее художественного плана, чем историче-

ского. Поэтому я заочно признателен тем читателям, которые воспримут мой роман таким, каким он и был задуман,— не более чем игрой воображения.

Я также хотел бы поблагодарить Рокфеллеровский фонд за оказанную финансовую поддержку, что дало мне свободу передвижения и позволило приступить к созданию романа; колледж Смита в Нортхемптоне, штат Массачусетс, за предоставление мне досуга для работы над романом и университет в Денвере за порой настороженное, но всегда доброжелательное отношение, благодаря которому я сумел завершить его.

Книга первая

Пролог

Письмо: Юлий Цезарь — Атии
(45 год до Р.Х.)

Отправь мальчика в Аполлонию.

Начиная это письмо без обычных церемоний, дорогая моя племянница, я имел целью с первых же строк обезоружить тебя, дабы пред силой моих убеждений неизбежные возражения твои оказались бы слишком поспешными и неубедительными.

Твой сын оставил мой лагерь в Карфагене в добром здравии, и уже через неделю ты увидишься с ним в Риме. Я дал указание моим людям, сопровождающим его, не торопиться, чтобы ты успела получить это письмо до его приезда.

Я вижу, у тебя уже готовы возражения, кои представляются тебе достаточно весомыми,— в конце концов, ты мать и к тому же из рода Юлиев, а значит, вдвойне упряма. Боюсь, однако, я знаю их заведомо — мы не раз говорили об этом в прошлом: ты опять будешь ссылаться на его слабое здоровье, хотя очень скоро

сможешь сама убедиться, что Гай Октавий значительно окреп за время нашей испанской кампании; ты также не преминешь выразить сомнения в искусности местных лекарей, хотя стоит тебе задуматься на минуту, и ты не сможешь не признать, что врачи в Аполлонии гораздо лучше могут позаботиться о его здоровье, чем надушенные шарлатаны в Риме. Шесть моих легионов размещено в Македонии и вокруг нее, и никто из солдат не жалуется на здоровье, а что касается смерти одного-двух сенаторов, то это потеря небольшая. К тому же климат на побережье в Македонии ничуть не более суров, чем в Риме.

Спору нет, Атия, ты хорошая мать, однако, к сожалению, склонна к чрезмерной строгости и преувеличенным требованиям морали, что порой, увы, случается в нашем роду. Отпусти поводья, дай твоему сыну возможность стать мужчиной, каковым он уже стал по закону; ему почти восемнадцать, и ты, без сомнения, помнишь, что было предсказано ему при рождении; я же, как тебе известно, не жалел усилий, чтобы эти предсказания осуществились.

Ты должна осознать всю целесообразность моего требования отправить Гая в Аполлонию, с которого я начал свое письмо: греческий его никуда не годится, в риторике он слаб, хотя в философии разбирается неплохо, его познания в литературе можно назвать по меньшей мере необычными. Неужто учителя в Риме так же нерадивы и безответственны, как и все прочие жители столицы? В Аполлонии же он почитает философов, позанимается греческим с Атенодором, улучшит свои познания в литературе и отточит риторику с Аполлодором — я уже все подготовил.

Кроме того, в его возрасте лучше держаться подальше от Рима. Его богатство, высокое положение и

привлекательная наружность не могут не вызвать поклонения со стороны молодых представителей обоего пола, и если это не развратит его, то усилия льстецов — наверняка (ты конечно же заметила, как искусно я здесь сыграл на твоей провинциальной слабости к морали). Там же, в строгой спартанской обстановке, утро он будет проводить, совершенствуясь в гуманитарных науках в обществе лучших ученых мужей нашего времени, а днем, с трибунами моих легионов,— упражняться в другого рода науке, без которой не обойтись мужчине.

Тебе известны мои чувства к Гаю и планы относительно его на будущее; он давно был бы моим сыном в глазах закона, каковым он является в моем сердце, если бы не Марк Антоний, который возомнил себя моим наследником и посему без устали маневрирует среди моих врагов с изяществом слона в храме Девственных весталок. Я сделал Гая моей правой рукой, и, если он хочет быть моим преемником, он должен знать, в чем моя сила. В Риме он этому не научится, ибо главный источник ее — мои легионы — я оставил в Македонии, легионы, которые следующим летом мы вместе поведем против парфян или германцев и которые могут пригодиться для подавления смуты, исходящей из Рима.

Кстати, как поживает Марций Филипп, коего ты имеешь удовольствие именовать своим мужем? Он так непроходимо глуп, что я почти люблю его за это. Трудно не быть признательным ему, ибо, не будь он столь занят валянием дурака в Риме и неуклюжими попытками заговора со своим дружком Цицероном, он мог бы попробовать себя в роли отчима твоему сыну. По крайней мере, у твоего покойного супруга, несмотря на его скромное происхождение, хватило ума родить сына и возвыситься за счет имени Юлиев. Что

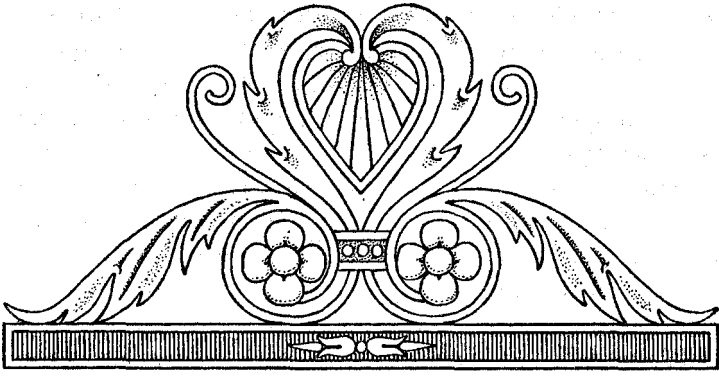
же касается твоего нынешнего мужа, то его интриги против меня приведут лишь к тому, что он уронит это высокое имя и потеряет то единственное, что поднимает его над всеми другими. О, если бы все мои враги были так же безнадежно глупы! Я бы меньше восхищался ими, но зато чувствовал бы себя гораздо спокойнее.

Я попросил Гая взять с собой в Аполлонию двух его друзей, которые сражались вместе с нами в Испании и будут сопровождать его в Рим. Ты их знаешь — это Марк Випсаний Агриппа и Квинт Сальвидиен Руф; и еще некоего Гая Цильния Мецената, с которым ты незнакома. Впрочем, от твоего мужа не укроется, что он происходит из древнего этрусского рода с примесью царской крови, и если ничто другое, то хоть это будет ему в радость.

Боюсь, дорогая Атия, что поначалу у тебя могло создаться впечатление, будто твой дядя предоставил тебе право решать судьбу твоего сына. Теперь настало время сказать, что это не так: через месяц я возвращаюсь в Рим пожизненным диктатором — слухи на этот счет должны были достичь твоих ушей,— согласно декрету сената, который еще предстоит обнародовать. Поэтому теперь в моей власти назначить командующего всадниками, который будет вторым лицом в государстве после меня,— я уже позаботился об этом,— и, как ты, наверное, догадалась, это твой сын. Дело сделано, и изменить ничего нельзя. Поэтому если ты или твой муж попытаетесь вмешаться, на ваш дом обрушится такая буря всеобщего возмущения, что по сравнению с ним мое личное неудовольствие покажется не более опасным, чем легкий ветерок.

Надеюсь, ты хорошо провела лето в Путеолах и теперь снова в Риме на зиму. Как ты знаешь, мне обычно не сидится на месте, но и я скучаю по Италии.

Возможно, после моего возвращения в Рим и разрешения неотложных дел мы сумеем выбраться на несколько дней в Тибур. Можешь даже взять с собой своего мужа, а также Цицерона, если он выразит желание. Как бы там ни было, я люблю их обоих, ну и тебя, конечно.



Глава 1

I

Воспоминания Марка Агриппы — отрывки
(13 год до Р.Х.)

...Я был рядом с ним при Акции, когда искры летели от мечей, палубы кораблей заливала кровь, ручьями стекая за борт и окрашивая багрянцем голубые воды Ионийского моря, а в воздухе раздавался свист копий, шипение охваченных огнем судов и вопли солдат, заживо горевших в своих доспехах; еще раньше я был с ним при Мутине, когда не кто иной, как Марк Антоний, захватил наш лагерь и постель, где обычно спал Цезарь Август, была изрублена мечами; и где мы выстояли и сделали первый шаг к покорению мира; и при Филиппах, когда он, тяжко больной, не мог держаться на ногах, но не покинул своих легионов и всю дорогу оставался с войсками, приказав нести себя на носилках; и снова был он близок к гибели — от руки убийцы его отца, но продолжал сражаться до тех пор, пока все убийцы смертного Юлия, ставшего богом, не истребили сами себя.

Я — Марк Агриппа, называемый также Випсанием, народный трибун и консул сената, солдат и военачаль-

ник на службе Римской империи, друг Гая Октавия Цезаря, известного ныне как Август. Я пишу эти строки на пятидесятом году своей жизни, дабы сохранить для вечности события того времени, когда Октавий принял Рим, истекающий кровью в междоусобицах; когда Октавий Цезарь покончил наконец с чудовищем распри и избавился от издыхающей твари, а Август залечил раны на теле Рима и вернул ему былую силу, чтобы решительно шагнуть за пределы своих границ. И я по мере своих возможностей принимал участие в этом победном шествии, о чем и повествую в этих записках, дабы историки будущего смогли постичь причины своего изумления величием Августа и Рима.

Под началом Цезаря Августа я способствовал возврату былого могущества Рима, за что Рим щедро вознаградил меня: трижды я был консулом, однажды эдилом и трибуном, дважды — наместником в Сирии и также дважды принимал печать Сфинкса из рук смертельно больного Августа. Я вел победоносные римские легионы против Луция Антония в Перузии, против аквитанцев в Галлии и германских племен на Рейне, однако отказался от торжественной церемонии в Риме, которой обычно удостаивают триумфатора; кроме того, я участвовал в усмирении мятежных племен и фракций в Испании и Паннонии. Август даровал мне звание главнокомандующего флотом; мы соорудили гавань к западу от Неаполитанского залива, тем самым защитив наши корабли от пиратских набегов Секста Помпея, которого мы впоследствии сокрушили в битве при Милах и Навлохе у берегов Сицилии; а меня за эту победу сенат увенчал титулом повелителя морей. В битве при Акции мы разбили изменника Марка Антония и вдохнули жизнь в обескровленное тело Рима.

В знак избавления от египетской измены я возвел храм, ныне известный как Пантеон, а также другие

общественные постройки. В должности градоначальника при Августе и сенате я восстановил старые и построил новые акведуки, чтобы римляне всех сословий имели в достатке воду и не страдали от болезней. После того как порядок снова воцарился в Риме, я помогал в составлении карт мира, начатых еще в диктаторство Юлия Цезаря и законченных его приемным сыном.

Обо всем этом я поведаю подробнее по мере моего повествования, а сейчас я должен вернуться к началу описываемых событий, кои произошли через год после триумфального возвращения Цезаря из Испании, где были и мы — Гай Октавий, Сальвидиен Руф и я.

Да, я был с ним в Аполлонии, когда до нас дошла весть о смерти Цезаря...

II

Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию (13 год до Р.Х.)

Прости меня, дорогой Ливий, за столь долгое промедление с ответом. Обычные сетования — похоже, удаление от дел никак не способствовало улучшению моего здоровья. Врачи лишь глубокомысленно качают головой, бормочут что-то невразумительное и исправно берут плату. Ничто не помогает: ни мерзкого вкуса порошки, которыми они меня пичкают, ни даже отказ от наслаждений, коим, как тебе хорошо известно, я так любил предаваться. Мне известно твое усердие и понятно, сколь важна для тебя моя помощь в деле, о коем ты меня просишь в своем письме, но в последние дни я совсем не мог держать пера в руке из-за подагры. К тому же помимо всех прочих моих болячек я уже несколько недель мучаюсь бессонницей, поэтому дни свои

провожу в сонливой апатии. Одно утешает: друзья не оставляют меня да жизнь еще теплится в моем теле — и за это я благодарен судьбе.

Ты спрашиваешь меня о начале моей дружбы с императором, так знай, что всего три дня тому назад он соблаговолил навестить меня на одре болезни и я счел необходимым уведомить его о твоей просьбе. Он улыбнулся и спросил, прилично ли мне помогать такому неисправимому республиканцу, как ты, и затем мы стали вспоминать добрые старые времена, как и подобает людям в нашем возрасте. Он помнит все до мельчайших подробностей, даже лучше, чем я, дело которого ничего не забывать. Наконец я спросил его, не желает ли он послать тебе свое собственное описание событий того времени. На мгновение он задумался, устремив взгляд вдаль, потом снова улыбнулся и сказал: «Нет, в воспоминаниях императоров еще больше лжи, чем в трудах поэтов и историков». Он попросил передать тебе наилучшие пожелания и предоставил мне полную свободу писать о чем заблагорассудится.

Но что я могу рассказать тебе о тех днях? Мы были молоды, и, хотя Гай Октавий (так он звался тогда) уже знал, что судьба благосклонна к нему и что Юлий Цезарь намерен усыновить его, ни он сам, ни я, ни Марк Агриппа, ни Сальвидиен Руф — никто из его друзей не мог и вообразить себе, к чему все это приведет. Я, мой дорогой друг, не обладаю свободой в той мере, какая дана историку: ты можешь поведать всему миру о перемещениях отдельных личностей и целых армий, предать огласке хитросплетения государственных интриг, сопоставить поражения и победы, раскрыть даты рождений и смерти — и при этом оставаться свободным в мудрой простоте твоего труда, а не сгибаться, как я, под страшным бременем знаний, коими я не вправе ни

с кем поделиться, но значение которых все яснее раскрывается мне с годами. Я знаю, ты ждешь от меня рассказа и, без сомнения, уже теряешь терпение, ибо я все никак не доберусь до сути. Но помни, я не только слуга империи, но и поэт и потому не могу обойтись без околичностей.

Ты будешь удивлен, если я скажу тебе, что не был знаком с Октавием до нашей встречи в Брундизии, куда я был послан, чтобы сопровождать его и группу его друзей в Аполлонию. Почему выбор пал на меня, до сей поры мне неведомо, но уверен — посредничество Цезаря тому виной. Мой отец, Луций, однажды оказал ему услугу, и за несколько лет до описываемых событий Цезарь посетил нас на нашей вилле в Ареции. Мы заспорили о чем-то (насколько мне помнится, я пытался уверить его в превосходстве поэзии Каллимаха* над стихами Катулла*); я вел себя заносчиво и непочтительно, оставаясь при этом (так мне казалось) весьма остроумным. Я был так молод тогда... Так или иначе, это его позабавило, и он еще немного побеседовал со мной. Двумя годами позже он приказал моему отцу отправить меня в Аполлонию в компании со своим племянником.

Должен признаться тебе, друг мой Ливий,— хотя ты, возможно, и не упомянешь этот факт,— что при нашей первой встрече Октавий не произвел на меня большого впечатления; я только что прибыл в Брундизий из Ареции и после десяти дней пути был измучен тяготами путешествия, пропылен с головы до ног и пребывал в весьма дурном расположении духа. Я нашел их на причале, откуда мы должны были отплыть. Агриппа и Сальвидиен тихо беседовали, а Октавий стоял немного в стороне, разглядывая небольшое судно, покачивающееся на якоре неподалеку. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания.

— Я Меценат; я должен был встретиться с вами на этом месте. Кто из вас есть кто? — сказал я нарочито громким голосом.

Агриппа и Сальвидиен посмотрели на меня с усмешкой и назвали свои имена; Октавий оставался недвижим, и я, усмотрев в его повернутой ко мне спине надменность и пренебрежение, заметил:

— А ты, должно быть, и есть Октавий?

Он обернулся, и я тут же понял свою ошибку, прочитав выражение отчаянной застенчивости на его лице.

— Да, я Гай Октавий. Мой дядя говорил о тебе.

Он улыбнулся и, подав мне руку, наконец поднял глаза и впервые посмотрел на меня.

Как ты знаешь, немало слов было сказано о его глазах — чаще всего в скверных стихах и еще более убогой прозе; он, верно, сыт по горло всеми этими метафорами и описаниями, хотя поначалу они тешили его самолюбие. Но даже тогда, при нашей первой встрече, они поразили меня своей глубиной и проницательностью — скорее голубые, чем серые, хотя дело не в цвете, а в свете, который они излучают... Вот видишь, и я туда же — начитался стихов моих друзей-поэтов.

Я, должно быть, отступил назад, точно не помню; одним словом, я был поражен и отвернулся в смущении; тут мой взгляд упал на корабль, привлекший внимание Октавия.

— Это и есть посудина, на которой мы поплывем? — сказал я, немного придя в себя и указывая на небольшое торговое судно не более пятидесяти шагов в длину, с прогнившей обшивкой на носу и заплатами на парусах. Пропитавший его тяжелый запах рыбы доносился даже до берега.

— Это все, что есть, как нам сказали,— ответил мне Агриппа с полуулыбкой. Я полагаю, он счел меня

капризным франтом, ибо я был одет в тогу и носил перстни на руках, в то время как они были в одних туниках и без каких-либо украшений.

— Смрад будет невыносим,— заявил я.

— Я полагаю, оно направляется в Аполлонию за грузом соленой рыбы,— с серьезным видом произнес Октавий.

На мгновение наступила тишина, и тут я расхохотался; все остальные подхватили — и так мы стали друзьями.

Похоже, мы мудрее в молодости, чем в зрелые годы, хотя истинный философ и не согласится со мной. Но уверяю тебя — именно с этого началась наша дружба: глупый смех сблизил нас гораздо больше, чем все, что случилось впоследствии, будь то победы или поражения, верность или предательство, радость или горе. Но юность проходит, и вместе с ней что-то в нас исчезает безвозвратно.

Итак, мы отплыли в Аполлонию на смердящей рыбацкой посудине, которая зловеще скрипела при каждой встречной волне и так опасно кренилась то на один борт, то на другой, что нам даже пришлось привязаться веревками; она несла нас навстречу судьбе, которую мы не могли себе тогда и представить...

Продолжаю через два дня. Не стану утомлять тебя подробностями моих болезней, кои послужили причиной этой задержки,— все это слишком скучно.

Признаюсь, я подумал, что от моих воспоминаний тебе будет мало толку, посему дал указание письмоводителю поискать среди моих бумаг что-нибудь более для тебя подходящее. Ты, может быть, помнишь, как десять лет назад я выступил на освящении построенного нашим общим другом Марком Агриппой храма Венеры и Марса, ныне повсеместно называемого Пантеоном. Так вот, поначалу я собирался произнести

несколько, я бы сказал, вычурную речь, чуть ли не в стихах, в которой пытался проследить связь между Римом нашей юности и Римом нынешним, представленным этим величественным храмом (впоследствии я отказался от этой идеи). Короче говоря, в качестве подспорья в работе над формой задуманной мной речи я набросал записки о временах нашей молодости, на которые и опираюсь в надежде помочь тебе в завершении твоего труда по истории нашего времени.

Представь себе, если можешь, четырех наивных юнцов (я и сам не узнаю их теперь), пребывавших в полном неведении о том, что ждет их впереди, в какой мир они вступают. Один из них — Марк Агриппа, высокий, мускулистый, лицом похожий на крестьянина: крупный нос, широкие скулы, загрубелая смуглая кожа, неухоженные темные волосы и рыжая борода торчком. Походка у него тяжелая, как у быка, но при этом необъяснимо грациозная; речь — простая, неспешная и спокойная, без эмоций. Если бы не борода, ему не дашь его девятнадцати лет.

Другой — Сальвидиен Руф, худой и подвижный, в отличие от крепко сбитого Агриппы, столь же живой и эмоциональный, сколько Агриппа медлителен и сдержан. Лицо у него худое, глаза темные; кожа белая; он всегда готов пошутить, делая серьезность других не столь тягостной. Он старше нас всех, но мы любим его как нашего младшего брата.

Третий — неужели это я? — его я представляю себе еще более смутно. Никто доподлинно не знает ни себя, ни то, каким он представляется даже близким друзьям, но я думаю, в тот день и некоторое время после того я казался им немножко придурковатым. Признаться, я действительно был слишком напыщен, полагая, что так оно и пристало поэту. Я носил роскошные одежды, щеголял жеманными манерами и даже привез с собой

из Ареции слугу специально для ухода за волосами, однако, не стерпев жестоких насмешек моих товарищей, отослал его обратно в Италию.

И наконец, Гай Октавий, как его называли тогда. Как описать его тебе? Всей правды я не знаю — лишь то, что запечатлелось в моей памяти. Опять же скажу — он запомнился мне юнцом, хотя я сам был всего двумя годами старше. Ты знаешь, как он выглядит сейчас — так вот, он мало изменился с тех пор. Правда, теперь он властитель мира, и мне необходимо забыть об этом, чтобы припомнить, каким он был тогда. Уверяю тебя, даже я, по своему положению обязанный знать, что творится в душах его друзей, равно как и врагов, не мог и вообразить себе, кем он станет. Я находил его достаточно приятным юношей, но не более того, внешне слишком хрупким, чтобы противостоять ударам судьбы, нрава слишком мягкого, чтобы неуклонно идти к поставленной цели, и с голосом слишком тихим, чтобы изрекать суровые истины, как оно пристало настоящему вождю. Я полагал, что он скорее будет адептом праздности или литератором; я не видел в нем достаточно внутренней силы, чтобы стать даже сенатором, к чему располагало его происхождение и богатство.

Итак, вот кто были те четверо, что ранней осенью в год пятого консульства Юлия Цезаря сошли на берег в Аполлонии на Адриатическом побережье Македонии. Гавань была полна рыбацких лодок, покачивающихся на волнах; на берегу сновали люди; на прибрежных камнях сушились сети; дорога, застроенная с обеих сторон деревянными домишками, круто поднималась к городу, раскинувшемуся на холме, за которым до самого подножия гор простиралась равнина.

Утро мы проводили в учении — вставали до восхода и прослушивали первый урок при огнях, и, лишь когда

солнце показывалось из-за гор на востоке, нам подавали на завтрак грубую пищу. Общались мы между собой только по-гречески (к сожалению, эта традиция постепенно отмирает); читали вслух подготовленные с вечера отрывки из Гомера, потом объясняли их своими словами и, наконец, декламировали собственные сочинения, написанные в соответствии с указаниями Аполлодора, который уже тогда казался древним стариком, но при этом человеком спокойного нрава и большой учености.

После полудня нас отвозили за город в тренировочный лагерь, где до конца дня мы практиковались в военном искусстве вместе с легионерами Цезаря. Именно тогда я впервые усомнился в верности моих первых впечатлений об Октавии. Как тебе хорошо известно, дорогой Ливий, он никогда не отличался отменным здоровьем, и его болезненность всегда была более очевидна, чем моя, удел которого оставаться образчиком здоровья, как бы серьезно я ни был болен. Тогда же я почти совсем устранился от участия в учениях и маневрах, в отличие от Октавия, который не пропустил ни одного, предпочитая, как и его дядя, быть в рядах центурионов, нежели их командиров. Однажды, помнится, в одном из учебных сражений его конь споткнулся, и он тяжело рухнул на землю. Агриппа и Сальвидиен стояли неподалеку, и последний бросился было ему на помощь, но Агриппа удержал его. Через несколько мгновений Октавий поднялся на ноги, с усилием выпрямился и потребовал другого коня, после чего взобрался на него и не ступил на землю до конца дня, пока учение на закончилось. Вечером в шатре мы заметили, что его дыхание затруднено, и позвали легионного врача, который обнаружил, что у него сломаны два ребра. Октавий приказал ему потуже перевязать себе грудь и следующим утром как ни в чем

не бывало был с нами на занятиях и позже днем участвовал в марш-броске.

Вот за эти несколько первых недель я по-настоящему и узнал Августа, ныне повелителя латинского мира.

Возможно, в твоем замечательном историческом труде, коим я имею честь восхищаться, под твоим пером мое пространное повествование превратится всего в несколько строчек. Как жаль, что столь многому не суждено попасть на страницы книг, о чем я с каждым днем печалюсь все больше и больше.

III

Письмо: Юлий Цезарь из Рима — Гаю Октавию в Аполлонию (44 год до Р.Х.)

Нынче утром, мой дорогой Октавий, мне вспомнилось, как прошлой зимой в Испании ты приехал ко мне в Мунду в разгар осады крепости, где укрылся со своими легионами Гней Помпей. Все мы пребывали в угнетенном состоянии духа и обессилели от безуспешного штурма; припасы наши истощились, но мы, делая вид, что хотим взять врага измором, продолжали держать в осаде неприятеля, который имел вдоволь еды и времени на отдых. В досаде от неминуемого поражения я приказал тебе возвращаться обратно в Рим, откуда ты прибыл, как мне тогда показалось, не отказывая себе по пути ни в удобствах, ни в удовольствиях. Я заявил, что мне некогда возиться с мальчишкой, желающим поиграть в войну. Я уверен, ты и тогда уже понимал, что я был в гневе на самого себя, ибо ты промолчал, только поглядел на меня невозмутимо. Это немного охладило меня, и я сказал тебе со всей откровенностью (с тех пор я всегда говорил с тобой только так), что этот

испанский поход против Помпея должен был раз и навсегда покончить с междоусобицами и враждой, раздиравшими республику со времен моей юности, однако то, что представлялось мне победой, оборачивается, скорее всего, верным поражением.

— В таком случае,— заметил ты,— мы сражаемся не за победу, а за свою жизнь.

И тут словно камень свалился с моей души, и я снова почувствовал себя молодым, ибо вспомнил, как более тридцати лет назад, когда шесть легионеров Суллы* застали меня врасплох одного в горах, но я сумел прорваться к их командиру и за взятку упросил его доставить меня живым в Рим, мне на ум пришли те же самые слова. Именно тогда меня впервые посетила мысль, что я могу стать тем, кем я стал.

Вспоминая те стародавние времена, я видел в тебе себя в годы моей юности; ты поделился со мной своей молодостью, а я отдал тебе часть мудрости моих лет, и мы оба почувствовали некое странное опьянение властью над капризами судьбы; и мы пошли в атаку, прячась, как за щитами, за телами наших павших товарищей, которые приняли на себя град неприятельских копий; и мы взобрались на стены и взяли штурмом крепость Кордуба там, в долине Мунды.

И еще я помню: утро, мы преследуем Гнея Помпея в Испании; ощущение полного желудка и натруженных мышц; лагерные огни и разговоры солдат, в которых слышится уверенность в победе. Удивительно, как порой боль, и страдание, и радость сливаются воедино, и даже полуразложившиеся трупы кажутся прекрасными, и страх перед поражением и смертью — не больше страха перед очередным ходом в игре! Сидя здесь, в Риме, я не могу дождаться прихода лета, когда мы наконец сможем выступить против парфян и германцев, чтобы обезопасить последнюю из наших главных

границ... Ты лучше поймешь мою ностальгию по прошлым военным походам и нетерпеливое ожидание будущих, если я поведаю тебе о событиях того утра, что пробудило мои воспоминания.

Ровно в семь часов под моей дверью уже ждал Глупец (то бишь Марк Эмилий Лепид, с которым, да будет тебе известно, ты номинально будешь делить власть, подчиняясь лишь мне одному) с жалобой на Марка Антония. Дело было в том, что один из казначеев Антония вздумал собирать подати с домов, которые по древнему закону, долго и нудно цитированному Лепидом, должны были платить их не кому иному, как личному казначею Лепида. Затем, видимо полагая, что изобилующая иносказаниями болтовня есть само изящество, он целый час разглагольствовал о честолюбии Антония — наблюдение, которое я находил столь же неожиданным, сколь и утверждение о целомудренности весталок. Я поблагодарил его, мы обменялись банальностями о природе верности и на этом расстались. Лепид, без сомнения, тут же поспешил к Антонию с сообщением о том, что заметил во мне чрезмерную подозрительность по отношению даже к самым близким друзьям. В восемь часов один за другим пришли три сенатора, обвиняя друг друга во взятке за одну и ту же услугу; я тут же понял, что виновны все трое — они не сумели выполнить то, за что получили мзду, и теперь опасались, что податель взятки предаст это дело огласке, что неизбежно повлечет за собой разбирательство перед коллегией, чего они ни в коем случае не желали, ибо оно вполне могло бы закончиться для них ссылкой, если им не удастся подкупом склонить на свою сторону достаточное количество судей. Я рассудил, что их усилия купить правосудие увенчаются успехом, посему с каждого из них взыскал сумму, втрое большую полученной ими взятки, и решил точно так же поступить

и со взяткодателем. Такой исход дела весьма их порадовал, и я не нажил себе врагов. Я знаю, что они продажны, а они думают, что и я такой же... Так прошло то утро.

Сколько можно обманывать себя? Рим погрязал во лжи с тех пор, как я себя помню, а возможно, и задолго до этого. Откуда, из какого источника черпает ложь свои силы, что делает ее сильнее правды? Мы были свидетелями убийств, разбоя и воровства именем республики — и считали это неизбежной ценой свободы; Цицерон не устает клеймить извращенную римскую мораль, обожествляющую богатство,— и при этом купается в роскоши и путешествует с одной своей виллы на другую со свитой из сотни рабов; консул рассуждает о мире и спокойствии и в то же время собирает армию, чтобы избавиться от своего коллеги, влияние которого угрожает его интересам; сенат говорит о свободе — и навязывает мне чрезвычайные полномочия, от которых я не вправе отказаться ради сохранения Рима. Неужели ничто не может противостоять лжи?

Я покорил весь мир, но в нем нет мира; я дал народу свободу, но он бежит от нее как от дурной болезни. Я презираю тех, кому могу верить, и люблю тех, кто предаст меня при первом же удобном случае. Мне неведомо, что ждет нас впереди, но я знаю, что должен вести мой народ навстречу его судьбе.

Таковы, мой дорогой племянник, а в недалеком будущем мой сын, сомнения, раздирающие душу того, кто скоро будет провозглашен монархом. Как жаль, что я вынужден проводить зиму здесь, в Риме, а не с тобой в Аполлонии. Я весьма доволен твоими успехами в учении и рад, что ты быстро нашел общий язык с трибунами моих легионов. Очень скучаю по нашим вечерним беседам, но нахожу утешение в мысли о том, что мы вернемся к ним летом во время восточного

похода. Мы пройдем маршем через всю страну, питаясь тем, что родит земля, разя тех, кого нельзя оставить в живых,— только такая жизнь приличествует мужчине,— а там будь что будет.

IV

Квинт Сальвидиен Руф: записи в дневнике, Аполлония (март, 44 год до Р.Х.)

Полдень. Ярко светит солнце. Жарко. Мы стоим на холме вместе с десятью—двенадцатью трибунами, наблюдая за передвижением конницы по полю внизу под нами. Облака пыли поднимаются из-под копыт лошадей каждый раз, когда они ускоряют шаг или резко поворачивают; до нас доносятся приглушенные расстоянием и стуком копыт возгласы, смех и брань. Все мы, за исключением Мецената, только что вернулись с занятий и отдыхаем. Я снял доспехи и растянулся на земле, положив их под голову; Меценат, в девственно чистой тунике и с тщательно прибранными волосами, сидит, прислонившись к стволу небольшого дерева; рядом со мной стоит весь мокрый от пота Агриппа; ноги его возвышаются подле меня как колонны; возле него — Октавий, еще не остывший от возбуждения, с бледным лицом, потемневшие от пота волосы прилипли ко лбу. Только видя его рядом с могучим Агриппой, понимаешь, насколько он хрупок и худощав. Октавий улыбается, указывая на что-то внизу под нами; Агриппа согласно кивает головой. Жизнь прекрасна — всю неделю было сухо и тепло, мы довольны нашими успехами и сноровкой, показанной солдатами.

Я пишу эти строчки второпях, не зная, что мне потом из этого пригодится, поэтому записываю все подряд.

Всадники в поле спешиваются; их лошади сбиваются в кучу; Октавий садится возле меня и в шутку выдергивает доспехи из-под моей головы; мы смеемся, и все вокруг кажется таким прекрасным. Агриппа улыбается нам и потягивается, широко разводя в стороны огромные руки; в воцарившейся тишине слышно, как скрипит кожа его кирасы.

Сзади доносится голос Мецената — высокий и тонкий, немного манерный, почти женский:

— Мальчишки играют в солдат — как невыразимо скучно!

Ему отвечает Агриппа:

— Если бы ты хоть раз сподобился оторвать свой могучий зад от седалища, кое ты умудряешься отыскать в любых обстоятельствах, ты бы заметил, что жизнь полна других удовольствий помимо тех, каким ты так любишь предаваться.

Говорит он низким голосом, медленно и с расстановкой, с серьезностью, которая так многозначительна.

Октавий:

— Пожалуй, мы могли бы уговорить парфян поставить его во главе своей армии — это значительно облегчило бы нашу задачу этим летом.

Меценат тяжело вздыхает, поднимается на ноги и подходит к нам легкой походкой, которая никак не вяжется с его полнотой.

— Пока вы предавались своим вульгарным развлечениям,— говорит он,— я набросал небольшой стих о сравнительных достоинствах активного и созерцательного образа жизни. Мудрость одного мне хорошо известна, глупость же другого я только что имел возможность наблюдать.

На это ему невозмутимо отвечает Октавий:

— Мой дядя как-то дал мне совет читать поэзию,

любить поэтов и использовать их в своих целях, но никогда не доверять им.

— Твой дядя,— заметил Меценат,— мудрый человек.

Мы продолжаем подтрунивать друг над другом, потом замолкаем. Площадка под нами почти совсем опустела; лошадей увели в конюшни на краю поля. Вдали за полем показался всадник, несущийся во весь опор со стороны города. Мы лениво наблюдаем за ним. Вот он достиг кромки поля и, не останавливаясь, пересекает его одним махом, низко вжавшись в седло. Я порываюсь сказать что-то, но замираю на полуслове; Октавий сидит, словно оцепенев, со странным выражением на лице. Уже видна пена, клочьями летящая из пасти коня.

— Я знаю его — это один из слуг моей матери,— говорит Октавий.

Всадник почти наезжает на нас; его конь замедляет шаг; он сползает с седла и, спотыкаясь, делает несколько неуверенных шагов в нашу сторону, зажав что-то в руке. Легионеры, бывшие при нас, замечают неладное и опрометью бегут к нам, обнажая на ходу мечи, но потом останавливаются, заметив, что незнакомец валится с ног от усталости и каждый шаг дается ему лишь страшным напряжением воли. Он протягивает руку с зажатым в ней предметом к Октавию и хрипит:

— Вот... вот...

Это письмо. Октавий берет его и замирает на мгновение. Гонец валится на землю без чувств, но потом приходит в себя и сидит, зажав голову между коленями. В наступившей тишине отчетливо слышно его хриплое дыхание. Я гляжу на его коня и рассеянно отмечаю про себя, что он так загнан, что не доживет и до утра. Октавий остается недвижим. Все молчат. Наконец он медленно разворачивает свиток и читает с застывшим лицом. Ни слова не слетает с его губ. Спустя еще

несколько долгих мгновений он поднимает голову и поворачивается к нам бледнее мрамора. Он сует письмо мне в руку; я не смею взглянуть на него. Затем он говорит бесцветным, ровным голосом:

— Дядя умер.

Мы тупо смотрим на него, не понимая. С тем же бесстрастным выражением лица он снова заговаривает, на этот раз голосом громким и резким, исполненным такой невыразимой боли, словно это предсмертный рев жертвенного быка на заклании:

— Юлий Цезарь мертв.

— Нет, не может быть,— бормочет Агриппа.

Лицо Мецената напрягается; он, точно орел в жертву, впивается в Октавия цепким взглядом.

Мои руки так трясутся, что строчки прыгают перед глазами. Наконец, поборов волнение, читаю голосом, который сам не узнаю: «В мартовские иды сего года Юлий Цезарь убит врагами в здании сената. Подробности неизвестны. Разъяренные толпы на улицах. Никто не знает, что будет. Тебя может подстерегать смертельная опасность. На подробности времени нет. Твоя мать умоляет тебя поберечь себя». Письмо носило все следы спешки: почерк неровный, повсюду помарки.

Я оглядываюсь кругом, не в состоянии понять свое ощущение — может быть, пустоты? Я ловлю взгляд одного из трибунов, стоящих кольцом вокруг нас; его лицо искажается болезненной гримасой, и я слышу всхлип; я вспоминаю, что это один из лучших легионеров Цезаря, которого ветераны почитали как родного отца.

Наконец Октавий выходит из оцепенения и, подойдя к гонцу, который по-прежнему в изнеможении сидит на земле, опускается возле него на колени.

— Известно ли тебе что-нибудь еще помимо того, о чем говорится в письме? — ласково спрашивает он.

— Нет, мой господин,— отвечает тот, делая попытку подняться, но Октавий останавливает его, положив руку ему на плечо:

— Отдыхай.

Потом он встает и обращается к одному из трибунов:

— Проследи, чтобы о нем позаботились как следует и нашли ему подходящее место для отдыха.

Затем он поворачивается к нам (мы стоим, придвинувшись друг к другу):

— Поговорим позже, а сейчас я должен подумать, чем все это грозит.

Он протягивает ко мне руку, и я осознаю, что он требует обратно письмо. Я отдаю его, он поворачивается и сквозь расступившихся перед ним трибунов направляется вниз по холму. После этого мы еще долго видим его худощавую мальчишечью фигуру, петляющую по полю, словно в поисках верного пути.

Позднее того же дня. Паника охватывает лагерь по мере того, как известие о смерти Цезаря доходит до самых отдаленных постов; ползут слухи, один невероятнее другого; разгораются и стихают споры; вспыхивают потасовки, но их быстро пресекают. Некоторые из ветеранов, за свою долгую боевую жизнь перебывавшие в десятке разных легионов, подчас сражаясь против нынешних своих товарищей по оружию, взирают на всю эту суматоху с презрением, продолжая заниматься своими делами. Октавий все еще не вернулся из своего уединения в полях. День клонится к закату.

Ночь. Лугдуний, командующий легионом, самолично расставил часовых возле наших шатров — никто не знает, кто наши враги и что нас ждет впереди. Мы все четверо — в шатре Октавия, расположившись кто сидя,

кто полулежа на подушках вокруг мерцающих на полу светильников. Время от времени Октавий встает и пересаживается на раскладной табурет подальше от света, так что лицо его оказывается в тени.

Весь день приходили люди из Аполлонии — справлялись о новостях, давали советы или предлагали помощь; Лугдуний предоставил легион в наше распоряжение. Наконец Октавий просит больше к нам никого не допускать и говорит о тех, кто приходил к нему сегодня:

— Они знают еще меньше, чем мы, и обеспокоены лишь собственной судьбой. Еще вчера...— он умолкает на мгновение, глядя в темноту,— еще вчера они казались мне друзьями; сегодня я уже не верю им.

Он снова замолкает, подходит к нам и кладет руку мне на плечо:

— Я буду говорить об этом только с вами, моими истинными друзьями.

— Не верь даже нам, хоть мы и любим тебя всей душой,— говорит Меценат; голос его звучит глухо и уже не так манерно, как раньше.— С этого момента доверяй нам лишь настолько, насколько это необходимо.

Октавий резко отворачивается от нас, так что нам видна одна лишь его спина, и говорит сдавленным голосом:

— Я знаю. Я знаю и это.

Мы продолжаем обсуждать, что делать дальше.

Агриппа считает, что нужно переждать, пока обстановка не прояснится; в неверном свете стоящих на полу светильников его можно принять за старца из-за его низкого голоса и степенной манеры.

— Здесь мы в безопасности, во всяком случае пока; легион останется нам верен — Лугдуний дал слово. Вполне возможно, вся страна охвачена мятежом и войска посланы, чтобы схватить нас, как когда-то Сулла от-

рядил солдат на поимку потомков Мария, одним из которых был и Юлий Цезарь. Однако, может статься, мы так легко, как он тогда, не отделаемся. За нами — горы Македонии, куда никто не рискнет сунуться, зная, что с нами целый легион. Так или иначе, у нас будет достаточно времени, чтобы разузнать все как есть; нам ни в коем случае не следует какими-либо необдуманными действиями ставить под угрозу нашу нынешнюю безопасность. Не стоит торопиться, пока нам не грозит непосредственная опасность.

— Мой дядя как-то сказал мне, что чрезмерная осторожность так же гибельна, как и отчаянное безрассудство,— мягко замечает Октавий.

Я неожиданно для самого себя вдруг вскакиваю на ноги, будто подброшенный неведомой силой, и слышу собственные слова:

— Я буду звать тебя Цезарем, ибо знаю, что тебе было назначено быть его сыном.

Октавий оглядывается на меня — похоже, эта мысль до сих пор не приходила ему в голову.

— Пока не время для этого,— говорит он медленно,— но я запомню, что Сальвидиен был первым, кто назвал меня так.

— А поскольку он прочил тебя в сыновья, ты должен поступить так, как поступил бы он сам,— продолжаю я.— Агриппа сказал, что один легион уже на нашей стороне, остальные пять в Македонии последуют примеру Лугдуния и присягнут нам, если мы будем действовать без промедления. Они наверняка в еще большем неведении о том, что происходит, чем мы. Я предлагаю идти на Рим с преданными нам легионами и брать власть в свои руки.

— А потом? Мы не имеем ни малейшего понятия, какова она, эта власть, и кто противостоит нам,— возражает Октавий.— Мы даже не знаем, кто его убийцы.

Я:

— Власть будет такой, какой мы сумеем ее сделать. А что касается наших противников, то этого нам знать не дано. Но если легионы Антония присоединятся к нашим, то...

Октавий повторяет с расстановкой:

— Мы даже не знаем, кто его убийцы. Нам неизвестно, кто его враги, а значит, и наши.

Меценат вздыхает, затем поднимается и, качая головой, говорит:

— Мы обсуждаем, как нам поступить, но ни разу не обмолвились о цели наших будущих действий.

Он бросает долгий взгляд на Октавия:

— Друг мой, какова твоя цель, чего ты хочешь достичь?

В течение нескольких мгновений Октавий молчит, затем внимательно всматривается в лицо каждого из нас по очереди:

— Клянусь перед вами и богами, что, если суждено мне остаться в живых, я отомщу за смерть дяди, кто бы его убийцы ни были.

Меценат, кивая:

— В таком случае наша главная забота — сделать так, чтобы ты выполнил свою клятву, для чего прежде всего следует остаться в живых. А посему нам надо действовать очень осторожно, но действовать.

Он ходит взад и вперед, словно учитель, наставляющий учеников.

— Наш общий друг Агриппа советует отсидеться здесь, в безопасности, пока не станет ясно, что делать дальше. Но это значит продолжать оставаться в неведении — так или иначе, до нас дойдут известия из Рима, но это будут слухи, в которых правда перемешана с ложью, а факты искажены в угоду своекорыстию. Распри и соображения собственной выгоды — вот и все, что будет источником нашей осведомленности.

Он поворачивается ко мне:

— Наш пылкий друг Сальвидиен советует нам первыми нанести удар, пока царит общая неразбериха. Однако, бегая с робким соперником наперегонки в кромешной тьме, ты можешь, конечно, победить, но, скорее всего, сломаешь себе шею, упав с обрыва, или окажешься там, куда вовсе не хотел попасть. Нет, всему Риму скоро будет известно, что Октавий знает о смерти дяди, поэтому он вернется без лишнего шума, и единственными спутниками его будут лишь горе утраты да друзья, а не войско, отсутствие которого почтут за благо как сторонники его, так и враги. Никто не станет нападать на сопровождаемых несколькими слугами четырех юнцов, возвращающихся домой, чтобы оплакать погибшего родственника, как никому не придет в голову сплотить вокруг них боевые силы и тем самым только насторожить врагов и придать им решимости. И если нас вознамерятся убить, то вчетвером скрыться от погони куда легче, чем целому легиону.

Мы высказали свое мнение — теперь очередь Октавия. В наступившей тишине я думаю про себя: «Как странно, что теперь мы вдруг готовы подчиниться его решению, чего никогда не случалось раньше. Может быть, мы почувствовали в нем силу, которой не замечали прежде? Или таково стечение обстоятельств? А может быть, он обладает тем, чего нет ни в одном из нас? Подумаю обо всем этом на досуге».

Наконец Октавий прерывает молчание:

— Сделаем так, как советует Меценат. Оставим большую часть наших пожитков здесь, как будто собираемся вскоре вернуться, а сами завтра же двинемся в путь, стараясь как можно скорее попасть в Италию, но не в Брундизий — там стоит легион, и неизвестно, чего от него ждать.

— Тогда в Отрант,— вставляет Агриппа,— к тому же это ближе к Риму.

Октавий согласно кивает.

— Теперь ваш черед сделать выбор: тот, кто вернется со мной, навеки свяжет свою судьбу с моей. Другого пути нет, как нет и дороги назад. Я ничего не могу обещать вам, кроме того, что выпадет на мою долю.

Меценат зевает — он снова стал самим собой.

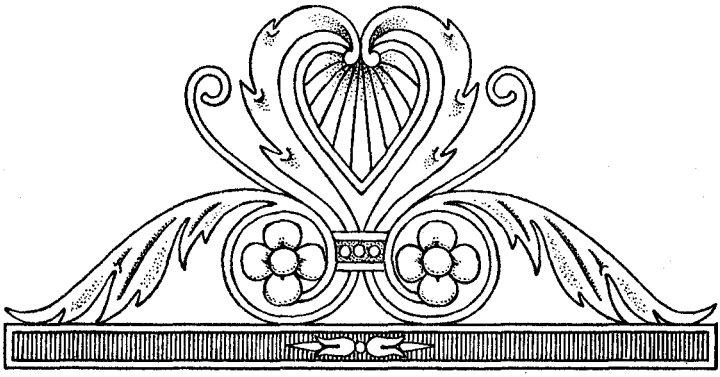
— Мы прибыли сюда на зловонной рыбацкой посудине, и, если мы сумели снести это, нам уже ничего не страшно.

— Это было так давно, так давно,— говорит Октавий с грустной улыбкой.

На этом мы желаем друг другу доброй ночи и расходимся.

Я один в своем шатре; на столе, за которым я пишу эти строчки, мирно потрескивает светильник; сквозь приоткрытый полог шатра я вижу над горами первые проблески зари. Всю ночь я не сомкнул глаз.

В мирной тишине раннего утра события прошедшего дня кажутся бесконечно далекими и нереальными. Я знаю, что отныне ход моей жизни — и не только моей — круто изменился. Интересно, что думают остальные? Догадываются ли они? Знают ли они, что в конце выбранного нами пути нас ждет или смерть, или величие? Два этих слова кружатся в моей голове, пока не сливаются в одно.



Глава 2

I

Письмо: Атия и Марций Филипп — Октавию (апрель, 44 год до Р.Х.)

Ко времени получения этого письма, сын мой, ты уже будешь в Брундизии и узнаешь новость. Случилось то, чего я так боялась: завещание обнародовано и ты назван сыном и наследником Цезаря. Я знаю: первым твоим порывом будет принять как имя, так и завещанное тебе состояние, но мать твоя умоляет тебя — не торопись, подумай хорошенько и попробуй понять, в какой мир ввергает тебя последняя воля твоего дяди. Помни — это не наивный провинциальный мир Велитр, где ты провел свое детство, не уютный домашний мирок наставников и нянек, в окружении которых прошло твое отрочество, и не мир манускриптов и философских бесед твоей юности, и даже не такой простой и понятный мир военных походов, в который Цезарь вопреки моей воле вовлек тебя. Тебя ждет Рим, где никто не знает, кто ему друг, а кто враг; где распущенность нравов ценится выше, чем добродетель,

и где принципы — лишь служанки собственной корысти.

Умоляю тебя, послушай свою мать — откажись от завещанного; этим ты не уронишь имени своего дяди, и никто не посмеет подумать о тебе плохо. Но если согласишься, то неминуемо навлечешь на себя ненависть как тех, кто покусился на Цезаря, так и тех, кто дорожит его памятью. Лишь отребье будет любить тебя, как любило оно Цезаря, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти его от уготованного ему удела.

Я молю богов, чтобы ты получил это письмо прежде, чем решишься на опрометчивый шаг. Мы не стали искушать судьбу, оставаясь в Риме, и собираемся пожить здесь, в Путеолах, в имении твоего отчима пока хаос не уступит место хоть какому-то, но порядку. Если ты не примешь условий завещания, то сможешь, ничего не страшась, приехать сюда к нам. Ведь можно оставаться порядочным человеком, храня свои чувства и мысли при себе. А теперь твой отчим хотел бы добавить кое-что от себя.

Устами твоей матери говорит любовь, живущая в ее сердце; я же, притом что тоже люблю тебя, обращаюсь к тебе, исходя из практического знания жизни, и в частности событий последних дней.

Тебе известны мои взгляды, и ты знаешь, что в прошлом я не всегда соглашался с политикой, проводимой твоим дядей. Более того, время от времени я считал нужным, как и наш общий друг Цицерон, выразить свое несогласие в стенах сената. Пойми, я говорю об этом лишь затем, чтобы уверить тебя, что призываю последовать совету твоей матери вовсе не из политических, а из чисто прагматических соображений.

Я отнюдь не одобряю политического убийства, и обратись заговорщики ко мне за советом, я бы отвернулся

от них с чувством отвращения и ужаса, таким образом поставив под угрозу собственную жизнь. Однако ты должен понимать, что среди тираноубийц, как они себя называют, имеется немало весьма уважаемых и почтенных римлян. Они пользуются поддержкой большинства в сенате, где им противостоит одно лишь отребье; со многими из них я дружен. В любом случае, как бы ни были опрометчивы их действия, они остаются достойными людьми и патриотами. Даже Марк Антоний, не перестающий сеять смуту, и тот не стал выступать против них, да и не станет, ибо он тоже прагматик.

При всех его достоинствах твой дядя довел Рим до такого плачевного состояния, от которого он еще не скоро оправится. Все так шатко: враги Цезаря могущественны, но пребывают в замешательстве, друзья же продажны и не заслуживают доверия. Если ты примешь имя и наследство, тебя покинут все, кто для тебя что-то значит; ты обретешь имя, которое мало что тебе даст, богатство, в котором ты не нуждаешься,— и одиночество.

Приезжай к нам в Путеолы; не ввязывайся в дело, исход которого не принесет тебе никакой выгоды, держись от этого всего подальше — тебе будет гораздо спокойнее в окружении любящих тебя людей.

II

Воспоминания Марка Агриппы — отрывки
(13 год до Р.Х.)

...и, потрясенные этой скорбной вестью, мы поспешили через бурные воды в Отрант, где высадились на берег под покровом ночи, никому не открывшись. Остаток ночи мы провели на постоялом дворе, распустив своих слуг, чтобы не возбуждать подозрений, а наутро, еще до восхода солнца, уже были по дороге в Брунди-

зий, передвигаясь пешком, как простые крестьяне. В Лечче нас остановили два легионера, охраняющих подходы к Брундизию, и, хотя мы себя не назвали, один из них, ветеран испанской кампании, опознал нас. От него мы узнали, что гарнизон города готов радушно нас встретить и нам нечего бояться, после чего один из легионеров поспешил обратно в город предупредить о нашем прибытии, а другой остался с нами. Нас приняли со всеми почестями: был выстроен почетный караул, и две колонны легионеров сопровождали нас в качестве эскорта.

Затем нам была показана копия завещания, согласно которому Октавий объявлялся сыном Цезаря и его легатом; сады, принадлежащие Цезарю, отходили в общественное пользование, и каждому гражданину Рима причиталось по три сотни серебром из личной казны Цезаря.

Нам рассказали, что происходит в Риме, который был охвачен беспорядками; мы узнали имена убийц и услышали о беззаконии сената, который им попустительствовал и оставил на свободе, о горе и ярости народа, вынужденного мириться с этим беззаконием.

Гонец из дома Октавия ждал нас с письмами от его матери и ее мужа, в которых они из любви и опасения за его жизнь настоятельно советовали ему отречься от всего, что ему завещано Цезарем, чего он сделать не мог. Неопределенность положения и трудность стоящей перед ним задачи лишь укрепили его решимость; и тогда мы назвали его Цезарем и присягнули ему на верность.

Легионеры местного гарнизона и ветераны со всей округи, преклонявшиеся перед отцом и успевшие полюбить сына, толпами приходили к нему, предлагая свои услуги и призывая отомстить убийцам, но он охладил их пыл, при этом не поскупившись на слова благодарности. И вот без лишнего шума мы снова

тронулись в свой скорбный путь через всю страну из Брундизия по Аппиевой дороге в Путеолы, откуда мы намеревались вступить в Рим, как только представится удобный случай.

III

Квинт Сальвидиен Руф: записи в дневнике, Брундизий (44 год до Р.Х.)

Мы многое узнали, но мало что поняли. Говорят, что всего заговорщиков было более шестидесяти, главные из них — Марк Юний Брут, Гай Кассий Лонгин, Децим Брут Альбин, Гай Требоний — все так называемые «друзья» Юлия Цезаря; некоторые из этих имен были нам знакомы еще с детства. Есть и другие, о которых нам пока неизвестно. Марк Антоний на словах осуждает убийц, а сам приглашает их на обед; Долабелла, поддержавший заговор, назначен консулом на текущий год тем самым Антонием, который гневно осудил врагов Юлия Цезаря.

Какую игру ведет Антоний? Что будет с нами?

IV

Письмо: Марк Туллий Цицерон — Марцию Филиппу (44 год до Р.Х.)

Я только что прознал, что твой пасынок вместе с тремя своими юными друзьями находится на пути из Брундизия, куда он прибыл морем несколько дней тому назад, в Рим, почему я и спешу с этим письмом к тебе, дабы оно достигло тебя в Путеолах до его приезда.

Ходят слухи, что, несмотря на твой совет (копию этого письма я имел удовольствие получить, за что премного тебе благодарен), он намеревается исполнить

завещание Цезаря. Надеюсь, это не так, но боюсь, что безрассудство юности возьмет свое. Умоляю — используй все свое влияние, чтобы убедить его воздержаться от этого опрометчивого шага или, если с этим мы уже опоздали, отречься от всего. В этом я готов оказать тебе любую посильную помощь. Я сейчас же отдам распоряжения к отъезду из Астуры и через несколько дней буду у тебя в Путеолах, чтобы поспеть к приезду Октавия. Я был добр к нему в прошлом, и, мне думается, он относится ко мне с восхищением.

Я знаю, ты питаешь определенную слабость к мальчишке, но пойми — он хоть и отдаленный, но родственник Цезаря, и враги нашего дела могут воспользоваться этим обстоятельством, если дать ему слишком много свободы. В эти смутные времена преданность партии должна возобладать над нашими личными пристрастиями. Впрочем, никто не желает мальчику плохого. Ты должен самым настоятельным образом поговорить об этом с женой (помнится, она имела большое влияние на сына).

Я получил известия из Рима: положение не из лучших, но не безнадежное. Наши друзья все еще не осмеливаются показаться в столице, и даже мой дорогой Брут и тот вынужден оставаться в провинции, вместо того чтобы быть в Риме и восстанавливать республику. Я надеялся, что смерть диктатора немедленно принесет с собой свободу, вернет нам наше славное прошлое и избавит от выскочек, осмеливающихся посягать на столь близкие нашему сердцу устои. Но республика остается в развалинах; тем, кто должен решительно действовать, не хватает силы духа, в то время как Антоний рыщет, как дикий зверь, чем бы поживиться, опустошая казну и укрепляя свою власть везде, где можно. Если нам предстоит выносить Антония, я почти готов пожалеть о смерти Цезаря. Впрочем, я уверен — нам не придется

терпеть его слишком долго, ибо он настолько безрассуден, что неминуемо погубит себя.

Я знаю — я слишком большой идеалист, даже мои самые близкие друзья не станут этого отрицать. Тем не менее моя вера в конечную справедливость нашего дела — вовсе не пустая фантазия. Раны заживут, распри утихнут, сенат вновь обретет издревле присущие ему решительность и достоинство, почти полностью истребленные Цезарем, и оба мы — и я и ты, мой дорогой Марций, доживем до того дня, когда исконная добродетель, о которой мы так часто говорили, вновь увенчает чело Рима.

События последних недель нарушили течение моей жизни, отняв у меня столько времени, что мои собственные дела страдают. Вчера ко мне пришел Хризипп, один из моих управляющих, с самыми серьезными претензиями ко мне — оказалось, что две из моих лавок пришли в полную негодность, а остальные в таком плачевном состоянии, что не только съемщики, но и мыши угрожают их покинуть. К счастью для меня, я следую философии Сократа* — другой назвал бы это катастрофой, а я не почитаю даже за неприятность. Как все это мелко! Одним словом, после продолжительной беседы с Хризиппом я пришел к решению продать несколько домов и отремонтировать остальные, обратив мои потери в доход.

V

Письмо: Марк Туллий Цицерон — Марку Юнию Бруту (44 год до Р.Х.)

Я виделся с Октавием — он остановился на вилле своего отчима в Путеолах, что в двух шагах от меня. Так как я дружен с Марцием Филиппом, я могу видеть его,

когда захочу. Должен тебе сразу же сообщить, что он взял имя и вошел в наследство нашего ныне мертвого врага.

Но не отчаивайся — смею тебя уверить, что это совсем не так страшно, как мы себе воображали. Мальчишка ничего собой не представляет, и нам абсолютно нечего бояться.

С ним трое его друзей: некий Марк Агриппа, неуклюжий деревенщина, которому более пристало топтать борозду за плугом (или даже впрягшись в него), чем украшать своим присутствием римские гостиные; некий Гай Цильний Меценат, с грубыми чертами и резкими движениями, но при этом странно женоподобный юнец, имеющий мерзкую манеру томно прикрывать глаза ресницами; и наконец, некий Сальвидиен Руф — худой впечатлительный мальчик, пожалуй чересчур смешливый, но в остальном, похоже, самый сносный из всех. Насколько я могу судить, за душой у них ничего нет — ни знатного происхождения, ни богатства (если уж на то пошло, то и родословная Октавия оставляет желать лучшего: его дед со стороны отца был провинциальным ростовщиком, а уж кто там был в роду до того — одним богам известно).

Так или иначе, все четверо потерянно бродят по дому, будто им больше нечем заняться, болтают с гостями — в общем, путаются под ногами. Похоже, они пребывают в полном неведении о том, что вокруг происходит, ибо от них очень непросто добиться членораздельного ответа; сами же они постоянно задают глупые вопросы, а потом недоумевают над ответами, тупо глядя в сторону.

Однако я не позволяю себе открытого проявления своих чувств, будь то презрение или торжество; я веду себя с мальчиком очень сдержанно. Встретившись с ним в первый раз, я сочувственно заахал и заохал и вывалил целый воз банальностей о тяжести утраты

близкого родственника. Из его ответных слов я понял, что его скорбь скорее личного, чем политического свойства. Затем в достаточно двусмысленных выражениях я позволил себе намекнуть, что, как бы ни прискорбен был сам факт убийства (да простится мне это лицемерие, дорогой Брут!), многие тем не менее полагали, что проистекало оно из самых бескорыстных и патриотических побуждений. Должен сказать, за все это время я ни разу не заметил в нем признаков недовольства моими заигрываниями. Я полагаю, он немного побаивается меня, и его удастся склонить на нашу сторону, если проявить достаточно такта.

Он всего лишь мальчишка, и достаточно недалекий при этом; он не имеет ни малейшего понятия о политике и вряд ли когда будет иметь. Им движет не долг чести и не честолюбие, а скорее нежная привязанность к памяти того, кого он хотел бы видеть своим отцом. А что касается его друзей, то они ищут лишь выгод его расположения. Поэтому я заключаю, что он для нас не опасен.

С другой же стороны, мы можем воспользоваться этим обстоятельством в своих целях, ибо он, в конце концов, имеет определенное право на имя и наследство Цезаря (если он, конечно, сумеет получить это последнее). Наверняка найдутся такие, кто последует за ним из-за одного лишь имени, другие же — ветераны и некогда зависимые от Цезаря лица — в память о том, чье имя он носит, и третьи — не зная, что делать и по прихоти случая. Но главное, что при этом мы ничего не теряем, ибо те, кто может пойти за ним, иначе были бы на стороне Антония. Если мы сумеем убедить его присоединиться к нам, то тем самым одержим двойную победу; в худшем случае мы ослабим Антония, и одно это будет немалым успехом. Мы используем мальчишку, а потом избавимся от него — и навсегда покончим с родом тирана.

Как ты сам понимаешь, я не могу открыто обсуждать эти вопросы с Марцием Филиппом, хоть он нам и друг, из-за двусмысленности его положения — как-никак, он женат на матери мальчика, и ни один мужчина не свободен от слабостей, проистекающих из супружеских обязанностей. Кроме того, он не такая крупная фигура, чтобы доверять ему во всем.

Можешь сохранить это письмо до лучших времен, но, прошу тебя, не посылай копии нашему другу Аттику: из-за восхищения передо мной и гордости за нашу дружбу он показывает мои письма всем и каждому без разбора, даже если публично и не оглашает их. Сведения, содержащиеся в этом письме, не следует предавать огласке, пока будущее не подтвердит мою правоту.

P.S. Египетская девка Цезаря, Клеопатра, бежала из Рима то ли из страха за свою жизнь, то ли в отчаянии от крушения ее честолюбивых планов, не знаю. Так или иначе, это только к лучшему. Октавий как ни в чем не бывало едет в Рим принимать наследство. Я с трудом сдержал себя, чтобы не показать, как опечалило и прогневило меня это известие — ведь этот юнец и его неотесанные друзья могут, ничего не опасаясь, появиться в Риме, в то время как ты, герой мартовских ид, и наш дорогой Кассий должны, как затравленные звери, скрываться за пределами города, который вы же и освободили.

VI

Письмо: Марк Туллий Цицерон — Марку Юнию Бруту (44 год до Р.Х.)

Очень коротко. Он с нами — я в этом вполне уверен. Он поехал в Рим, где говорил с народом, но лишь затем, чтобы заявить свои права на наследство. Насколько мне известно, он не отзывался плохо ни о тебе, ни

о Кассии, ни об остальных. Он восхваляет Цезаря в самых трогательных выражениях и дает всем понять, что принимает наследство из чувства долга, а имя — из уважения и что намерен вести уединенную частную жизнь, как только покончит с нынешним делом. Можно ли ему верить? Я скажу, должно! Я продолжу обхаживать его, когда вернусь в Рим, ибо его имя нам еще пригодится.

VII

Письмо: Марк Антоний — Гаю Сентию Таву, военному коменданту Македонии (44 год до Р.Х.)

Сентий, старый потаскун, тебе шлет свои приветствия Антоний! Расскажу об очередном примере тех невообразимых пустяков, с которыми мне приходится каждый день сталкиваться с тех пор, как я принял бремя правления на свои плечи. Не знаю, как Цезарь умудрялся выносить все это день за днем — впрочем, он был странный человек.

Вчера утром ко мне пришел Октавий, этот маленький ублюдок с лицом цвета сыворотки. Всю прошлую неделю он провел в Риме, исполняя роль безутешной вдовы, только что потерявшей мужа, называя себя при этом Цезарем и болтая другие подобные глупости. Похоже, Гней и Луций, два моих безмозглых братца, не посоветовавшись со мной, дали ему разрешение обратиться к народу с форума при условии, что в своей речи он не будет касаться политики. Ты когда-нибудь слышал о речи, в которой нет ничего о политике? Во всяком случае, он не пытался подстрекать народ, так что малый не такой уж дурак. Не сомневаюсь, он заработал сочувствие толпы, но это, пожалуй, и все.

И все-таки он если и не круглый, но все-таки дурак,

ибо напускает на себя слишком высокомерный для сопливого мальчишки вид, особенно если учесть, что дед его был мошенник, а новое громкое имя он просто-напросто себе присвоил. Он явился ко мне поздно утром, без приглашения, в то время как с полдюжины людей сидели ждали приема, в сопровождении свиты из трех человек, будто какой магистрат со своими ликторами. Он, наверное, полагал, что я все брошу и тут же приму его — как бы не так! Я дал указание своему письмоводителю сказать ему ждать своей очереди, при этом я наполовину ожидал, наполовину хотел, чтобы он убрался восвояси, но он и не подумал. Я продержал его в приемной почти все утро, пока наконец не соизволил принять.

Должен признаться, что, несмотря на все мои игры с ним, он был мне любопытен. Я всего-то видел его пару раз до этого: один раз, шесть или семь лет назад, когда ему было лет двенадцать и Цезарь разрешил ему прочесть панегирик на похоронах его бабки Юлии, и другой — двумя годами позже, во время африканского триумфа Цезаря, когда я ехал вместе с диктатором на колеснице, а мальчик следовал за нами. В свое время Цезарь много говорил мне о нем, и я было подумал, не упустил ли я чего.

Но, увидев его, понял, что нет. Никак не возьму в толк, как это «великий» Цезарь мог оставить этому мальчишке свое имя и состояние. Если бы завещание попало мне в руки, а не было бы отправлено в храм Девственных весталок, клянусь богами, я бы рискнул сам внести в него поправки.

Думаю, меня это не так бы вывело из себя, если бы он оставил свои высокомерные ужимки в приемной и был как все. Но нет — он вошел, эскортируемый своими друзьями, которых церемонно представил, будто мне было до них дело. Он обратился ко мне с подо-

бающей почтительностью, а затем учтиво замолк, ожидая ответа. Я же лишь смерил его долгим взглядом и промолчал. Следует отдать ему должное: его трудно вывести из себя. Он оставался невозмутим и тоже молчал; не могу даже сказать, рассердился ли он на то, что его заставили так долго ждать. Наконец я произнес:

— Ладно, чего тебе нужно?

Он и глазом не моргнул.

— Я пришел, чтобы засвидетельствовать тебе, другу моего отца, свое почтение и узнать, что следует предпринять, чтобы уладить дела по завещанию,— сказал он.

— Твой дядя,— ответил я,— оставил дела в большом беспорядке. Я бы рекомендовал тебе держаться подальше от Рима, пока все не уладится.

Он ничего на это не сказал. Признаюсь, Сентий, в присутствии этого мальчишки мне почему-то становится не по себе и я с трудом сохраняю спокойствие.

— Я бы также советовал тебе воздержаться от столь частого упоминания его имени, будто оно твое собственное. Как тебе хорошо известно, оно тебе не принадлежит и не будет принадлежать, пока факт усыновления не будет утвержден сенатом,— заметил я.

Он согласно кивнул:

— Благодарю тебя за совет. Я принял имя из уважения, а не из честолюбия. Но оставим имя и даже мою часть наследства в стороне — в завещании еще говорится о дарах, обещанных Цезарем народу. Я полагаю, что при царящих ныне настроениях...

— Мальчик,— рассмеялся я,— то был мой последний совет на сегодня. Почему бы тебе не отправиться обратно в Аполлонию к своим манускриптам? Там тебе будет гораздо спокойнее. А я тем временем позабочусь о делах твоего дяди, когда и как я считаю нужным.

Его ничем не проймешь! Он лишь улыбнулся холодной полуулыбкой и заявил:

— Я счастлив узнать, что дела моего дяди в таких умелых руках.

Я встал из-за стола и, потрепав его по плечу, сказал:

— Вот и хорошо. А теперь, ребятишки, по домам — у меня еще много дел на сегодня.

На этом наша встреча и закончилась. Я полагаю, он знает свое место и не замахивается на большее. Он всего лишь напыщенный, но весьма заурядный малец, ничего собой не представляющий, если, конечно, не получит право на то самое имя. Это, безусловно, мало что ему даст, хотя сам факт и раздражает.

Впрочем, хватит об этом. Приезжай в Рим — клянусь, я ни словом не обмолвлюсь о политике. Мы поедем к Амелии на представление, что дается в ее доме (кстати, особым распоряжением консула, имя которого я не могу здесь раскрыть, актрисам, занятым в нем, позволено выступать без обременяющих одеяний); будет вдоволь вина, и мы посостязаемся среди девушек в мужской силе.

И все же мне не терпится, чтобы этот маленький ублюдок наконец убрался из Рима и забрал с собой своих друзей.

VIII

Квинт Сальвидиен Руф: записи в дневнике (44 год до Р.Х.)

Мы виделись с Антонием. Дурные предчувствия; грандиозность стоящей перед нами задачи. Он определенно против нас; ни перед чем не остановится, чтобы помешать нам; умен; дал почувствовать нашу молодость.

При всем при том производит впечатление. Тщеславен и не скрывает этого. Белоснежная тога (на ее фоне особенно выделяются загорелые мускулистые руки) с пурпурной каймой, искусно расшитой золотом; широ-

кий в кости; ростом и сложением похож на Агриппу, но движения скорее как у кошки, чем как у быка; смуглое красивое лицо, испещренное мелкими белыми шрамами; тонкий нос, как у выходца с юга, однажды сломанный; полные губы, чуть приподнятые в уголках; большие карие глаза, легко вспыхивающие гневом; громоподобный голос, способный ошеломить как друга, так и врага.

Меценат и Агриппа — каждый по-своему — вне себя. Меценат, расчетливый и хладнокровный (в минуты серьезности он забывает свое жеманство, и даже тело его будто наливается свинцом), не видит пути к примирению, да и не хочет его. Агриппа, обычно такой уравновешенный, весь дрожит от ярости, побагровев лицом и сжав кулаки. Один Октавий (мы теперь зовем его Цезарем, когда не одни) как-то странно весел и, кажется, совсем не сердится. Он улыбается, оживленно болтает и даже смеется — впервые за все время со дня смерти Цезаря. В самый трудный момент он остается безмятежен. Не так ли вел себя его дядя в минуты опасности? Про него ходят разные слухи.

Мы обычно принимаем ванны в одной из общественных купален, но сегодня идем домой к Октавию; он объясняет, что, прежде чем обсуждать события прошедшего дня с кем-нибудь из посторонних, хотел бы поговорить с нами. Некоторое время мы играем в мяч (замечу: Агриппа и Меценат так распалены, что играют из рук вон плохо — то роняют мяч, то бросают его как попало и т.п. Октавий все так же невозмутим; он часто смеется и играет с большим умением и изяществом; я заражаюсь его настроением, и мы кружимся в танце вокруг Агриппы и Мецената, пока они уже сами не знают, на кого больше сердятся: на нас или Антония). Наконец Меценат отбрасывает мяч в сторону и кричит на Октавия:

— Дурак! Неужели ты не понимаешь, что нам грозит?

Октавий перестает скакать и пытается состроить сокрушенную мину, но не выдерживает и снова смеется, затем подходит к нему и Агриппе, кладет руки им на плечи и говорит:

— Простите меня, друзья мои, но я никак не могу забыть, какую шутку мы разыграли с Антонием сегодня утром.

— Не вижу ничего веселого. Он вовсе не шутил,— возражает Агриппа.

Октавий, улыбаясь:

— Верно, он говорил вполне серьезно, но неужели ты не заметил, что он нас боится? Он боится нас больше, чем мы его, и сам об этом не знает. И даже не догадывается! Это-то и смешно.

Я согласно киваю головой, но Агриппа и Меценат смотрят на Октавия непонимающим взглядом. Долгая пауза. Наконец Меценат кивает, черты его смягчаются; он с обычным своим жеманством пожимает плечами и небрежно замечает:

— Ну что ж, если ты хочешь, как жрец, проницать души людские...— и он снова пожимает плечами.

Мы отправляемся в купальню; потом обед, и после этого поговорим.

Все согласны: никаких опрометчивых поступков. Говоря об Антонии, имеем в виду, что он преграда на нашем пути. Агриппа считает, что вся власть у него. Но как до нее добраться? У нас нет войска, чтобы силой отнять ее, даже если бы мы и решились на это. Мы должны каким-то образом заставить его признать нас, и это станет нашим первым скромным шагом к победе. Сейчас слишком опасно собирать под наши знамена армию, даже только ради мести; позиция Антония неясна: хочет ли он, как и мы, отомстить убийцам или жаждет одной лишь власти? Очень возможно, что он сам был среди заговорщиков, ибо поддержал в сенате

эдикт, дарующий убийцам прощение, и отдал Бруту в управление провинцию.

Меценат полагает, что Антоний — человек могущественный и готовый к решительным действиям, но неспособный определить их конечную цель. «Он замышляет, а не планирует» — так говорит Меценат. Пока ему не будет противостоять реальный противник, он не сделает ни шагу. Но надо заставить его сделать шаг, иначе мы окажемся в тупике. Вопрос: как понудить его к действию, не дав обнаружить его собственного страха перед нами?

Я выступаю несколько неуверенно. Не кажусь ли им слишком робким? Я говорю, что Антоний преследует те же цели, что и мы; у него власть, поддержка армии и т.д. и т.п. Друг Цезаря. Бесцеремонность в обращении с нами непростительна, но понятна. Выждать. Убедить его в нашей преданности. Предложить свои услуги. Быть с ним рядом, склоняя его к использованию своей власти ради тех целей, о которых мы говорили.

Октавий, медленно:

— Я ему не верю, ибо он сам не во всем себе доверяет. Присоединившись к нему, мы слишком тесно привяжем себя к его колеснице; и никто — ни мы, ни Антоний,— никто точно не знает, куда она несет его. Если у нас будут развязаны руки, мы можем заставить его прийти к нам.

Еще обсуждение; наконец возникает план: Октавий будет говорить с народом — то здесь, то там; никаких больших скоплений; никаких официальных речей.

Октавий:

— Антоний убедил себя, что нас легко обвести вокруг пальца, и нам надо всеми силами поддерживать в нем эту иллюзию.

Поэтому мы воздержимся от каких бы то ни было подстрекательских выступлений, но при этом будем

громко выражать недоумение, почему убийцы Цезаря до сих пор не наказаны, почему его дар народу так и не передан и как мог Рим так быстро все забыть.

За этим последует официальное обращение к народу, в котором Октавий объявит, что Антоний не может (или не хочет?) выдать обещанные им деньги и что Октавий самолично, из собственного кармана, выплатит то, что им причитается по воле Цезаря.

Обсуждение продолжается. Агриппа говорит, что Октавий истощит свое состояние, если Антоний не выделит деньги, и что, если понадобится собрать армию, нам не на что будет ее содержать. На это Октавий отвечает, что без поддержки народа никакая армия не поможет и что мы приобретем власть, не показав, что хотим власти, и тогда Антоний так или иначе вынужден будет сделать первый шаг.

Итак, решено: Меценат подготовит речь, Октавий доработает ее, и завтра же и начнем.

— И помни, друг мой, это должна быть обычная речь, а не поэма. Скорее всего, мне придется изрядно попотеть над твоей несравненно запутанной прозой,— говорит Октавий Меценату.

Они ошибаются: Марк Антоний никого не боится.

IX

Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию (13 год до Р.Х.)

Несколько лет назад мой друг Гораций объяснял мне, как он пишет стихи. Мы говорили вполне серьезно, сидя за бокалом вина, и мне кажется, его объяснение тогда было более точным, чем в недавно опубликованных «Письмах к Пизону*» — поэме об искусстве поэзии, от которой я, честно признаться, не в восторге.

— Я решаюсь взяться за стихи,— говорил он,— только тогда, когда твердо уверен, что во мне проснулось желание творить, но при этом не спешу браться за перо, а выжидаю, пока это чувство во мне не окрепнет и не обернется решимостью; затем я ставлю перед собой как можно более простую цель, к коей направлено это чувство, хотя зачастую и сам не знаю пути, который оно изберет. После этого я сажусь за сочинение, используя все имеющиеся в моем распоряжении средства, неважно какие: заимствую у других, если надо, изобретаю, если есть в том необходимость. Я пользуюсь языком, который знаю, и не выхожу за его рамки. И вот что удивительно: в конце я прихожу совсем не к тому результату, какой задумал вначале, ибо каждое новое решение открывает новые возможности и каждая новая возможность порождает новые трудности, требующие решений, и т.д. и т.п. В глубине души поэт никогда не знает, куда влечет его муза.

Я вспомнил этот разговор нынче утром, когда опять сел за письмо, чтобы рассказать тебе о тех далеких днях, и мне пришло в голову, что Горациево описание процесса создания стихов носит поразительное сходство с нашими попытками сотворить собственную судьбу в этом мире (хотя если бы Гораций мог услышать меня и вспомнил бы, о чем он тогда говорил, то нахмурился бы сурово и сказал, что все это чепуха, что сначала выбирается тема, затем она должным образом раскрывается посредством противопоставления одной метафоры другой, данного метра — данному обороту речи и т.д. и т.п.).

Наши чувства — или, вернее, чувства Октавия, которые захватили нас, как порой захватывают стихи,— были вызваны потрясением от убийства Юлия Цезаря, события, которое все более и более казалось главной причиной распада мира; и мы поставили своей целью отомстить убийцам во имя чести нашей и всего го-

сударства. Все было просто и понятно или, вернее, представлялось таковым. Но боги, правящие миром, как и боги поэзии, поистине мудры, ибо часто отвращают нас от цели, к которой мы в слепоте своей стремимся!

Мой дорогой Ливий, не хочу читать тебе нравоучений, но должен напомнить — ты прибыл в Рим уже после того, как император осуществил предначертанное ему судьбой и стал повелителем мира. Поэтому позволь мне рассказать тебе о тех временах, чтобы теперь, через столько лет, ты мог лучше воссоздать картину хаоса, царившего тогда в Риме.

Цезарь умер — «по воле народа», как говорили его убийцы, однако при этом укрывались на Капитолии от того самого народа, который подвигнул их на это. Двумя днями позже сенат выразил благодарность убийцам и тут же, единым духом, одобрил и принял те самые законы, из-за которых он и был убит. При всем ужасе их деяния заговорщики хотя бы имели достаточно мужества и решимости, чтобы пойти на убийство, но после этого первого шага разбежались, как истеричные женщины. Антоний, будучи другом Цезаря, поднял народ против убийц, однако в ночь перед мартовскими идами, то есть перед самым убийством, устроил для них званый обед и был замечен шептавшимся о чем-то с одним из них (Требонием) за мгновение перед покушением, а спустя два дня опять пригласил их на обед! Он снова подстрекал чернь к поджогам и грабежам в знак протеста против убийства, а позже не возражал против ареста и казни смутьянов за это беззаконие. Он приказал публично огласить волю Цезаря, а потом всеми силами противился ее исполнению.

Самое главное — мы знали, что Антонию доверять нельзя, и видели в нем грозного противника, но не из-за его хитрости и таланта полководца, а из-за его безрассудства и бездумной силы. Ибо, несмотря на сентиментальное чувство уважения, которое питают к

нему некоторые из нынешних молодых, он не был особенно умен, не видел перед собой реальной цели, повинуясь лишь сиюминутному капризу своей воли, и не отличался особой храбростью — он не сумел даже лишить себя жизни как подобает, ибо оттягивал решающий момент до последнего, пока не осталось ни малейшей надежды на спасение, и посему совершил самоубийство слишком поздно, чтобы такую смерть можно было считать достойным уходом из жизни.

Как противостоять врагу, который совершенно безрассуден и непредсказуем и тем не менее благодаря какой-то животной силе и стечению обстоятельств приобрел пугающую по своим размерам власть? (Оглядываясь назад, кажется странным, что мы считали нашим основным противником Антония, а не сенат, хотя наши наиболее очевидные враги были именно там. Я думаю, мы инстинктивно чувствовали, что если даже такой путаник, как Антоний, умеет с ними справиться, то и у нас особых хлопот с ними не будет, когда подойдет время.) Я до сих пор этого не знаю, но зато знаю, как поступили мы, так что позволь мне рассказать тебе об этом.

Итак, мы побывали у Антония, который весьма грубо с нами обошелся. Он был самым влиятельным человеком в Риме — у нас же не было ничего, кроме имени. Поэтому мы решили, что первым делом надо завоевать его признание. Предложением дружбы мы этого не добились, оставалось прибегнуть к вражде.

Мы начали с разговоров — как среди врагов Антония, так и среди его друзей. Или, вернее сказать, мы стали задавать вопросы с самым невинным видом, будто пытаясь разобраться, что происходит: когда, по их мнению, Антоний собирается обратиться к завещанию Цезаря? что стало с тираноубийцами Брутом, Кассием и другими? перешел ли Антоний на сторону республиканцев или по-

прежнему остается верен Цезаревой партии народа? И все в таком духе. При этом мы старались,чтобы слухи об этих разговорах дошли до ушей Антония.

Поначалу он никак не реагировал. Мы не унимались. Наконец до нас дошли сведения о его раздражении, рассказы о том, какими оскорблениями он осыпал Октавия: слухи о его обвинениях в адрес Октавия передавались из уст в уста. А затем мы сделали ход, который должен был толкнуть его на открытый бой.

Октавий не без моей помощи подготовил речь (у меня, возможно, осталась запись этой речи среди моих бумаг; если мой письмоводитель найдет ее, я тут же вышлю тебе копию), в которой он с огорчением извещал народ, что вопреки завещанию Цезаря Антоний не желает передать ему состояние диктатора и поэтому он, Октавий, приняв имя Цезаря, исполнит волю покойного и выплатит обещанные народу деньги из собственного кармана. Октавий выступил; ничего подстрекательского в его речи не было, лишь печаль, сожаление и простодушное недоумение.

Антоний тут же сломя голову бросился в атаку, на что мы и рассчитывали: он немедленно внес в сенат проект закона, препятствующий формальному усыновлению Октавия; вступил в союз с Долабеллой, в то время делившим с ним консульство и близким к заговорщикам; заручился поддержкой Марка Эмилия Лепида, который сразу же после покушения бежал из Рима к своему легиону в Галлию; и наконец, стал открыто угрожать Октавию смертью.

Ты должен понимать, в каком трудном положении оказались многие из солдат и граждан Рима — во всяком случае, так им тогда казалось: люди при деньгах и власти почти все без исключения были против Юлия Цезаря, а значит, и против Октавия; солдаты и граждане среднего достатка почти все без исключения любили

Юлия Цезаря и потому склонялись на сторону Октавия, зная при этом, что Антоний был другом Цезаря. И вот теперь они оказались свидетелями того, что по их представлению было саморазрушительным противоборством между двумя людьми, которые единственные могли выступить на их стороне против богачей и аристократов.

Так случилось, что Агриппа, который лучше любого из нас знал язык, образ мыслей и нужды солдат, встретился с трибунами, центурионами и простыми легионерами, в свое время воевавшими под началом Цезаря и любившими его, и просил их использовать свое положение и известную преданность делу, дабы умерить бессмысленные разногласия, возникшие между Марком Антонием и Октавием (которого он при них называл Цезарем). Заверенные в любви к ним Октавия и убежденные в том, что Антоний не сочтет их усилия за мятеж или измену, они стали действовать.

Сначала они (всего несколько сотен человек, насколько мне известно) с нашей подсказки отправились маршем к дому Октавия на холме. Было очень важно, чтобы они первым делом пошли именно туда, как ты поймешь позже. Октавий прикинулся удивленным, выслушал их призывы протянуть руку дружбы Антонию и обратился к ним с небольшой речью, в которой простил Антонию его оскорбления и согласился навести мосты. Как ты уже догадался, мы позаботились о том, чтобы последнему стало известно о предстоящем визите. Если бы они появились у его дома без предупреждения, он мог бы неверно истолковать их намерения и принять это за ответ на его угрозы Октавию.

Но он знал, что они теперь направятся к нему; я часто пытался представить себе его гнев и бессилие, когда он дожидался их один в огромном дворце, когда-то принадлежавшем Помпею и присвоенном Антонием после смерти Цезаря. Он знал, что у него нет другого выбора, кроме

как терпеливо ждать, и, возможно, именно тогда ему на мгновение приоткрылось его собственное будущее.

По наущению Агриппы ветераны настояли, чтобы Октавий присоединился к ним, что он и сделал, хотя отказался от всяческих почестей и пошел в хвосте делегации. Должен признать, что Антоний держался с достоинством, когда мы вошли к нему во двор. Один из ветеранов приветствовал его; он выступил вперед и вскинул руку в ответном салюте; затем прослушал речь, с которой Октавий уже был знаком, после чего согласился на примирение, но оставался немногословен и несколько угрюм. Потом вперед вышел Октавий и в свою очередь приветствовал его, он ответил ему тем же; ветераны разразились радостными возгласами. Мы задержались ненадолго, но я навсегда запомнил: когда они подошли друг к другу, чтобы обменяться рукопожатиями (а я стоял совсем рядом с ними), я заметил сдержанную полуулыбку признательности на лице Антония.

Это ознаменовало наш первый небольшой шаг к власти, и это было только начало.

Я утомился, дорогой Ливий. Напишу тебе опять, как только позволит здоровье, ибо остается еще много всего, о чем я мог бы тебе рассказать.

P.S. Надеюсь, ты будешь осмотрительно использовать то, что я тебе сообщил.

X

Письмо: Марк Туллий Цицерон — Марку Юнию Бруту (44 год до Р.Х.)

События последних нескольких месяцев приводят меня в отчаяние: Октавий ссорится с Антонием — и у меня появляется надежда; они преодолевают свои разногласия и появляются на публике вместе — и меня охватывает страх; они снова ссорятся, в воздухе носятся

слухи о заговорах — и я недоумеваю; и опять они приходят к согласию — и опять нет мне покоя. Что все это значит? Знают ли они сами, что делают? Из-за их постоянных ссор и примирений весь Рим в смятении, и память об убийстве тирана по-прежнему живет в народе. Тем временем сила и популярность Октавия продолжают расти. Ко мне иногда закрадывается сомнение: неужели мы недооценили мальчишку, но я снова и снова убеждаюсь, что это лишь стечение обстоятельств, благодаря которым он представляется значительнее, чем есть на самом деле. Впрочем, не знаю — все так неопределенно.

Я посчитал необходимым выступить против Антония в сенате, хотя это и чревато для меня последствиями. В частных беседах Октавий меня полностью поддерживает, но публично об этом предпочитает не говорить. В любом случае Антоний теперь знает, что я его непримиримый противник. Он угрожал мне всяческими карами, так что я не рискнул оставить свой второй адрес в сенате; впрочем, он все равно будет разглашен и станет известен всему миру.

XI

Письмо: Марк Туллий Цицерон — Марку Юнию Бруту (октябрь, 44 год до Р.Х.)

Безумие, чистое безумие! Антоний поднял македонские легионы и выехал к ним в Брундизий; Октавий составляет списки уволенных в запас ветеранов Цезаря в Кампании. Антоний намеревается двинуться в Галлию против нашего друга Децима, как бы для того, чтобы отомстить за убийство, а на самом деле чтобы укрепить свою власть за счет галльских легионов. Ходят слухи, что он собирается пройти с войсками через Рим, дабы показать свою силу Октавию. Неужели в Италии снова

вспыхнет война? Можем ли мы вверить наше дело в руки юнца, да еще с таким именем, как Цезарь (так он себя сам называет)? О Брут! Где же ты теперь, когда Рим так нуждается в тебе?

XII

Приказ консула Гаю Сентию Таву, военному коменданту Македонии в Аполлонии, а также письмо (август, 44 год до Р.Х.)

Данной мне властью я, Марк Антоний, консул сената Рима, наместник в Македонии, понтифик школы луперкалий и главнокомандующий войсками в Македонии, приказываю тебе, Гаю Сентию Таву, отдать распоряжение старшим командирам македонских легионов подготовить свои подразделения для высадки в Брундизии, каковую предпринять без промедления, после чего ожидать прибытия верховного командующего.

Сентий, дальнейшее очень важно: он провел часть прошлого года в Аполлонии; не исключено, что у него есть друзья среди трибунов. Расследуй это обстоятельство самым тщательным образом. Трибунов, расположенных к нему, немедленно отошли из легиона или избавься от них каким-либо другим способом, но сделай это.

XIII

Подметное письмо, распространяемое среди македонских легионов, Брундизий (44 год до Р.Х.)

Сторонники злодейски убитого Цезаря!

Против кого вы идете: против Децима Брута в Галлии или против сына Цезаря в Риме?

Спросите Марка Антония.

Вас собрали, чтобы уничтожить врагов вашего погибшего вождя или чтобы защитить его убийц?

Спросите Марка Антония.

Что мешает выполнить волю покойного Цезаря, согласно которой каждому гражданину Рима завещано по три сотни сестерциев?

Спросите Марка Антония.

Убийцы и заговорщики оставлены на свободе указом сената, одобренного Марком Антонием.

Убийце Гаю Кассию Лонгину даровано наместничество в Сирии — тем же Марком Антонием.

Убийце Марку Юнию Бруту даровано наместничество на Крите — опять же Марком Антонием.

Среди полчища врагов злодейски убитого Цезаря где вы, его друзья?

Сын Цезаря взывает к вам!

XIV

Приказ к исполнению, Брундизий
(44 год до Р.Х.)

Кому: Гаю Сентию Таву, военному коменданту Македонии.

От: Марка Антония, главнокомандующего войсками.

На предмет: изменнические действия легионов — четвертого и Марсова.

Ниже поименованные трибуны должны быть доставлены в штаб главнокомандующего к восходу солнца двенадцатого дня месяца ноября:

П. Луций, К.Сервий, С. Портий, М. Флавий, К. Тит, А. Марий.

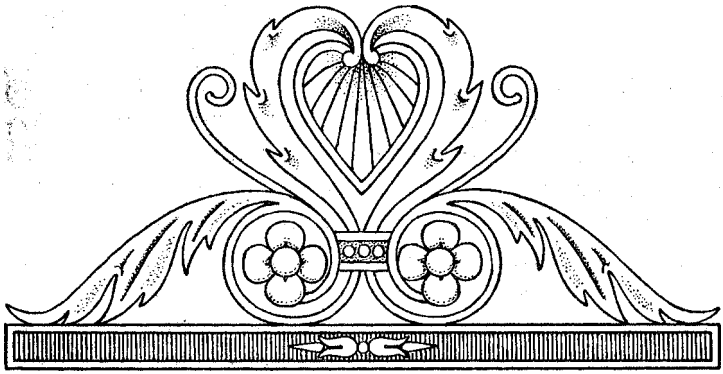
В тот же час того же дня вышеозначенные изменники должны быть преданы казни через отсечение головы. Кроме того, из каждой из двадцати когорт четвертого и Марсова легионов отобрать через посредство жребия по пятнадцать солдат с командирами и казнить тем же способом.

Всем командирам и личному составу приказано присутствовать при исполнении приговора.

XV

Акты Цезаря Августа
(14 год после Р.Х.)

В возрасте девятнадцати лет по собственной воле и за свой счет я собрал армию, с помощью которой вернул свободу республике, страдавшей от жестоких междоусобиц.



Глава 3

I

Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию (13 год до Р.Х.)

Мой добрый старый друг, эти письма к тебе — я даже не подозревал, что они разбудят во мне так много воспоминаний о тех давно ушедших днях и вызовут такое удивительное смятение чувств в душе! Нынче же, удалясь от дел, я тихо коротаю оставшиеся мне в этом мире дни, которые, похоже, пролетают все быстрее и быстрее; и остается одно лишь прошлое, в которое я вновь и вновь возвращаюсь, каждый раз будто рождаясь заново (если верить Пифагору) в другое время и в другом обличье.

Просто голова идет кругом при воспоминании о тех смутных днях! Боюсь, я не смогу передать всей запутанной картины событий, но тешу себя надеждой, что ты, знающий историю мира, как ни один другой смертный, сумеешь осмыслить рассказанное мною, даже если самому мне это не удалось.

Марк Антоний отправился в Брундизий к македонским легионам, которые он приказал привести в готов-

ность, и мы поняли, что настала пора действовать. У нас не было ни денег — Октавий опустошил свою казну и продал большую часть имущества, чтобы выплатить народу обещанное тому Цезарем,— ни высокого положения, ведь, согласно закону, даже членом сената Октавий мог стать не раньше чем через десять лет, и конечно же Антоний позаботился о том, чтобы воспрепятствовать получению им каких-либо особых привилегий, которые иначе сенат мог бы ему предоставить. Не было у нас и власти — лишь несколько сотен ветеранов армии Цезаря недвусмысленно заявили о своей поддержке. Но у нас были имя и сила наших убеждений.

Октавий и Агриппа немедленно выехали на юг, в прибрежные поселения в Кампании, где Цезарь расселил многих из своих ветеранов. Зная, какую награду Антоний обещал рекрутам за вступление в его войско, мы предлагали им в пять раз больше, вовсе не имея таких денег. Это был отчаянный, но необходимый шаг. Я оставался в Риме, где занимался сочинением писем для распространения среди македонских легионов, формально подчинявшихся Антонию. Они обещали нам свою поддержку, и у нас были основания верить, что часть из них перейдет на нашу сторону при благоприятном стечении обстоятельств. Как тебе известно, письма возымели действие, хотя и не совсем такое, какое мы ожидали.

Ибо тогда Антоний допустил первую из своих многочисленных ошибок. Узнав о настроениях части воинов двух легионов — четвертого македонского и Марсова,— он приказал отобрать из них и казнить три сотни солдат с командирами. Более, чем подметные письма, это сработало в нашу пользу — не сомневаюсь. Во время марша на Рим оба этих легиона просто-напросто свернули в Альбу-Лонгу и уведомили Октавия, что решили присягнуть нам. Как мне кажется, не столько жесто-

кость Антония была тому причиной — легионерам не привыкать смотреть в глаза смерти — а, скорее, нежелание доверить свою судьбу человеку, способному на такие бездумные и неоправданные поступки.

Между тем Октавий и Агриппа сделали первые успешные шаги в наборе солдат для нашей армии, призванной отразить угрозу, исходящую от Антония. Всего около трех тысяч вооруженных воинов (мы, впрочем, раздули это число вдвое) пришли под наши знамена, и еще столько же невооруженных поклялись нам верностью. С основной частью этого войска Октавий пошел к Риму, а остальных оставил под командованием Агриппы с указанием двигаться в сторону Ареции (где я родился, если ты помнишь), по дороге пополняя свои ряды. Конечно, против мощи наших врагов эта сила была смехотворно мала, но она превосходила ту, что мы имели вначале.

Октавий расположил армию в нескольких милях от Рима, а сам явился в город с небольшим отрядом охраны и предложил сенату и народу свои услуги в борьбе против Антония, который, как всем было известно, вел свои войска на Рим, и никто не мог с уверенностью сказать, с какой целью. Но сенат, раздробленный и бессильный, отказал ему, а напуганный и смятенный народ не был един в своем мнении. В результате большая часть нашей с таким трудом собранной армии разбежалась, и мы остались менее чем с тысячей человек под Римом и еще несколькими сотнями, которые шли с Агриппой в сторону Ареции (без всякой надежды на успех, как нам тогда казалось).

Октавий поклялся перед собой, своими друзьями и всем народом, что отомстит убийцам своего отца, и вот теперь Антоний вел свою армию через Рим, направляясь в Галлию, чтобы покарать (по его словам) Децима Альбина, одного из заговорщиков. Но мы знали (а весь

Рим боялся), что его действительной целью было отнять у Децима его галльские легионы и присоединить их к своим. С ними он будет непобедим, и весь мир, словно оставленная без присмотра сокровищница, окажется во власти его неуемного честолюбия. Рим, за который Цезарь отдал свою жизнь, стоял на краю гибели.

Теперь ты понимаешь, в каком положении мы оказались? Мы должны были спасти от наказания одного из тех самых преступников, которых сами же поклялись покарать. И тут нам стало ясно, что неожиданно для нас самих мы оказались на пороге событий куда более значительных, чем наша месть и наши личные устремления. Весь мир, как и наша судьба в нем, раскрылся перед нами во всем своем величии, и нас охватило такое чувство, будто мы заглянули в бездонную пропасть.

Без денег, без поддержки народа, без полномочий сената нам оставалось лишь терпеливо ждать. Октавий вывел остатки своей армии из окрестностей Рима и стал медленно продвигаться к Ареции вслед за Агриппой, хотя в этот момент казалось, что надежды на то, чтобы остановить или хотя бы задержать марш Антония на Галлию, не осталось.

Тут Антоний совершил вторую серьезную ошибку. В своем тщеславии и безрассудстве он вошел в город во главе своих вооруженных как на битву легионов.

Вот уже сорок лет — со времени кровавой резни, устроенной сначала Марием, а затем Суллой,— не видел Рим вооруженных легионеров в пределах городских стен; до сих пор были живы те, в памяти которых остались улицы, залитые кровью, а некоторые из нынешних сенаторов, в то время еще совсем юноши, помнили трибуну сената, заваленную отрубленными головами их тогдашних коллег, и трупы, брошенные на форуме на съедение собакам.

Итак, Антоний, упоенный собой, предавался пьянству и разврату по всему городу, в то время как его солдаты грабили дома своих врагов, а перепуганный сенат не осмеливался поднять против него голос.

Через некоторое время до Антония дошли слухи из Альбы об измене Марсова легиона. Говорят, в момент получения этой вести он был пьян — во всяком случае он действовал, как если бы и вправду вино ударило ему в голову: он тут же поспешил созвать заседание сената (а он все еще оставался консулом), где в длинной и невразумительной речи потребовал объявить Октавия врагом народа. Но не успел он закончить своего выступления, как до города докатились новые слухи, о которых стали перешептываться сенаторы, в то время как Антоний еще продолжал говорить. Четвертый македонский легион, последовав примеру Марсова, присягнул на верность Октавию и партии Цезарей.

Это известие привело Антония в такую ярость, что он потерял последние остатки разума. Он уже однажды нарушил законы, введя армию в город, а теперь опять преступил закон и обычаи, собрав сенат в ночное время и угрожая своим противникам расправой, если они осмелятся туда явиться. Итак, во время этого незаконного сборища он отдал Македонию своему брату Гаю, а провинции Африку, Крит, Ливию и Азию — своим сторонникам; после этого он поспешил присоединиться к остальной своей армии в Тиволи, откуда направился в Риминий, готовясь к осаде Децима в Галлии.

Таким образом, то, чего Октавию не удалось добиться осмотрительностью, Антоний сам отдал нам своим безрассудством. Во тьме отчаяния забрезжил луч надежды.

А теперь, мой добрый старый друг, я расскажу тебе о том, о чем никто не знает,— можешь использовать это

в своей истории, если пожелаешь. Как известно, во время всех этих событий Октавий вместе с разношерстными остатками своей армии медленно продвигался к Ареции; но никто не знает о том, что, когда Антоний открыто продемонстрировал свое презрение к сенату и закону, я, рассудив, что и сенат и народ созрели для этого, призвал Октавия со всеми предосторожностями срочно вернуться в Рим, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. В то время как Антоний с шумом и скандалом покинул город, Октавий незаметно вошел в него.

И тогда мы разработали план, как покорить мир.

II

Письмо: Марк Туллий Цицерон — Марку Юнию Бруту в Диррахию (43 год до Р.Х.)

Мой дорогой Брут, вести, дошедшие до нас в Рим из Афин, переполняют радостью и надеждой сердца всех тех, кому дорога республика. Если бы только все наши герои действовали так же смело и решительно, как ты, наша отчизна не пребывала бы в таком смятенном состоянии. Подумать только: так скоро после незаконной передачи Антонием Македонии своему безмозглому братцу Гаю этот последний трясется от страха в Аполлонии, в то время как твои легионы растут и набирают силу, чтобы в один прекрасный день стать нашим спасением! О, если бы только твой родственник Децим проявил ту же твердость духа и умение девять месяцев назад, после нашего пира в канун мартовских ид!

Не сомневаюсь, тревожные вести об очередном безумстве Антония дошли даже до тебя в Диррахии. Поправ все традиции и законы, он, сначала нагнав страху

на весь город, теперь ведет свое войско против Децима в Галлию; и еще несколько недель назад ни у кого не было сомнения, что ему удастся задуманное.

Молодой Цезарь (я теперь зову его так, несмотря на все мое отвращение к этому имени) и его юный друг Меценат однажды тайно пришли ко мне со своим планом. Мальчик и прежде обращался ко мне за советом и вообще всячески меня обхаживал, но только недавно я окончательно убедился в том, что он может далеко пойти и еще нам пригодится. Несмотря на его весьма нежный возраст и робкую манеру, он сумел удивительно многого добиться за эти несколько месяцев.

Вполне обоснованно он отметил, что в его распоряжении имеется единственная сила, способная остановить Антония,— армия, одна часть которой под командованием Марка Агриппы в настоящий момент направляется в Арецию, что лежит на пути Антония в Галлию, а другая, осмотрительно расположенная в нескольких милях от Рима, последует за ней, и одним богам известно, сколько ветеранов и рекрутов присоединятся к ним по дороге. Но (и это заставляет меня постепенно пересмотреть свое отношение к молодому вождю) он не хочет действовать незаконно — ему необходимо одобрение сената и народа. Поэтому он предлагает, чтобы я, используя свое положение (которое, как мне думается, все еще остается достаточно весомым), помог ему получить это одобрение.

На что я и согласился на взаимно приемлемых условиях. Со своей стороны молодой Октавий Цезарь попросил, чтобы сенат дал согласие на формирование им собственной армии; чтобы ветеранам, присоединившимся к нему, а также воинам четвертого македонского и Марсова легионов были официально возданы почести и выражена благодарность от имени народа; чтобы ему на законном основании было отдано командование

набранными им войсками и он единолично распоряжался ими; чтобы издержки на содержание его армии были покрыты из государственной казны и каждому воину выплачена обещанная ему при вступлении в ее ряды награда; чтобы были выделены земельные участки для воинов по завершении ими военной службы; чтобы сенат сделал для него исключение из закона о возрастном цензе (как это не раз бывало раньше) и после снятия осады Децима в Мутине он мог бы вернуться в Рим уже сенатором и выдвинуть свою кандидатуру в консулы.

В другое время и при других обстоятельствах эти требования могли бы показаться чрезмерными, но если Децим падет, то нам всем конец. Честно признаюсь тебе, дорогой Брут, я готов был пообещать ему все что угодно, но тем не менее с самым серьезным видом предъявил свои собственные требования.

Я оговорил, что никоим образом ни он, ни его подчиненные не станут искать мести Децию, которой он ему угрожал прежде; что он не будет использовать свое положение сенатора для противодействия принятию эдиктов, которые я могу выдвинуть для обоснования позиции Децима в Галлии, и что он не воспользуется разрешением сената иметь собственную армию для нападения на тебя в Македонии или на Кассия в Сирии.

На все эти условия он согласился, сказав, что до той поры, пока сенат держит свое слово, он не предпримет никаких самочинных действий сам и не позволит их своим приспешникам.

Все это пойдет на пользу нашему делу. Я уже выступил с речью, в которой представил эти предложения сенату, но, как тебе хорошо известно, настоящие усилия потребовались задолго до этого, и до сих пор нет мне покоя от трудов моих.

III

Квинт Сальвидиен Руф: записи в дневнике, Рим (декабрь, 44 год до Р.Х.)

Я в тревоге ожидаю решения своей судьбы. Гай Октавий тайно прибыл в Рим; Агриппа идет походом на север; Меценат плетет интриги как среди друзей, так и среди врагов. Вчера он вернулся от Фульвии, краснорожей старой карги и жены пресловутого Антония, против которого мы собираемся выступить. Сенат предоставил Октавию Цезарю такие полномочия, о которых еще месяц назад мы и мечтать не могли: вдобавок к уже имеющимся мы получили легионы, принадлежащие будущим консулам, Гирцию и Пансе; в военном отношении власть Октавия не имеет себе равных; по возвращении из галльского похода ему разрешено будет стать сенатором; я же поставлен во главе легиона самим Октавием с одобрения сената — такой чести я мог бы ожидать лишь через много лет.

И все же мне не по себе, дурные предчувствия не оставляют меня. Впервые за все это время я усомнился в правоте нашего дела: каждый успешный шаг раскрывает перед нами новые непредвиденные трудности, и каждая победа увеличивает масштабы возможного поражения.

Октавий изменился — он уже не тот, с кем мы дружили в Аполлонии. Он редко смеется, почти не пьет вина и, похоже, презирает те невинные забавы с девушками, которым мы, бывало, предавались раньше. Насколько мне известно, он не был близок с женщиной со времени нашего возвращения в Рим.

Что я говорю «насколько мне известно»? Когда-то мы знали друг о друге все, а нынче он замкнут и нелюдим, почти скрытен. И я, с которым он когда-то говорил открыто, как с другом, от которого он не держал

никаких секретов в своей душе, с кем он делился самыми сокровенными мечтами,— я больше не знаю его. Может быть, это горе утраты не дает ему покоя? Или его горе переродилось во властолюбие? Или еще что-то, чему нет имени? Какая-то холодная отстраненность довлеет над ним, отдаляя его от нас.

Ожидая, пока будут собраны консульские армии, я сижу в праздности в Риме, и у меня достаточно времени, чтобы подумать об этих вещах, не перестающих меня удивлять. Возможно, я сумею лучше их понять, когда буду старше и мудрее.

Гай Октавий о Цицероне: «Он бездарный заговорщик — о чем он не пишет своим друзьям, он рассказывает рабам».

Когда появилось это недоверие, если это недоверие? В то утро, когда Октавий и Меценат поведали мне о своем плане?

Я, помнится, сказал:

— Мы будем помогать Децию, одному из убийц Юлия Цезаря?

— Мы будем помогать себе — иначе нам не выстоять,— ответил Октавий.

Я промолчал. Меценат тоже не произнес ни слова.

— Помнишь нашу клятву той ночью в Аполлонии? — спросил Октавий.

— Помню,— ответил я.

— И я помню,— улыбнулся Октавий.— Мы должны спасти Децима, хотя и ненавидим его, ради нашей клятвы, мы спасем его, чтобы передать в руки закона.

На мгновение в его взгляде появился холодный блеск, но, казалось, он не видел меня. Затем он снова улыбнулся, как бы очнувшись.

Не тогда ли все началось?

Факты: Децим — один из убийц,— Октавий идет ему на помощь; Каска — тоже убийца,— Октавий соглашается не препятствовать его избранию народным трибуном; Марк Антоний — друг Цезаря,— Октавий выступает против него; Цицерон не скрывает своей радости по поводу убийства — Октавий вступает с ним в союз.

Марк Брут и Гай Кассий пополняют свои армии на востоке, обирают провинции и с каждым днем все больше укрепляют свою власть; на западе крепко обосновался и выжидает со своими легионами Марк Эмилий Лепид — чего, никому не известно; на юге Секст Помпей беспрепятственно бороздит моря и собирает армию из варваров, способную погубить нас всех. Не слишком ли непосильная задача стоит перед моим да и всеми легионами в Италии?

Но Гай Октавий мне друг...

IV

Письмо: Марк Туллий Цицерон из Рима — Марку Эмилию Лепиду в Нарбону (43 год до Р.Х.)

Мой дорогой Лепид, тебе шлет свои приветствия Цицерон и умоляет вспомнить о своем долге перед сенатом и республикой. Я бы счел излишним упоминание о многочисленных услугах, которые я имел честь тебе предоставить, если бы не был так преисполнен благодарности за оказанные мне с твоей стороны любезности. Как мы не раз заверяли друг друга в прошлом, наши разногласия всегда были самого благородного свойства и никогда не отменяли нашей взаимной любви к республике.

В Риме ходят слухи, которым я отнюдь не склонен доверять, что ты собираешься присоединиться к Марку Антонию в его походе против Децима. Я не рассматриваю вероятность подобного поворота событий всерьез и вижу за этими слухами очередное проявление опасной болезни, поразившей нашу бедную республику. Однако, я полагаю, ты должен знать, что слухи не утихают, и ради сохранения собственной чести и безопасности тебе следует принять безотлагательные меры, чтобы их опровергнуть.

Молодой Цезарь с одобрения сената и республики направляется к Мутине против преступного Антония, осадившего Децима. Не исключено, что ему может понадобиться твоя помощь. Я знаю, что ты, как и прежде, будешь придерживаться буквы закона и не допустишь его нарушения в интересах сохранения своего положения и безопасности Рима.

V

Письмо: Марк Антоний из Мутины — Марку Эмилию Лепиду в Нарбону (43 год до Р.Х.)

Лепид, я в Мутине, где мне противостоят наемные армии убийц Цезаря. Децим окружен, и ему не вырваться.

Мне доносят, что Цицерон и иже с ним шлют тебе письма, толкая тебя на измену памяти убиенного Юлия. Сообщения о твоих намерениях противоречивы.

Я человек прямой и льстить не умею, а ты дураком никогда не был.

Перед тобой открыты три пути: или ты покидаешь свой лагерь и присоединяешься ко мне, чтобы покончить с Децимом и врагами Цезаря, и приобретаешь,

таким образом, мою вечную дружбу, а также власть, которую даст тебе любовь народа; или остаешься безразличен ко всем призывам и не берешь ничью сторону в уютной безопасности своего лагеря, избежав как моих упреков, так и ненависти народа — но и его любви; или, наконец, приходишь на помощь изменнику Децию и его так называемому «спасителю», вероломному сыну нашего вождя, приобретя в моем лице непримиримого врага и заслужив вечное презрение народа.

Я надеюсь, ты достаточно мудр, чтобы выбрать первый путь; боюсь, природная осторожность подскажет тебе второй, и, умоляю тебя ради собственного благополучия, не вздумай выбрать третий!

VI

Воспоминания Марка Агриппы — отрывки
(13 год до Р.Х.)

Мы вошли в Рим, раздираемый междоусобицами и борьбой за власть. Марк Антоний, притворный друг покойного Юлия Цезаря, вступил в сговор с убийцами и всячески противился тому, чтобы тот, кого мы теперь называли Октавий Цезарь, получил почести и полномочия, завещанные ему его отцом. Уверившись в честолюбивых устремлениях узурпатора Антония, Октавий Цезарь отправился в провинции, где землепашествовали ветераны его отца; и мы собрали из них войско, верное памяти их злодейски убитого вождя, чтобы вместе с ними выступить против разрушителей мечты нашего народа.

Марк Антоний, незаконно захватив македонские легионы, вошел с ними в Рим, а оттуда последовал в Мутину, где обложил осадой Децима Брута Альбина. И хотя Децим был одним из убийц Цезаря, в интересах

государства и порядка Октавий Цезарь согласился защитить его, как законного наместника Галлии, от преступного Антония. И вот, вооружившись благодарностью и разрешением сената, мы собрали наши силы и походным маршем двинулись к Мутине, где Антоний держал в окружении легионы Децима.

Итак, настало время рассказать о мутинском походе, моем первом военном опыте под началом Октавия Цезаря и Рима.

Легионами сената командовали бывшие в тот год консулами Гай Вибий Панса и Авл Гирций, из которых последний был опытным полководцем, пользовавшимся доверием Юлия Цезаря. Октавий Цезарь командовал Марсовым и четвертым македонским легионами, хотя последний и подчинялся непосредственно мне. Легион, состоящий из рекрутов, набранных в Кампании, был отдан под начало Квинта Сальвидиена Руфа.

Антоний замкнул кольцо осады вокруг Децима и стал выжидать, пока голод не заставит его предпринять попытку вырваться из окружения. Мы полагали, что внутри города у Децима припрятано достаточно провизии, чтобы продержаться до весны, поэтому расквартировали свои войска на зиму в Имоле, что в двух часах пешим маршем от Мутины, чтобы в случае надобности тут же прийти на выручку Децию, если он предпримет вылазку против Антония. Однако Децим продолжал трусливо прятаться за толстыми стенами городских укреплений и не желал сражаться; посему по пришествии весны мы очутились перед необходимостью самим прорваться через линию укреплений Антония, чтобы спасти Децима, не желавшего спасать себя самого. Итак, в начале апреля мы приступили к решительным действиям.

Местность вокруг Мутины была неровная, болотистая, изрезанная оврагами и ручьями. Лагерь Антония

располагался за болотами. Мы втайне стали искать проход через топь и вскоре нашли неохраняемую лощину; и вот глубокой ночью вместе с Пансой и пятью когортами его легиона Октавий Цезарь, Сальвидиен и я повели через болота наш Марсов легион и других воинов, обмотав тряпками мечи и копья, чтобы не выдать нашего приближения врагу. Стояла полная луна, но плотный туман, низко висевший над землей, полностью лишал нас возможности что-либо разглядеть перед собой; гуськом, положив руки на плечи впереди идущих товарищей, мы ощупью брели сквозь мерцающую мглу, не зная в точности ни куда мы идем, ни на кого можем наткнуться.

Так мы продвигались всю ночь и утром вышли на сухую дорогу, петляющую среди болот; здесь мы подождали, пока туман не поднимется, после чего обнаружили, что никакого противника перед нами не видно. Вдруг что-то сверкнуло в кустах, послышался приглушенный шепот, и мы поняли, что окружены. Громко пропел горн, и воины построились в боевые порядки на небольшой возвышенности. Панса приказал молодым рекрутам держаться в стороне и не путаться под ногами у ветеранов, но при этом оставаться наготове на случай надобности.

То были ветераны Марсова легиона, которые хорошо помнили кровавую бойню, устроенную их товарищам в Брундизии тем самым Антонием, с которым им предстояло сразиться.

Пятачок, на котором мы сражались, был таким крошечным, что боевые порядки сохранить было невозможно, поэтому каждый воин бился сам по себе, словно гладиатор на арене. Не было видно ни зги — на этот раз из-за пыли; воины рубились молча — слышались лишь свист мечей, вскрики раненых и стоны умирающих.

Битва не утихала все утро и весь день; одна шеренга уступала место другой, когда воины начинали терять силы. В один момент Октавий Цезарь сам был на волосок от смерти, когда подхватил знак орла, выпавший из рук раненого воина. В этом же бою получил смертельное ранение Панса, один из консулов. Антоний бросил в битву свежие войска, и мы стали шаг за шагом отходить. Однако рекруты под командованием Сальвидиена сражались с не меньшей отвагой, чем ветераны, что позволило нам отступить обратно в наш лагерь, который мы оставили прошлой ночью. Антоний не стал преследовать нас в темноте, и мы смогли вернуться на болото, усеянное телами наших павших товарищей, и вынести раненых. В ту ночь мы видели огни костров в лагере Антония за болотами и слышали победные песни, распеваемые его солдатами.

Мы боялись, что наступающий день будет последним в нашей жизни, ибо мы потеряли половину своего войска и валились с ног от усталости, и мы знали, что у Антония оставались свежие резервы. Но той же ночью к нам на помощь подошли легионы консула Гирция, и мы совместными силами напали на лагерь Антония, в котором царили самоуспокоение и беспорядок в обманчивом упоении победой. Сражение длилось несколько дней, в течение которых легионы Антония сократились наполовину; наши потери были незначительны. Легионы лежащего на смертном одре Пансы перешли под начало Сальвидиена, который с большим умением и мужеством повел их на битву. Наконец наши армии прорвались в лагерь Антония, где отважный Гирций пал от руки одного из телохранителей Антония возле покинутого им в спешке шатра.

После этого поражения Антоний окончательно пал духом и, собрав остатки своего войска, ушел на север в Альпы, через которые с большими потерями перева-

лил, чтобы затем присоединиться к Марку Эмилию Лепиду, который все это время благополучно просидел в Нарбоне.

После бегства Антония и снятия осады Мутины Децим наконец решился показаться за пределами городских стен. Он послал Октавию Цезарю гонцов с выражением благодарности за помощь и уверениями, что его участие в убийстве Юлия Цезаря явилось следствием обмана со стороны других заговорщиков, и просил Октавия Цезаря о встрече, где он в присутствии свидетелей докажет искренность своей признательности ему. Но Октавий Цезарь отклонил его просьбу со словами: «Я пришел сюда не для того, чтобы выручить Децима, и поэтому не нуждаюсь в его признательности. Я пришел, чтобы спасти государство, и приму благодарность только от него. Я также не желаю ни говорить с убийцей моего отца, ни видеть его. Пусть он благодарит сенат, а не меня за то, что остался жив».

Через полгода Децим попал в засаду и был убит вождем одного из галльских племен, который послал его отрубленную голову Антонию, за что получил небольшое вознаграждение.

VII

Протоколы заседаний сената
(апрель, 43 год до Р.Х.)

Третий день текущего месяца: заслушаны сообщения из Галлии о военной кампании против мятежного Марка Антония, представленные Марком Туллием Цицероном, в которых, в частности, говорится:

осада Децима Брута Альбина снята;

армия Марка Антония понесла такие потери, что

уже не представляет непосредственной опасности для республики;

остатки войск Антония в беспорядке отступают на север;

консулы Авл Гирций и Гай Вибий Панса пали в бою, и их легионы временно перешли под командование Ц. Октавия, который ждет дальнейших указаний в окрестностях Мутины.

Шестой день текущего месяца: предложения Марка Туллия Цицерона:

объявить пятидесятидневные благодарственные празднества, в течение которых граждане Рима воздадут почести богам и армиям сената за победу над Марком Антонием и избавление Децима Брута Альбина;

жаловать погибших консулов Гирция и Пансу публичными похоронами со всеми приличествующими их положению почестями;

воздвигнуть на общественные средства памятник в честь славных побед легионов под командованием Гирция и Пансы;

за героическую победу над разбойным Марком Антонием устроить Дециму Бруту Альбину триумфальное чествование в сенате.

Следующие указания посланы Гаю Октавию в Мутину (копия прилагается):

«Преторы, трибуны плебейского сословия, граждане и прочие жители Рима шлют свои приветствия Гаю Октавию, временному командующему консульскими легионами.

Сенат выражает тебе свою благодарность за помощь, оказанную тобой Дециму Бруту Альбину в его героическом разгроме мятежных армий Марка Антония и извещает, что эдиктом сената Децим Брут назначен

единоличным командующим консульскими легионами для дальнейшего преследования вышеуказанного Марка Антония. Посему тебе приказано немедленно передать легионы Гирция и Пансы Децию Бруту. В дополнение к этому тебе приказано распустить войска, набранные тобой своей собственной властью, выразив им благодарность от имени сената, который образовал комиссию по изучению возможности предоставления им награды за верную службу. Посланник сената выехал в Мутину с целью уладить вышеозначенные дела; все вопросы передачи власти ты должен оставить на него».

Все предложения Марка Туллия Цицерона приняты сенатом.

VIII

Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию (13 год до Р.Х.)

Все слышали остроту Цицерона: «Мы воздадим ему почести, мы воздадим ему хвалу, мы воздадим ему по заслугам». Но мне кажется, даже Октавий не ожидал, что сенат и Цицерон пойдут на такой откровенно оскорбительный шаг. Бедняга Цицерон... Несмотря на все неприятности, которые он нам принес, и вред, который имел в виду своими действиями, мы всегда тепло относились к нему. Но как глупо он себя вел, движимый лишь собственным вдохновением, тщеславием и убежденностью. Мы рано поняли, что не можем позволить себе такой роскоши; мы делали шаг лишь тогда, когда у нас не было другого выхода, руководствуясь расчетом, соображениями политики или необходимостью.

Само собой разумеется, я был в Риме во время всей этой истории с осадой Мутины; как тебе известно, я

в свое время командовал армиями (и не так уж плохо, надо признаться), но всегда находил это весьма скучным занятием, не говоря уж о многочисленных неудобствах. Так что если ты хочешь узнать подробности самой битвы, тебе придется обратиться к другим источникам Если наш общий друг Марк Агриппа выполнит свою угрозу и закончит свои воспоминания, ты сможешь найти в них немало полезных сведений. Бедняга, на него обрушились такие неприятности (я уверен, ты знаешь, о чем идет речь), что я сильно сомневаюсь, что ему это удастся.

Октавий был гораздо больше заинтересован в том, чтобы иметь своего надежного человека в Риме, нежели посредственного полководца возле себя, ему нужен был кто-то, кто оповещал бы его обо всех колебаниях в настроениях сената, сообщал ему о последних интригах, свадьбах, разводах и т.п. И, как мне кажется, я как нельзя лучше подходил для этой роли. В то время (помни, это было более тридцати лет назад) я воображал себя законченным циником и считал тщеславие в любом его проявлении непроходимо вульгарным; при этом я был неисправимым сплетником, и никто не принимал меня всерьез. Я каждый день посылал Октавию письмо с последними новостями из Рима, а он держал меня в курсе событий в Галлии. Поэтому действия Цицерона и сената не застали его врасплох.

Мой дорогой Ливий, я частенько журил тебя за твои республиканские и помпеянские симпатии, и, хотя я всегда делал это любя, я уверен, ты понимаешь, что в моих колкостях есть большая доля истины. Ты провел свои детские годы на севере, в мирной тиши Падуи, в течение многих поколений не знавшей гражданских раздоров; ты впервые появился в Риме лишь после битвы при Акции и реформы сената. И сложись тогда, много лет назад, обстоятельства по-другому, ты легко мог бы

оказаться на стороне Марка Брута и сражаться против нас при Филиппах, как это случилось с нашим другом Горацием.

Чего ты, похоже, никак не хочешь признать — даже сейчас — это того, что идеалы, лежавшие в основе старой республики, не имели ничего общего с самим фактом ее существования; что за красивыми словами прятались самые чудовищные поступки; что за фасадом традиций и порядка скрывалась неприглядная реальность хаоса и разложения; что призывы к воле и свободе заслонили в глазах многих (и даже самих призывающих) факты нужды, притеснений и узаконенного убийства. Мы знали, что у нас не было другого выхода, и не могли позволить себе быть обманутыми некой фикцией, призванной поддерживать эти заблуждения.

Короче говоря, Октавий отказался повиноваться сенату. Он не стал распускать свои легионы, не передал армии Гирция и Пансы Децию и не допустил к нему посланников из Рима. Он ждал лета, в то время как сенат дрожал от страха.

Что касается Децима, то он так и не мог ни на что решиться; разочарованные его безволием легионеры тысячами переходили на нашу сторону.

Цицерон, напуганный нашим неповиновением, подбил сенат вернуть Марка Брута из Македонии в Италию со всеми его армиями.

Мы выжидали, пока до нас не дошли вести о том, что Антоний вошел в Галлию и примкнул с остатками своих войск к Лепиду.

У нас было восемь легионов с конницей поддержки, а также несколько тысяч легковооруженных наемников. Этих последних вместе с тремя легионами Октавий оставил в Мутине под командованием Сальвидиена. Он послал гонцов к Атии и Октавии, своим матери и сестре, с указанием укрыться в храме Девственных весталок,

где они будут в безопасности в случае репрессалий. И потом мы пошли на Рим.

Пойми — так было надо; даже если бы Октавий решил отказаться от завоеванной нами власти и удалился от дел, это почти наверняка стоило бы ему жизни, ибо было ясно, что сенат неотвратимо, хотя и запоздало, вступил на путь, проложенный покушением: путь уничтожения всего рода Цезарей. Антоний будет раздавлен силами консульских армий, укрепленных многочисленными легионами Брута и Кассия, которые (по просьбе сената) скопились на востоке, за Адриатическим морем, готовые к вторжению в Италию; а от Октавия избавились бы или эдиктом сената, или, что более вероятно, с помощью тайно подосланных убийц. Поэтому дело Антония вдруг стало и нашим делом. Вопрос стоял о выживании; выживание, в свою очередь, зависело от союза с Антонием, а союз с ним — от нашей силы.

Мы шли на Рим с легионами, вооруженными как на битву, и вести о нашем приближении неслись впереди нас как на крыльях. Октавий расположил армию возле города на Эсквилинском холме, так, чтобы сенаторам и всем жителям Рима достаточно было лишь поднять глаза и посмотреть на восток, чтобы увидеть всю нашу мощь.

Через два дня все было кончено — при этом не пролилось ни капли римской крови.

Наши воины получили обещанное им перед началом мутинского похода вознаграждение; усыновление Октавия Юлием Цезарем обрело законную силу; Октавий получил освободившийся после смерти Гирция пост консула, и, наконец, в нашем распоряжении теперь стало одиннадцать легионов.

На четвертый день после августовских ид (хотя тогда, как ты знаешь, этот месяц еще назывался сексти-

лием) Октавий прибыл в Рим для совершения ритуальных жертвоприношений по вступлении в должность консула.

Через месяц он отметил свое двадцатилетие.

IX

Письмо: Марк Туллий Цицерон — Октавию Цезарю (август, 43 год до Р.Х.)

Ты совершенно прав, мой дорогой Цезарь, мои труды на благо государства заслуживают награды в виде тишины и покоя. Поэтому я покидаю Рим и удаляюсь от дел в мой любимый Тускул, где собираюсь посвятить оставшиеся мне годы занятиям, дороже которых мне только отчизна. И если я не сумел воздать тебе должное в прошлом, то это было следствием моей любви к республике, любви, которая зачастую вынуждала нас обоих идти наперекор нашим более человеколюбивым природным наклонностям.

Посему я вдвойне рад, что ты позволил мне и Марцию Филиппу уйти в отставку, ибо это означает прощение прошлых грехов и снисхождение к будущим.

X

Письмо: Марк Антоний — Октавию Цезарю, из лагеря Марка Эмилия Лепида под Авиньоном (сентябрь, 43 год до Р.Х.)

Октавий, мой друг и заместитель Деций, которого ты отпустил ко мне из Мутины, рассказывает, как гуманно и уважительно ты обращался с моими воинами, попавшими к тебе в плен. За это прими мою благодарность. И еще он поведал мне — ты дал ясно понять

что не таишь на меня зла, а также что ты отказался передать свои войска Децию, и т.д.

Поэтому я не вижу причины для нас избегать друг друга. Почему бы нам не встретиться, если, как ты полагаешь, от этого будет прок? Конечно же мои цели тебе ближе, нежели устремления кучки беспринципных ничтожеств в сенате. Кстати, неужели это правда (боюсь, так оно и есть), что они теперь объявили врагом народа и нашего друга Лепида, которому еще несколько месяцев назад воздвигли статую на форуме? Меня уже ничем не удивишь.

Ты, должно быть, уже слышал о смерти Децима. Глупая история — надо же было ему наткнуться на кучку варваров в Галлии! Впрочем, я бы предпочел разделаться с ним сам, чуть позже.

Мы можем встретиться в Бононии следующим месяцем; я еду туда по делу — разобраться с остатками легионов Децима, которые решили пойти со мной. Я предлагаю не приводить с собой всех наших армий, а взять лишь несколько когорт личной охраны. Если мы явимся на встречу со всеми войсками, наши воины могут выйти из повиновения. Лепид тоже будет присутствовать на переговорах, так что имей это в виду. Впрочем, наши люди уладят все детали.

XI

Протоколы заседаний сената:
консульство Квинта Педия и Октавия Цезаря
(сентябрь, 43 год до Р.Х.)

Об отмене решения об объявлении Марка Эмилия Лепида и Марка Антония вне закона и о посылке писем с извинениями и предложениями примирения им и командующим их армиями.

Принято сенатом.

Сенатское слушание: дело заговорщиков и убийц Юлия Цезаря.

Обвинители: Луций Корнифиций и Марк Агриппа.

Лишить убийцу Марка Юния Брута покровительства Рима и заочно признать виновным.

Лишить убийцу Гая Кассия Лонгина покровительства Рима и заочно признать виновным.

Лишить П. Сервилия Каску, народного трибуна, уклонившегося от присутствия в сенате из страха расплаты, покровительства Рима и признать виновным.

Лишить заговорщика и пирата Секста Помпея покровительства Рима и заочно признать виновным.

Все заговорщики и убийцы, признанные виновными судейской коллегией сената, приговариваются к смерти.

XII

Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию (12 год до Р.Х.)

Из всех воспоминаний, которые ты вытянул из меня своими вопросами, мой дорогой Ливий, эти — самые печальные. Я в течение нескольких дней не решался взяться за перо, зная, что это разбередит старые раны.

Мы отправились из Рима в Бононию на встречу с Антонием в сопровождении пяти легионов; Антоний и Лепид, со своей стороны, обязались иметь с собой такое же количество войск. Переговоры должны были происходить на небольшом острове в Лавинии, где река широко разливается перед впадением в море. Два узких моста соединяли остров с берегами; окружающая местность была совершенно плоской, так что противосто-

ящие армии могли быть расположены на достаточном расстоянии друг от друга, но в то же самое время постоянно держать друг друга в поле зрения. Обе стороны расставили стражу из сотни воинов у входа на каждый из мостов. И вот мы трое — Агриппа, Октавий и я — медленно, шаг за шагом стали продвигаться по мосту, в то время как с противоположного берега нам навстречу так же медленно шли Антоний и Лепид с двумя сопровождающими каждый.

Помнится, это был серый, дождливый день. В нескольких шагах от моста стояла небольшая лачуга, сложенная из неотесанных камней, куда мы и направились, встретившись с Антонием и Лепидом. Перед тем как войти внутрь, Лепид обыскал нас на предмет оружия.

— Мы не хотим вам зла. Мы собрались здесь, чтобы наказать убийц, а не пытаться подражать им,— заметил на это Октавий.

Пригнувшись, мы вошли в низкую дверь. Октавий сел за грубо сколоченный стол в центре комнаты, Антоний и Лепид устроились по обеим сторонам от него. Ты, конечно, понимаешь, что общее соглашение было достигнуто еще до того, как мы встретились: Октавий, Антоний и Лепид должны были образовать триумвират вроде того, что существовал между Юлием Цезарем, Гнеем Помпеем и Крассом почти двадцать лет назад; этот триумвират должен оставаться у власти в течение пяти лет, давая им в руки бразды правления Римом, включая право назначать городских магистратов и командующих армиями в провинциях, из которых западные (восточные провинции оставались под властью Кассия и Брута) были поделены между триумвирами. Мы согласились взять самую скромную из трех частей — обе Африки, Восточную и Западную, и острова Сицилия, Сардиния и Корсика, хотя эти послед-

ние были под сомнением, так как Секст Помпей незаконно удерживал Сицилию и полновластно хозяйничал почти по всему Средиземноморью; но не земли были нам нужны от этого соглашения. Лепид сохранил за собой Нарбону и обе Испании; Антоний получил обе Галлии, Северную и Южную,— самые богатые и значительные из всех провинций. За всем этим, конечно, стояла необходимость объединить наши силы, чтобы разбить Кассия и Брута на востоке и таким образом покарать убийц Юлия Цезаря и принести мир и порядок в Италию.

Очень скоро стало ясно, что Лепид — всего лишь орудие в руках Антония. Это был напыщенный, самодовольный и довольно глупый человек, хотя, когда держал язык за зубами, он выглядел довольно внушительно. Тебе знакома эта порода — типичный сенатор. Антоний позволил ему побубнить минуту-другую, а затем прервал его нетерпеливым жестом:

— Мы вернемся к деталям позже,— сказал он.— А сейчас нас ждут более неотложные дела.— Он бросил взгляд на Октавия: — Как тебе известно, у нас имеются враги.

— Да,— ответил тот.

— Несмотря на то что сенат полным составом самозабвенно кланялся и расшаркивался перед тобой, когда ты покидал столицу, можешь не сомневаться — в эту самую минуту он снова замышляет против тебя.

— Я знаю,— сказал Октавий и остановился, ожидая, когда Антоний продолжит.

— И враги у нас не только в сенате,— добавил Антоний.

Он поднялся из-за стола и взволнованно зашагал взад и вперед по лачуге.

— Они по всему Риму. Я не перестаю вспоминать

твоего дядю Юлия.— Он покачал головой.— Никому нельзя верить.

— Да, никому,— сказал Октавий с мягкой улыбкой.

— Они так и стоят у меня перед глазами — обрюзгшие, заплывшие жиром, купающиеся в роскоши и каждый день приумножающие свое богатство...

Он с такой силой ударил кулаком по столу, что лежавшие на нем свитки разлетелись по глиняному полу.

— И это в то время, когда наши воины недоедают, и к концу года положение может лишь ухудшиться. Солдаты не воюют на голодный желудок и без надежды на воздаяние в будущем, когда война окончится.

Октавий продолжал молча наблюдать за ним.

— Я не перестаю вспоминать Юлия. Если бы только он с большей решимостью выступал против своих врагов!

И он опять покачал головой.

Долгое время все молчали.

— Сколько? — тихо спросил Октавий.

Антоний ухмыльнулся и снова сел за стол.

— Тридцать, может быть, сорок имен,— небрежно заметил он.— Думаю, у Лепида тоже найдется несколько.

— Ты уже обговорил это с Лепидом?

— Он не возражает.

Лепид прочистил горло, важно опустил руку на стол и, откинувшись назад, изрек:

— К своему вящему сожалению, я пришел к выводу, что это единственный путь, открытый перед нами, каким бы неприглядным он ни казался. Смею уверить тебя, мой дорогой мальчик, что...

— Не называй меня «мой дорогой мальчик»,— сказал Октавий, не повышая голоса, который, как и его лицо, оставался абсолютно бесстрастным.— Я сын Юлия Цезаря и римский консул. Ты больше никогда не будешь звать меня мальчиком — понятно?

— Уверяю тебя,— пролепетал тот и посмотрел на Антония. Антоний рассмеялся. Лепид суетливо всплеснул руками.— Уверяю тебя, в моих намерениях не было ничего...

Октавий отвернулся от него и произнес, обращаясь к Антонию:

— Значит, проскрипции, как при Сулле.

Антоний пожал плечами:

— Называй это как хочешь, но без них не обойтись. И ты это знаешь.

— Да, знаю,— медленно произнес Октавий.— Но мне это не нравится.

— Ничего, привыкнешь,— весело откликнулся Антоний,— со временем.

Октавий отчужденно кивнул. Он поплотнее запахнул свой плащ, встал из-за стола и подошел к окну. Шел дождь. Мне было хорошо видно его лицо, орошаемое брызгами разбивающихся о притолоку капель дождя. Он стоял неподвижно, как статуя, с лицом, будто высеченным из камня. Казалось, прошла вечность, прежде чем он повернулся к Антонию и сказал:

— Назови мне имена.

— Ты поддержишь эти меры,— сказал Антоний, растягивая слова.— Даже если тебе все это не по нутру, ты все равно поддержишь нас.

— Я поддержу вас,— ответил Октавий.— Назови мне имена.

Антоний прищелкнул пальцами, и один из его помощников подал ему свиток. Антоний заглянул в него, потом посмотрел на Октавия и ухмыльнулся:

— Цицерон.

Октавий кивнул, затем медленно произнес:

— Я знаю, он доставил нам всем немало неприятностей и серьезно обидел тебя, но он обещал мне уйти от дел.

— Обещания Цицерона,— сказал сквозь зубы Антоний и сплюнул на пол.

— Он далеко не молод,— возразил Октавий,— и ему осталось не так долго пребывать в этом мире.

— Лишний год, полгода, даже месяц — и того много. Он слишком влиятелен, даже потерпев поражение.

— Он был несправедлив ко мне,— сказал Октавий как бы сам себе,— но я все равно люблю его.

— Мы понапрасну теряем время,— заявил Антоний.— Если бы речь шла о ком-нибудь другом,— он постучал пальцем по списку,— я бы еще мог вступить в переговоры, но о Цицероне не может быть и речи.

Мне показалось, что Октавий чуть ли не улыбнулся.

— Да,— отозвался он,— о Цицероне не может быть и речи.

После этого он как будто потерял всякий интерес к разговору. Антоний и Лепид препирались из-за отдельных имен, время от времени спрашивая его согласия. Он кивал с отсутствующим видом. Когда Антоний спросил его, не хотел бы он добавить свои имена в списки, Октавий ответил:

— Мне всего двадцать лет — я не так долго прожил, чтобы заиметь много врагов.

И вот поздно той ночью при мерцавшем от малейшего дуновения огоньке светильника списки были наконец составлены. Семнадцать из наиболее богатых и влиятельных сенаторов должны были быть немедленно преданы смерти, а их имущество конфисковано, после чего сразу же объявлялись вне закона и высылались из Рима еще сто тридцать человек, чьи имена должны были быть преданы огласке, дабы ужас перед проскрипциями имел свои пределы.

Октавий сказал:

— Если браться за дело, то надо начинать не откладывая.

После этого мы устроились на ночлег, завернувшись, как простые солдаты, в одеяла на глиняном полу. По уговору никто из нас не должен был вступать в контакт со своими армиями, пока все детали соглашения не будут улажены.

Ты сам знаешь, дорогой Ливий, сколько всего было сказано и написано об этих проскрипциях, как в осуждение, так и в похвалу; и действительно, проведение их сопровождалось довольно серьезными злоупотреблениями. Антоний и Лепид беспрестанно добавляли все новые имена в списки, и некоторые из солдат воспользовались неразберихой, чтобы свести собственные счеты, а заодно и обогатиться. Но этого и следовало ожидать — в делах, где замешаны сильные чувства, будь то любовь или ненависть, эксцессы неизбежны.

Однако меня всегда удивляло, почему после того, как утихнут страсти, люди начинают задаваться вопросами, правильными ли были принятые меры или нет. Мне кажется, что как одобрение их, так и порицание в равной степени неправомерны, ибо те, кто выносит эти суждения, делают это отнюдь не из стремления отделить добро от зла, а скорее из протеста против безжалостной неизбежности или, наоборот, по причине полного принятия ее. А неизбежность — это то, что было, то есть прошлое.

Мы проспали всю ночь и поднялись до рассвета — и теперь, мой друг, я наконец подошел к рассказу о тех печальных событиях, о которых я упомянул в начале письма. Возможно, именно желание отдалить этот момент и было истинной причиной моего философствования, за что, я надеюсь, ты меня простишь.

После проскрипций триумвирам оставалось прийти к соглашению относительно устройства дел в Риме на

ближайшие пять лет. Уже было обговорено, что Октавий откажется от консульства, недавно полученного им от сената, ибо по своему положению каждый из триумвиров уже обладал консульскими полномочиями, поэтому представлялось более благоразумным вменить сенаторские обязанности их помощникам, укрепив, таким образом, свое влияние в сенате и дав триумвирам возможность полностью сосредоточиться на выполнении военных задач. Итак, второй день был посвящен выбору десяти консулов для управления городом в течение последующих пяти лет, а также разделу имеющихся в наличии легионов между триумвирами.

Мы позавтракали грубым хлебом и финиками; Антоний жаловался на скудость пищи; по-прежнему шел дождь. К полудню армии были поделены; Октавий получил еще три легиона в дополнение к уже имевшимся у нас одиннадцати. После полудня мы приступили к выбору консулов.

Как ты сам понимаешь, это были очень важные переговоры; всем было ясно, хотя открыто об этом и не говорилось, что, несмотря на достигнутые соглашения, различия в целях, преследуемых Марком Антонием и Октавием Цезарем, оставались весьма существенными. Консулы должны были представлять интересы триумвиров, как всех вместе, так и каждого в отдельности, поэтому было необходимо отобрать тех людей, которым мы могли доверять и в то же самое время приемлемых для другой стороны. Можешь представить себе, насколько деликатное было это дело; солнце уже клонилось к закату, а мы только подошли к четвертому году.

И тут Октавий назвал имя Сальвидиена Руфа.

Я не сомневаюсь, что тебе, как и всем нам, приходилось переживать то загадочное ощущение предвидения — краткий миг, когда, совершенно необъяснимо для себя самого, под влиянием случайного слова, едва

заметного движения век — да чего угодно — вдруг приоткрывается завеса и сквозь пелену времени тебе является видение, которому нет имени. Я не религиозный человек, но порой почти готов поверить, что боги действительно говорят с нами, но, лишь застигнутые врасплох, мы слышим их голоса.

— Сальвидиен Руф,— сказал Октавий, и в этот момент я почувствовал, как что-то внутри у меня оборвалось: такое ощущение бывает, когда падаешь с большой высоты.

На мгновение Антоний застыл без движения, затем зевнул и сказал лениво:

— Сальвидиен Руф... Ты уверен?

— Вполне,— ответил Октавий.— У тебя не должно быть возражений против его кандидатуры. Если бы я не оставил на него мои легионы перед отбытием сюда, он был бы сейчас здесь со мной.— А затем сухо добавил: — Ты конечно же помнишь, как хорошо он сражался против тебя при Мутине.

Антоний ухмыльнулся:

— Да, я помню. Ему придется ждать целых четыре года... Тебе не кажется, что к тому времени его терпение может истощиться?

— Он понадобится нам в борьбе с Кассием и Брутом,— терпеливо объяснил Октавий.— И Секстом Помпеем. Если мы выдержим все эти битвы, то он вполне заслуживает такой чести.

Антоний долго смотрел на него насмешливым взглядом; затем кивнул головой, будто решившись на что-то.

— Хорошо,— произнес он,— будь по-твоему: отдаю его тебе — решай, для чего он больше подходит — для консульства или для проскрипционных списков.

— Я не понимаю твоей шутки,— сказал Октавий.

— А это вовсе не шутка.

Антоний прищелкнул пальцами, и один из помощников передал ему свиток. Антоний небрежно бросил его на стол перед Октавием.

— Он весь твой.

Октавий взял свиток, развернул его и стал читать. На лице его не дрогнул ни один мускул. Читал он долго; наконец, закончив, протянул свиток мне.

— Это почерк Сальвидиена? — тихо спросил он.

Я прочел письмо и произнес как во сне:

— Да, это почерк Сальвидиена.

Он взял письмо из моих рук и долгое время сидел, неподвижно уставившись в одну точку. Я наблюдал за его лицом, прислушиваясь к глухому стуку дождя по соломе, покрывающей крышу лачуги.

— Не такой уж это и великий дар,— заметил Антоний.— Нынче, когда мы пришли к соглашению, он мне без пользы. Теперь мы вместе, и я не могу доверять ему. Такого рода тайна ни к чему ни тебе, ни мне.

Он указал на письмо:

— Он послал мне его, как только я присоединился к Лепиду в Авиньоне. Должен признаться, я поначалу было соблазнился, но потом решил обождать и посмотреть, чем закончится наша с тобой встреча.

Октавий согласно кивнул.

— Итак, включить его в списки? — спросил Антоний.

Октавий отрицательно покачал головой.

— Нет,— сказал он глухим голосом.

— Тебе следует привыкнуть к подобным вещам,— нетерпеливо воскликнул Антоний.— Он представляет для нас угрозу, если не сейчас, то в будущем. Я вношу его в списки.

— Нет,— повторил Октавий, не повышая голоса, но звук его наполнил всю комнату.

Он впился взглядом в Антония — в глазах его пылало синее пламя.

— Он не будет подвергнут проскрипции.

Затем он отвернулся, и взгляд его потух.

— Об этом не может быть и речи,— прошептал он.

Затем, помолчав, обратился ко мне:

— Ты напишешь Сальвидиену письмо, в котором уведомишь его, что отныне он не является командующим моими армиями, не состоит у меня на службе и,— он на мгновение замялся,— больше мне не друг.

Я так больше и не взглянул на письмо — в том не было нужды: слова его навечно запечатлелись в моей памяти; с тех пор прошло более двадцати пяти лет, но они по-прежнему тревожат меня, как застарелая рана. Передаю тебе содержание письма слово в слово:

«Квинт Сальвидиен Руф приветствует Марка Антония. Под моим началом имеются три легиона римских воинов, но я вынужден оставаться в бездействии, в то время как Децим Брут Альбин собирает силы для преследования тебя и твоих армий. Сенат предал Октавия Цезаря, который возвращается в Рим с пустыми руками. Я потерял веру как в него, так и в наше будущее. Только в тебе я вижу достаточно мужества и воли, чтобы покарать убийц Юлия Цезаря и избавить Рим от тирании аристократии. По всему этому я готов отдать в твое распоряжение мои легионы при условии, что ты согласишься предоставить мне равное с тобой право командовать ими и обязуешься продолжать дело, которому я посвятил себя вместе с Октавием Цезарем и которое пало жертвой игры честолюбий и политики уступок. Я готов присоединиться к тебе в Авиньоне».

Глубоко опечаленный, я сел за письмо к тому, кого мы считали за брата. Децим Карфулен, который сражался бок о бок с Сальвидиеном при Мутине, взялся доставить письмо по назначению. С его собственных слов я и передаю тебе, как все было.

Сальвидиен, до которого уже дошли слухи о миссии

Карфулена, в одиночестве дожидался его в своем шатре. По словам Карфулена, он был спокоен, но очень бледен. Он только что побрился и, как того требовал обычай, уложил свежесбритую бороду в небольшой серебряный ларец, стоящий на столе.

— Вот я и покончил с отрочеством,— сказал Сальвидиен, указывая на открытый ларец.— А теперь я готов выслушать твое послание.

Карфулен, растроганный до глубины души, молча протянул ему письмо. Сальвидиен прочитал его, оставаясь на ногах, потом покачал головой и сел за стол лицом к Карфулену.

— Ты желаешь послать ответ? — нарушил тишину Карфулен.

— Нет,— ответил Сальвидиен и затем добавил: — Вот мой ответ.

Медленно, но без тени колебаний он вытащил из-под складок тоги кинжал и со всей силой вонзил его себе в грудь на глазах у Карфулена. Тот бросился было к нему, но Сальвидиен остановил его движением руки. Затем низким голосом, с небольшим придыханием, проговорил:

— Передай Октавию, что, если я не могу быть ему другом при жизни, я буду им в смерти.

Он оставался сидеть за столом, пока глаза его не заволоклись туманом и он не рухнул на землю.

XIII

Письмо: аноним — Марку Туллию Цицерону в Рим (43 год до Р.Х.)

Тот, кому дороги твой мир и спокойствие, коими ты наслаждаешься в своем уединении, призывает тебя немедленно покинуть страну, которую ты любишь. Твоей

жизни грозит неумолимая смертельная опасность, если ты хоть на миг задержишься в Италии. Жестокая неизбежность зачастую вынуждает нас идти наперекор нашим более человеколюбивым природным наклонностям. Действуй без промедления.

XIV

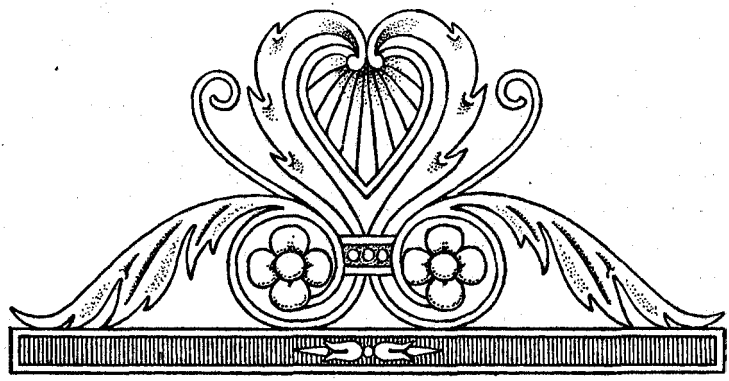
Тит Ливий: «Римская история», отрывки (13 год после Р.Х.)

Марк Цицерон незадолго до прибытия триумвиров покинул город, вполне обоснованно полагая, что у него не меньше оснований опасаться преследований Антония, чем Кассию и Бруту — мести Октавия Цезаря. Сначала он укрылся на своей вилле в Тускуле, а затем через всю страну бежал на другую свою виллу в Формии с намерением сесть на корабль в Гаете. Он предпринял несколько попыток к отплытию, но каждый раз был вынужден возвращаться назад из-за неблагоприятных ветров; все это время море было неспокойно, и, не в силах больше выносить качки и устав от постоянного страха за свою жизнь, он вернулся на свою виллу на холме, чуть более мили от моря.

— Я хочу умереть на родине,— сказал он,— в стране, которую я не раз спасал от бед.

Известно, что его преданные рабы были готовы со всем мужеством биться за его жизнь, но он приказал им опустить носилки на землю и безропотно покориться неумолимой судьбе. Он высунулся из паланкина и оставался неподвижен, пока голова его не была отделена от тела. Однако это не удовлетворило кровавой жестокости солдат, которые отрубили ему руки в отместку за то, что ими он писал свои выступления против Антония. Голова его была доставлена Антонию,

который приказал установить ее на трибуне, с которой Цицерон выступал как консул и консуляр и где еще в том же самом году его красноречивые выпады против Антония встречали невиданное до того восхищение слушателей. Никто не решался поднять полные слез глаза, чтобы взглянуть на обезображенные останки одного из своих сограждан.



Глава 4

I

Письма: Страбон Амасийский — Николаю Дамаскину* из Рима (43 год до Р.Х.)*

Дорогой мой Николай, шлю тебе мои приветствия, к коим присоединяется и наш друг и учитель Тираннион. Пишу тебе из Рима, куда я прибыл лишь на прошлой неделе, после долгого и весьма утомительного путешествия из Александрии через Коринф, во время которого мне довелось плыть морем под парусом и на веслах и добираться сушей на повозках, колесницах и верхом, а подчас даже пешком, сгибаясь под тяжестью моих манускриптов. Просто глядя на карту, невозможно представить себе всю необъятность и разнообразие мира — я открыл для себя новый способ познания его, способ, не требующий наставников. Более того, опытный путешественник может сам превратиться из ученика в учителя; так, наш Тираннион, такой просвещенный во всем, и тот испытывал затруднения, расспрашивая меня о моих путешествиях.

Я остановился у Тиранниона в одной из хижин,

теснившихся на холме над городом. Я бы назвал это своего рода обителью, где живут несколько признанных учителей (в Риме их не называют философами, так как к философии здесь относятся с некоторым подозрением) вместе с несколькими молодыми учениками, которые, как и я, были приглашены жить и обучаться у своих прежних наставников.

Я был немало удивлен, когда Тираннион привез меня сюда, так далеко от Рима, но еще больше удивился, когда он объяснил мне причину такого странного выбора места проживания. Оказывается, публичная библиотека в Риме хуже, чем можно себе представить: собрание манускриптов до смешного малое, да и те в плохих копиях, и в довершение ко всему только половина из них на греческом, остальные же — на этой ужасной латыни! Впрочем, Тираннион уверяет, что все необходимые для занятий тексты имеются — правда, в частных коллекциях. Один из его друзей, живущий рядом с нами,— тот самый Атенодор из Тарса, о котором мы так много слышали в Александрии. Так вот, по уверению Тиранниона, он имеет доступ к лучшим частным собраниям в Риме, которые открыты и для нас, странствующих философов.

Об этом Атенодоре я должен тебе кое-что рассказать — я не могу не поражаться ему. Будучи всего несколькими годами старше Тиранниона — ему, должно быть, за пятьдесят,— он тем не менее производит впечатление человека, вобравшего в себя всю мудрость веков. Держится он строго и отчужденно, но при этом чувствуется, что у него добрая душа; он мало говорит и никогда не вступает в дискуссии ради забавы, как это делают все остальные; мы во всем следуем за ним, хотя он и не претендует на роль пастыря. Говорят, у него имеются могущественные друзья, однако сам он ни разу не обронил о них ни слова; он внушает нам

такое почтение, что мы не смеем обсуждать нечто подобное даже в его отсутствие. И все же при всем величии ума и положении в обществе я заметил в нем какую-то странную печаль, причина которой остается от меня скрытой. Но, несмотря на охватывающий меня трепет при одной мысли об этом, я намерен поговорить с ним и разузнать побольше о нем самом и его покровителях.

Кстати, мои письма будут пересылаться тебе его заботами — у него имеется доступ к посольской почте, еженедельно доставляемой в Дамаск, и он сам предложил мне отправлять с ней мои письма.

Итак, мой дорогой Николай, вот и начинается моя жизнь в Риме. Как я и обещал, я буду регулярно оповещать тебя обо всем, что мне удалось узнать нового. Мне так жаль, что семейные дела удерживают тебя в Дамаске, но я не оставляю надежды, что ты вскорости покончишь с ними и приедешь сюда, в этот удивительный мир, зовущийся Римом.

Ты, наверное, совсем разочаровался во мне и как в друге, и как в философе. Смею тебя уверить, что относительно первого это определенно не так, а вот что касается второго, то не исключено, что все идет именно к тому. Я собирался писать тебе каждую неделю — и вот уже целый месяц прошел, а я так и не взялся за перо.

В оправдание себе скажу, что это такой необыкновенный город, что даже величайшим умам трудно не поддаться его чарам. Дни катятся с такой безумной быстротой, какой ни один из нас не мог себе и представить во время наших безмятежных лет ученичества в Александрии. Не знаю даже, способен ли ты в сонной тиши своего любимого Дамаска в полной мере оценить всю значимость того, что я пытаюсь донести до тебя.

Все чаще и чаще мне на ум приходит мысль (это всего лишь мое мнение), что мы, греки, погрязли в самодовольстве, кичась своей историей и языком, слишком легко поддаваясь чувству превосходства над «варварами» с Запада, которые изволят называть себя нашими господами,— как видишь, я нынче рассуждаю скорее не как философ, а как обыкновенный человек. Без сомнения, и в наших краях есть свое обаяние и утонченность, но этот город полон какой-то невиданной жизненной силы, которая еще год назад не показалась бы мне и отдаленно привлекательной. Год назад я только лишь слышал о Риме — теперь я увидел его и в настоящий момент не уверен, что когда-нибудь снова вернусь на Восток или в мой родной Понт.

Представь себе город, вдвое меньший по площади, чем Александрия, где мы учились мальчишками, и при этом с населением вдвое большим — вот что такое Рим, в котором я теперь живу, город с почти миллионом жителей, как мне сказали. Ничего подобного я не видел в своей жизни; здесь можно встретить людей со всего мира: от черных, как эбеновое дерево, сынов горячих песков Африки до бледных русоголовых выходцев со студеного севера и людей всех остальных оттенков и цветов кожи. А какое разнообразие языков! Однако все знают немного по-латыни или по-гречески, так что никто не чувствует себя чужим.

И как они все норовят сбиться в кучу, эти римляне. За городскими стенами лежит такая неописуемо красивая местность, что и представить себе невозможно, но нет, эти люди, подобно рыбе в сетях, до отказа заполняют узкие кривые улочки, бессмысленно петляющие по всему городу миля за милей. В светлое время дня эти улицы — все без исключения — буквально задыхаются от несметного количества людей, а шум и смрад стоят такие, что словами не передать. За несколько

месяцев до своей смерти великий Юлий Цезарь постановил, что лишь с наступлением темноты, с заката до восхода, разрешается въезжать в город с повозками, телегами и вьючными животными. Остается только гадать, как же оно было до этого закона, когда многочисленные лошади, быки и всевозможного рода повозки мешались с толпой на немыслимо узких улочках.

Простые римляне, живущие в самом городе, должно быть, совсем лишились сна, ибо дневной галдеж толпы днем после захода солнца сменяется криками погонщиков, громко понукающих своих лошадей и быков, скрипом деревянных повозок и неумолчным грохотом колес по мощеным улицам.

С наступлением темноты никто не осмеливается выйти на улицу в одиночку, за исключением торговцев, вынуждаемых к этому их занятием, да очень богатых людей, кои могут себе позволить вооруженную охрану. Даже в лунные ночи улицы тонут в кромешной тьме, ибо стоящие вкривь и вкось дома тянутся так высоко к небу, что и случайный отблеск луны не попадает в темные закоулки, где доведенные до отчаяния бедняки готовы перерезать тебе горло ради куска материи на твоих плечах и жалкой горстки серебра, что ты имел несчастье держать при себе.

Но и жизни тех, кто ютится в этих вздымающихся ввысь ветхих строениях, угрожает не меньшая опасность, чем тех, кто бродит по ночным улицам города, ибо они живут под постоянной угрозой пожара. По ночам из своей хижины на холме я часто вижу вдалеке огни пожаров, расцветающих, словно пышные цветы, среди моря тьмы, и слышу приглушенные расстоянием вопли ужаса и предсмертные стоны. Конечно же в городе имеются пожарные, но все они, как один, продажны и их слишком мало, чтобы оказать должную помощь.

В центре всего этого хаоса, словно заброшенный сюда из другого мира,— великий форум. Он напоминает форумы, которые можно увидеть в провинциальных городах, но только гораздо более величественный: огромные мраморные колонны поддерживают громады казенных зданий; десятки статуй, разбросанных тут и там; бесчисленные храмы их римским богам, заимствованным у нас, и нагромождения зданий поменьше, где размещаются служебные ведомства. При всем этом в нем полно открытых пространств, а шум и зловоние окружающего города почему-то не проникают туда. Люди здесь неспешно прогуливаются, наслаждаясь солнцем, непринужденно беседуют, обмениваются слухами и читают эдикты, развешанные на трибунах вокруг здания сената. Я прихожу сюда, на форум, каждый день, чтобы почувствовать себя в центре вселенной.

Я постепенно начинаю понимать, почему римляне с таким пренебрежением относятся к философии: их мир — это здесь и сейчас, мир причины и следствия, фактов и слухов, богатства и нужды. Даже я, посвятивший свою жизнь поискам истины и знаний, не могу не испытывать некоторой симпатии к тому мироощущению, что лежит в основе этого пренебрежения. Знания для них — всего лишь средство для достижения цели, а истина — нечто утилитарное. Даже боги у них служат государству, а не наоборот.

Посылаю тебе копию стишка, который сегодня утром можно было видеть почти у каждого въезда в город. Не стану пытаться переводить его на греческий — посылаю его, как есть, в латинской транскрипции:

Путник, остановись и о себе поразмысли,
Переступая порог скотного как бы двора,
Где мальчик живет один, зовущийся именем мужа,
За стол ты присядешь с ним на собственную погибель;
Не бойся — тебя пригласят, как приглашают всех.

Месяц тому назад он потерял отца —
Теперь же прокисшим вином вновь обретенной свободы
Он упивается всласть — меж тем
Живность его без присмотра бродит, не зная преград;
Лишь одного поросенка из всего опороса свиньи
Взял он недавно в свой дом.
Есть ли дочь у тебя? Береги ее —
Мальчик этот когда-то девочек нежных любил —
Он еще может опять вкусы свои изменить.

Предлагаю свое толкование, на манер наших с тобой учителей: «мальчик с именем мужа» — это, конечно, Гай Октавий Цезарь; «отец», давший ему имя,— Юлий Цезарь; «поросенок» — некто Клодия, дочь «свиньи» (кличка, данная ей ее недоброжелателями) — Фульвии, жены Марка Антония, с которым Октавий попеременно то ссорится, то примиряется. «Девочка», упомянутая в предпоследней строчке,— некая Сервилия, дочь бывшего консула, с которой был обручен Октавий, пока (как говорят) по требованию своих и Антониевых солдат не согласился на брак с падчерицей Антония. Как оказалось, это простая формальность — по моим сведениям, девочке всего тринадцать лет. Тем не менее факт помолвки удовлетворил тех, кто хотел бы видеть Октавия и Антония в дружеских отношениях. Сам по себе стишок, без сомнения, содержит и другие намеки, которые понятны лишь местным жителям; по всей вероятности, он был сочинен по заказу кого-то из сенаторов, не желающих примирения между Октавием и Антонием,— довольно вульгарное сочинение, надо признать... Но что-то в нем есть, не правда ли?

Я не перестаю удивляться — имя Октавия Цезаря постоянно у всех на устах: он в Риме — он покинул Рим; он спаситель отечества — он несет погибель государству; он покарает убийц Юлия Цезаря — он вознаградит их. Что бы то ни было, этот загадочный молодой человек захватил воображение всего Рима, и даже меня не миновало это поветрие.

Поэтому, зная, что наш Атенодор долго жил как в самом Риме, так и его окрестностях, вчера вечером после ужина я воспользовался представившимся мне случаем, чтобы задать ему несколько вопросов (он со временем стал ко мне благосклоннее, и порой мы даже перекидываемся полудюжиной слов зараз).

Я спросил его, что за человек этот Октавий Цезарь (как он называет себя), после чего показал Атенодору стишок, копию которого выслал тебе ранее.

Тот уткнулся в него, почти касаясь пергамента своим крючковатым носом, втянув щеки и сжав тонкие губы. Затем он вернул мне свиток тем же самым характерным жестом, каким обычно возвращал мои собственные сочинения, которые я давал ему на проверку.

— Метр неровен,— заметил он,— а предмет тривиален.

Я научился быть терпеливым с Атенодором и снова спросил его об Октавии.

— Он такой же человек, как и все,— ответил Атенодор,— и станет тем, кем ему суждено стать,— силою своей воли и волею судьбы.

Я спросил его, доводилось ли ему встречаться или беседовать с этим юношей, на что Атенодор ворчливо ответил:

— Я был его учителем в Аполлонии, когда до нас дошли вести о смерти его дяди, и он избрал путь, приведший его к тому, что он есть сейчас.

Поначалу я подумал, что Атенодор говорил в метафорическом смысле, но, взглянув ему в лицо, понял, что это сущая правда.

— Т-ты... знаешь его? — заикаясь от удивления, спросил я.

— Я обедал у него на прошлой неделе,— ответил Атенодор, усмехнувшись.

После этого я не смог добиться от него ни слова —

он наотрез отказался отвечать на мои дальнейшие вопросы, считая весь этот предмет недостойным столь пристального внимания. Единственное, что я сумел из него выудить,— это замечание о том, что, захоти Октавий, из него мог бы получиться неплохой философ.

Итак, я, оказывается, еще ближе к центру вселенной, чем думал.

Я присутствовал на похоронах.

Умерла Атия, мать Октавия Цезаря. По улицам города прошли глашатаи, извещая о том, что следующим утром на форуме состоится погребальная церемония. И вот наконец мне довелось увидеть человека, владеющего умами и сердцами римлян, а посему (я полагаю) и всего мира.

Я пришел на форум заранее, чтобы занять место получше, и устроился в ожидании начала церемонии у подножия трибуны, с которой должен был выступать с речью Октавий Цезарь. К пятому часу утра форум был заполнен почти до отказа.

Скоро показалась похоронная процессия: впереди шли факельщики с зажженными факелами в руках, за ними — музыканты, играющие медленный марш, потом — носилки, где, полулежа, покоилось тело, за ними — плакальщики, и в самом конце — одинокая хрупкая фигура, которую я принял поначалу за подростка, с пурпурной полосой на тоге,— мне и в голову не могло прийти, что я вижу перед собой сенатора. Вскоре, впрочем, стало ясно, что это сам Октавий, ибо по мере того, как он приближался к трибуне, в толпе происходило движение, так как каждый старался протиснуться вперед, чтобы получше рассмотреть его. Носильщики опустили носилки с телом на землю перед трибуной; близкие родственники расселись на низких скамьях впереди. Октавий Цезарь медленно подошел к носилкам, на мгновение остановился и посмотрел в лицо своей ма-

тери; затем взошел на трибуну и окинул взглядом толпу в тысячу или более человек, собравшихся по этому случаю на форуме.

Я оказался совсем рядом — не более чем в пятнадцати шагах от него. Он стоял бледный и малоподвижный, будто труп; лишь в его поразительно голубых глазах светилась жизнь. Толпа притихла; вдалеке слышался приглушенный гул безразличного, как тупая скотина, города.

И вот он заговорил — очень тихо, но голосом таким ясным и отчетливым, что каждое его слово легко доходило до всех собравшихся.

Посылаю тебе его речь — на церемонии присутствовали писцы со своими табличками, и на следующий день копии ее можно было увидеть в каждой лавке города.

«Рим навсегда прощается с тобой, Атия, с той, кто сама была Римом. Это потеря, которую лишь память о твоих достоинствах дает нам силы пережить; она подсказывает нам, что, целиком предавшись скорби, мы тем самым умаляем саму суть твоей жизни.

Ты была верной женой моему кровному отцу, Гаю Октавию, претору и наместнику Македонии, безвременная кончина которого преградила ему путь к консульскому званию. Ты была строгой и любящей матерью твоей дочери Октавии, распростертой в рыданиях перед твоим бездыханным телом, и твоему сыну, который в последний раз стоит перед тобой с этими жалкими словами на устах. Ты была почтительной и достойной племянницей того, кто дал наконец твоему сыну отца, которого судьба обманом лишила этого отца, того самого Юлия Цезаря, что был злодейски убит в двух шагах от места, где покоятся твои благородные останки.

Происходя из славного римского рода, ты в полной мере обладала всеми достоинствами, издревле прису-

щими этой земле, взрастившей и питавшей наш народ на всем протяжении его истории. Ты своими собственными руками пряла и ткала полотно, одевавшее всех твоих домочадцев; к слугам ты относилась как к собственным детям; ты почитала богов своего дома и города; кроткая нравом, ты не имела иных врагов, кроме смерти, которая ныне явилась за тобой.

О Рим, взгляни на ту, что покоится здесь перед тобой, и ты узреешь все, что есть лучшего в тебе и твоем прошлом. Близок тот час, когда мы вынесем эти благородные останки за городские стены и пламя погребального костра поглотит бренное вместилище того, чем была Атия. Но я взываю к вам, граждане Рима, не дайте ее добродетелям сгинуть вместе с ней в могилу! Пусть они станут сутью и вашей жизни, чтобы все лучшее, что было в той, которая обратилась в прах, запечатлелось в бессмертных душах грядущих поколений римлян.

Да хранят твой покой духи мертвых, Атия!»

Долгая тишина нависла над площадью. Помедлив, Октавий спустился с трибуны. Затем носилки с телом вынесли с форума и за пределы городских стен.

Я никак не могу убедить себя в том, что все это я видел собственными глазами и слышал собственными ушами — в царящем здесь хаосе достоверных известий как таковых не существует, никаких эдиктов на стенах сената больше не вывешивается; нельзя даже с точностью сказать, существует ли сам сенат. Октавий Цезарь вступил в союз с Антонием и Лепидом, что, по существу, означает военную диктатуру; враги Юлия Цезаря подлежат проскрипции. Более сотни сенаторов — сенаторов! — преданы казни, а их имущество и казна конфискованы; и еще несчетное множество богатых римлян, многие благородных кровей, убиты или бежали из города, а все, чем они владели, оказалось в руках

триумвиров. Какая чудовищная жестокость! Среди тех, кто подвергся гонениям,— Павл, родной брат Лепида, Луций Цезарь — дядя Антония, и даже знаменитый Цицерон и тот попал в черные списки. Однако я полагаю, эти трое, а также некоторые другие сумели бежать из города и, возможно, остались живы.

Похоже, самые кровавые расправы — дело рук солдат Антония. Я своими собственными глазами видел обезглавленные трупы римских сенаторов, раскиданные по тому самому форуму, которым еще неделю назад они больше всего гордились; из своего отдаленного от всех этих ужасов жилища я слышал предсмертные вопли тех, кто слишком долго откладывал свой побег из Рима и расставание со своим богатством. Все, кроме бедняков, людей с очень скромным достатком и друзей Цезаря, живут в постоянном страхе грядущего дня, в любой момент ожидая увидеть свои имена в проскрипционных списках.

Говорят, Октавий Цезарь заперся в своем доме и носа не кажет на улицу, чтобы ненароком не наткнуться на труп кого-нибудь из своих бывших соратников. Еще говорят, что именно Октавий настаивает на том, чтобы проскрипции проводились быстро, решительно и без всякого снисхождения. Просто не знаешь, чему и верить.

События последних нескольких месяцев повергают меня в сомнение: неужели это тот самый Рим, который, как мне казалось, я начал наконец узнавать? Действительно ли я понимаю этих людей? Атенодор отказывается обсуждать что-либо со мной, Тираннион лишь печально качает головой.

Наверное, во мне гораздо больше от пылкого юноши, чем от взрослого мужчины, каким я сам себя представлял.

Цицерону спастись не удалось.

Вчера, прохладным ясным декабрьским днем, бродя среди книжных лавок в торговых рядах за форумом (сейчас уже не опасно появляться на улицах), я заслышал невдалеке шум; и вопреки здравому смыслу, влекомый неуемным любопытством, которое однажды приведет меня либо к славе, либо к погибели, я пробрался через ворота, ведущие на форум. Взволнованная толпа окружила одну из трибун возле здания сената. «Это Цицерон»,— произнес кто-то, и имя это тихим вздохом пробежало по толпе: «Цицерон... Цицерон...»

Не зная, чего ожидать, но содрогаясь при одной мысли о том, что я могу увидеть, я протолкался вперед.

Здесь, на трибуне сената, аккуратно установленная между его собственными отрубленными руками, покоилась усохшая, сморщенная голова Марка Туллия Цицерона. Я слышал, как кто-то сказал, что она выставлена здесь по приказу самого Антония.

Это была та самая трибуна, с которой всего три недели назад Октавий Цезарь с такой нежностью говорил о своей покойной матери. И вот снова тлетворный дух смерти царил над ней; и в этот момент я не мог не порадоваться тому, что Атии не суждено было увидеть ужасные деяния собственного сына.

II

Письмо: Марк Юний Брут — Октавию Цезарю из Смирны (42 год до Р.Х.)

Сомневаюсь, что ты до конца понимаешь всю серьезность своего положения. Я знаю — ты не питаешь ко мне любви, и с моей стороны было бы глупо отрицать, что и мною владеет неприязнь по отношению к тебе; посему я взываю к тебе не ради тебя лично, а ради

моего народа. Писать Антонию бесполезно — он безумец; Лепид — набитый дурак; остаешься лишь ты, и я надеюсь, ты прислушаешься к моим словам, ибо ты ни то и ни другое.

Мне доподлинно известно, что именно твоими стараниями Кассий и я объявлены вне закона и осуждены на вечную ссылку, но давай не будем обольщаться: решение это остается в силе лишь до тех пор, пока его поддерживает смятенный и деморализованный сенат. И не будем делать вид, что такого рода эдикт обладает действительной силой и непреклонностью закона.

Теперь поговорим об истинном положении дел: вся Сирия, Македония, весь Эпир, Греция и вся Азия — в наших руках. Весь Восток против тебя, а силу и богатство Востока трудно переоценить. Восточное Средиземноморье целиком и полностью в нашей власти, посему тебе не приходится ждать помощи от любовницы твоего покойного дяди, которая иначе могла бы помочь тебе средствами и людьми. И хотя сам я вовсе не жалую его, пират Секст Помпей, как мне известно, наступает тебе на пятки на западе. По всему этому ни мне, ни моим армиям не страшна война с тобой, которая в настоящий момент кажется неизбежной.

Но я боюсь за Рим и за будущее нашего государства. Проскрипции, которые ты и твои друзья обрушили на него, подтверждают эти опасения, и моя личная скорбь должна отступить на задний план перед лицом нависшей над страной угрозы.

Поэтому давай забудем о проскрипциях и покушениях: если ты сможешь простить мне смерть Цезаря, я постараюсь не вспоминать об убийстве Цицерона. Мы никогда не будем друзьями — да это никому из нас и не нужно, но, может быть, мы можем быть друзьями Риму.

Я умоляю тебя — отступись от Марка Антония. Боюсь, еще одна битва римлян с римлянами уничтожит

последние остатки добродетели, [illegible] живущей в нашем народе. А без тебя Антоний выступить не решится.

Если ты откажешься от похода на Восток, то можешь твердо рассчитывать на мое уважение и благодарность, зная, что у тебя есть будущее. Так давай же объединим наши усилия, если не ради дружбы, то ради блага Рима.

Но позволь мне добавить следующее: если ты оттолкнешь протянутую мной руку дружбы, я преисполнен решимости всеми силами противостоять тебе, и в таком случае тебя ждет смерть. Я говорю об этом с тяжелым сердцем, но промолчать не могу.

III

Воспоминания Марка Агриппы — отрывки
(13 год до Р.Х.)

После образования триумвирата и разгрома внутренних врагов Юлия Цезаря и Цезаря Августа еще оставалась угроза со стороны пирата Секста Помпея на западе и скрывающихся от правосудия убийц божественного Юлия — Брута и Кассия — на востоке. Верный своей клятве, Цезарь Август решил в первую очередь наказать убийц своего отца и восстановить порядок в государстве, отложив вопрос с Секстом Помпеем на потом и приняв лишь самые необходимые меры для обеспечения безопасности своих западных границ.

Тем временем мои усилия были направлены на то, чтобы набрать и оснастить итальянские легионы, которым предстояло участвовать в осаде Брута и Кассия на востоке, а также укрепить тылы для ведения войны вдали от родных берегов. Антоний должен был послать восемь легионов в Амфиполис, город на Эгейском

побережье Македонии, дабы отвлечь войска Брута и Кассия и помешать им занять выгодные позиции на местности. Однако Антоний запоздал с отсылкой своих легионов, и им пришлось стать лагерем в низине к востоку от Филипп, где окопалась армия Брута. Вскоре Антонию потребовалось отправить дополнительные легионы для поддержки наших войск в Македонии, но корабли Брута и Кассия держали под наблюдением гавань Брундизия, поэтому Август поручил мне позаботиться о благополучной высадке войск Антония. И вот с кораблями и легионами, которые я подготовил и оснастил в Италии, мы прорвались через морскую блокаду Марка Юния Брута и высадили двенадцать легионов нашей армии на берегах Македонии в Диррахии.

Здесь, в Диррахии, Август тяжело заболел, и мы отложили все наши планы, опасаясь за его жизнь, но он приказал нам не останавливаться и продолжать наступление на армии изменников, прекрасно зная, что промедление нас погубит. И вот восемь наших легионов, пройдя через всю страну, присоединились к осажденным передовым частям Антония в Амфиполисе.

Однако на нашем пути стояла конница Брута и Кассия, в боях с которой мы понесли большие потери, и потому наше войско прибыло в Амфиполис обессиленным и павшим духом. Когда выяснилось, что армии Брута и Кассия надежно закрепились на господствующих высотах возле Филипп, защищенные с севера горами, а с юга — болотами, простирающимися от их укреплений до самого моря, я решил срочно послать гонца к Цезарю Августу с известием, что цель, стоящая перед нами, представляется нашим воинам недостижимой и необходимо что-то срочно предпринять, чтобы возродить их боевой дух.

И вот, тяжело больной, Август с превеликим трудом пересек всю страну и прибыл к нам с подкреплениями, несомый всю дорогу на носилках среди своих солдат, так как был слишком слаб, чтобы проделать путь на своих ногах. Лицом он походил на мертвеца, но глаза его горели страстью и решимостью, а голос был полон такой силы, что одно присутствие его воодушевило и придало мужества воинам.

Мы были преисполнены решимости выступить без промедления, ибо с каждым днем припасы наши таяли, в то время как Брут и Кассий могли доставлять провиант морем. Между тем, пока три легиона Августа под моим командованием делали вид, что собираются проложить гати для прохода войск через болота, защищающие южный фланг противника, легионы Марка Антония предприняли дерзкую атаку на более слабые позиции Кассия, прорвали его линию обороны и, не дав опомниться, захватили его лагерь. Говорят, сам Кассий, стоя на небольшом холме в окружении кучки своих трибунов, увидел на севере, как ему показалось, беспорядочно отступающие войска Брута и, зная, что его собственная армия разгромлена, решил, что все потеряно. В порыве отчаяния бросился он на меч, закончив свою жизнь в пропитанной кровью пыли Филипп, сам себя покарав за убийство божественного Юлия и пережив его всего на два года и семь месяцев.

Кассий не подозревал, что армия Брута вовсе и не собиралась отступать: разгадав наш план и зная, что силы Августа оказались распылены вследствие отвлекающего маневра, он тут же напал на наш лагерь и захватил его, перебив и взяв в плен множество наших солдат. Самого Августа, почти без сознания и неспособного стоять на ногах, вынес из шатра и прятал среди болот, пока сражение не утихло, его лекарь, после чего он был

тайно перенесен на позиции Марка Антония, куда отступили остатки нашей армии. Позже лекарь уверял, что видел накануне сон, в котором ему было наказано вынести больного Августа из шатра, если ему дорога жизнь его господина...

IV

Письмо: Квинт Гораций Флакк — своему отцу, к востоку от Филипп (42 год до Р.Х.)

Мой дорогой отец, если ты получишь это письмо, ты будешь знать, что твой Гораций, еще вчера гордый собой солдат армии Марка Юния Брута, сей холодной осенней ночью, сидя в своем шатре, пишет эти строки в неверном пламени светильника, покрыв себя вечным позором в собственных глазах, если не в глазах друзей. Однако он чувствует себя как-то странно свободным от наваждения, которое владело им в эти последние месяцы, и если его не назовешь счастливым, то, во всяком случае, он начал наконец понимать, кто он на самом деле есть... Сегодня я участвовал в своей первой битве и должен тебе сразу признаться, что при первой же серьезной опасности я отшвырнул свой щит и меч и бросился наутек.

Сам не знаю, зачем я пустился в это предприятие, а ты слишком мудр, чтобы забивать себе этим голову. Когда в великодушии своем, с которым я так свыкся, что порой перестаю замечать его, ты послал меня учиться в Афины два года назад, у меня и мысли не было ввязываться в политику. Неужели я примкнул к Бруту и принял чин трибуна его армии в достойной всяческого презрения попытке пролезть в аристократы, забыв о своем происхождении? Или Гораций стыдится быть сыном простого вольноотпущенника? Мне не верится, что это может быть правдой; несмотря на всю

мою молодость и самонадеянность, я всегда знал, что лучше тебя никого нет, и я не мог бы и мечтать о более благородном, великодушном и любящем отце.

Это случилось, как мне кажется, потому, что в своих учениях я позабыл о том, что существует и другой мир, и почти поверил в то, что одной лишь философии принадлежит право на истину. Свобода! Я примкнул к Бруту ради этого слова, но сам до сих пор не знаю, что оно значит,— можно прожить дураком целый год и вдруг поумнеть в один день.

Скажу тебе, что я бросил свой щит и бежал с поля битвы не из одной лишь трусости, хотя, без сомнения, и она здесь присутствовала. Но когда я вдруг увидел одного из воинов Октавия Цезаря (или Антония, не знаю), идущего на меня со сверкающей сталью клинка в руках и холодным блеском в глазах, время как будто остановило свой стремительный бег, и я вспомнил тебя и все надежды, которые ты возлагал на мое будущее. Я вспомнил, что ты родился рабом, но сумел выкупить себе свободу, что труды твои и вся твоя жизнь были посвящены твоему сыну, чтобы он мог в полной мере вкусить обеспеченного и спокойного существования — того, чего ты сам был лишен. И я увидел этого твоего сына, бессмысленно погибшего за дело, которое было ему чужим, лежащего распростертым на земле, к которой он не питал никаких чувств; а затем я увидел тебя, доживающего свой век в одиночестве с мыслью о зря загубленной жизни того, кто был плоть от плоти твоей,— и бросился бежать. Я бежал, перепрыгивая через тела павших, уставившихся невидящими глазами в небо, которое им никогда уже не увидеть; и мне не было дела, на чьей стороне они сражались,— я бежал.

Если боги будут ко мне благосклонны, я вернусь к тебе в Италию — хватит с меня сражений. Завтра

я отправлю это письмо и подготовлю все к отъезду. Если атаки на нас не повторится, мне ничего не грозит; в противном случае я снова сбегу с поля сражения. Так или иначе, я не собираюсь здесь долго задерживаться и принимать участие в резне, цели которой мне неясны.

Я не знаю, кто выйдет из этого всего победителем: партия Цезаря или республиканцы; я не знаю, какое будущее ждет нашу родину или меня самого. Возможно, я разочарую тебя и, как и ты, стану сборщиком податей; но не стоит огорчаться — ведь в это занятие, каким бы низким оно ни было в твоих глазах, ты привнес собственные честь и достоинство. А я — твой сын Гораций и горжусь этим.

V

Воспоминания Марка Агриппы — отрывки
(13 год до Р.Х.)

Брут снова отошел к своим укреплениям на возвышенности возле Филипп, которые, как нам скоро стало ясно, не собирался покидать. Мы знали, похоже, даже лучше, чем он сам, что каждый день ожидания обходится нам недешево, ибо наши запасы подходили к концу, и пополнить мы их не могли, так как на море господствовал флот Брута; позади нас были плоские и бесплодные равнины Македонии, а впереди — негостеприимные и такие же бесплодные холмы Греции. Затем мы стали распространять среди войск Брута подметные письма, полные насмешек над его трибунами, обвиняя их в робости и даже трусости. По ночам мы изводили их, выкрикивая оскорбления через разделяющие нас ряды костров, и, терзаемые стыдом, они потеряли сон.

Три недели Брут ждал, пока наконец его воины, не в силах дольше сносить бремя бездействия, возроптали; и Брут, опасаясь массового исхода из своих войск, отдал приказ оставить свои позиции, которые еще могли спасти его армию, и атаковать наш лагерь.

И вот к концу дня они спустились с холма, подобные северному урагану, скрытые от глаз облаками пыли; ни звука не слетало с их губ — лишь стук копыт и глухой топот многих тысяч ног по пыльной земле нарушали нависшую над равниной тишину. Я приказал своим воинам расступиться перед стремительно наступающим противником, а затем снова сомкнуть ряды, взяв его в клещи и вынудив сражаться на два фронта одновременно. Затем мы раскололи вражескую армию надвое и каждую из половин еще раз надвое, лишив их возможности перестроиться для отражения наших атак. К ночи все было кончено — лишь безразличные ко всему звезды бесстрастно взирали с высоты на тела погибших и внимали стонам раненых.

Брут с остатками своих легионов бежал в дикую местность за филиппийскими укреплениями, которые теперь были в наших руках. Он хотел снова перейти в наступление с теми силами, что еще оставались в его распоряжении, но его собственные трибуны отказались жертвовать собой; и вот рано утром на восходе, на следующий день после ноябрьских ид, на одиноком пригорке, откуда была хорошо видна вся картина кровавого побоища, затеянного по его воле и приказу, на глазах у нескольких из оставшихся верными ему трибунов он бросился на меч. Так не стало армии республики; так было отмщено убийство Юлия Цезаря, и смутные времена предательств, измены и междоусобиц уступили место долгим годам мира и порядка в царствование императора государства нашего Гая Октавия Цезаря, ныне Августа.

VI

Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию (13 год до Р.Х.)

После Филипп, очень медленно, часто останавливаясь по дороге, он вернулся в Рим, будучи почти на пороге смерти. Он спас Италию от внешних врагов, и теперь оставалось залечить раны государства, основы которого сотрясали внутренние неурядицы.

Мой дорогой Ливий, не могу передать тебе охвативших меня чувств, когда я снова увидел его по прошествии всех этих долгих месяцев в его доме на Палатинском холме, куда его втайне доставили. Я конечно же все это время, согласно указаниям Октавия, оставался в Риме, чтобы присматривать за тем, что творится в городе, и стараться не дать Лепиду — из корысти или по глупости — полностью развалить систему правления в Италии.

Октавию не исполнилось еще и двадцати двух лет той зимой, когда он вернулся с полей сражений, но, клянусь тебе, он выглядел в два, даже в три раза старше. Будучи худым от природы, он потерял так много веса, что кожа складками свисала с его костей. У него не было сил даже говорить — один лишь хриплый шепот срывался с его губ. Я смотрел в его бледное восковое лицо и в отчаянии думал, что ему не выжить.

— Не говори им ничего,— прохрипел он и надолго замолк, словно выбившись из сил.— Не говори никому о моей болезни — ни Лепиду, ни народу.

— Ни слова, друг мой,— ответил я.

Первые признаки болезни появились у него еще год назад, во время проскрипций, и постепенно ему становилось все хуже и хуже. Несмотря на то что эскулапам, ходившим за ним, хорошо платили и даже угрожали лишить средств к жизни, если не ее самой, за разгла-

шение тайны, слухи о болезни Октавия все равно поползли по городу. От эскулапов (жуткий народ — и тогда и сейчас) толку было так мало, что можно было их и не приглашать совсем: они ни на что не годились, кроме как прописывать настойки из ядовитых трав и прикладывать холодные и горячие припарки. Он почти ничего не мог есть, и его не раз рвало кровью. Но чем больше слабел он телом, тем сильнее становился его дух. Больной, он еще менее щадил себя, чем когда был здоров.

— Антоний решил не спешить возвращаться в Рим, а остаться на Востоке в погоне за трофеями и личной властью,— сказал Октавий этим своим ужасным голосом.— Я дал ему свое согласие — я предпочитаю, чтобы он скорее грабил азиатов и египтян, чем римлян... Он, как мне кажется, ожидает, что я скоро умру, и, хотя очень надеется на такой исход, предпочитает быть вдали от Италии, когда это действительно произойдет.

Он откинулся на подушки, прикрыв глаза и тяжело дыша. После продолжительной паузы он снова собрался с силами и сказал:

— Расскажи мне, что происходит в городе.

— Отдыхай,— ответил я,— у нас еще будет полно времени на это, когда тебе станет лучше.

— Рассказывай,— потребовал он.— Пусть тело мое недвижно, разум мой еще жив.

Новости были плохие, но я знал, что он не простит мне попытки подсластить пилюлю.

— Лепид тайно сговаривается с Секстом Помпеем, намереваясь, как мне представляется, вступить с ним в союз против тебя или Антония — смотря кто окажется слабее. У меня имеются тому доказательства, но, боюсь, если мы предъявим их Лепиду, он станет уверять, что затевает это ради мира и спокойствия Рима... Из сражения при Филиппах Антоний вышел героем, а ты —

трусом. Эта свинья, супруга Антония, и его стервятник-брат распространяют слухи о том, что, мол, пока ты, дрожа от страха, прятался среди соляных болот, храбрый Антоний расправился с убийцами Цезаря. Фульвия выступает с речами перед солдатами, где утверждает, что ты и не думаешь выплачивать обещанную им Антонием награду; тем временем Луций колесит по провинции, будоража землевладельцев и землепашцев рассказами о том, что ты собираешься конфисковать их земли для поселения на них ветеранов. Ну что, продолжать дальше?

— Если это надо выслушать, я выслушаю,— чуть заметно улыбнувшись, прошептал он.

— Государство почти на грани банкротства; из тех немногочисленных налогов, которые Лепид способен собрать, лишь ничтожная часть поступает в казну, остальное идет самому Лепиду и, как говорят, Фульвии, которая, тоже по слухам, готовится заиметь свою собственную армию, сверх той, что уже есть у Антония. Твердых доказательств у меня нет, но, я думаю, это правда... Похоже, ничего хорошего тебя в Риме не ждет.

— По мне, даже шаткая позиция в Риме лучше полновластия на Востоке,— ответил он,— хотя я не сомневаюсь, что Антоний рассуждает по-другому. Он ожидает, что если я не умру от болезни, то трудности в самом Риме доконают нас. Но я не собираюсь ни умирать, ни пасть под бременем забот.

Затем он оторвался от подушек и сказал:

— У нас так много дел.

На следующий день, все еще очень слабый, он встал с постели, отмахнувшись от своей болезни как от незначительного пустяка.

Он сказал, что у нас много дел... Мой дорогой Ливий, даже твой замечательный труд — как может он передать

то стремительный полет, то медленное течение тех лет после Филипп, все победы и поражения, радости и огорчения, выпавшие на нашу долю? Нет, даже тебе это не по силам, и это только к лучшему. Впрочем, я уклонился от темы, и, хотя при этом не преминул похвалить тебя, ты все равно будешь меня ругать.

Ты попросил меня более детально рассказать о моих обязанностях на службе у императора, как будто моя скромная персона достойна упоминания в твоей истории — такой чести я определенно не заслуживаю. Тем не менее приятно, что меня помнят, даже притом что я давно удалился от общественных дел.

Итак, ты хочешь знать, что входило в мои обязанности при императоре... Должен признаться, что некоторые из них мне теперь представляются достаточно смехотворными, хотя тогда я конечно же так не думал. Например, сватовство. Ныне человек состоятельный и с претензиями, поощряемый нашим императором и его эдиктами, может свободно заключить брак на разумном основании, хотя слово «разумный» не совсем подходящее для такого странного и (как мне иногда кажется) неестественного союза. Все это было невозможно в те дни, о которых я рассказываю, во всяком случае в Риме, а также для тех, кто был на виду. Женились из расчета и политической необходимости — как это случилось со мной, хотя временами я находил компанию моей Теренции достаточно приятной.

Должен сказать, что я неплохо справлялся с этими обязанностями, но не могу не отметить, что ни один из устроенных мной браков не оправдал возлагавшихся на него надежд или хотя бы был необходим. Я всегда подозревал, что именно это обстоятельство позже подтолкнуло Октавия на то, чтобы ввести те не совсем удачные законы о браке, а вовсе не «моральные соображения», как ему приписывалось. Он часто попрекал

меня за мои советы в этих вопросах, ибо они с удручающей неизменностью были ошибочными.

Вот тебе наглядный пример — первый брак, который я устроил для него еще до образования триумвирата. Невесту звали Сервилия; она была дочерью того самого П. Сервилия Исавра, который в разгар выступлений Цицерона против Октавия после Мутины согласился выдвинуть свою кандидатуру в старшие консулы вместе с Октавием для противодействия Цицерону, и брак с его дочерью был нашей ему гарантией, что мы готовы оказать ему вооруженную поддержку, если в том будет необходимость. Однако вышло так, что Сервилий оказался совершенно не способен противостоять Цицерону, и толку от него совсем не было; в результате помолвка расстроилась.

Второй случай был еще более смехотворный: на этот раз это была Клодия, дочь Фульвии и падчерица Марка Антония. Помолвка между ней и Октавием стала одним из условий соглашения по триумвирату — таково было желание солдат, и мы не видели причины, по которой могли отказать им в этом капризе, каким бы бессмысленным он ни казался. Девочке было всего тринадцать лет, и она была так же безобразна, как и ее мать. Октавий виделся с ней дважды, если не ошибаюсь, и она так и не переступила порога его дома. Как ты прекрасно знаешь, брак этот нисколько не охладил пыла Фульвии и Антония — они по-прежнему продолжали плести интриги и заговоры, поэтому вскоре после Филипп, когда Антоний был на Востоке, а Фульвия открыто угрожала Октавию гражданской войной, нам надо было дать им ясно понять, что мы об этом думаем, и дело кончилось разводом.

Однако, как мне кажется, его третий брак, за который я целиком и полностью в ответе, вызвал у него наибольшее отвращение. Брак со Скрибонией был за-

ключен через год после развода с Клодией и случился в самое тяжелое для нас время, когда казалось, что мы неминуемо будем сметены или мятежами сторонников Антония в Италии, или вторжением Секста Помпея с юга. В отчаянной попытке заключить с последним союз, я отправился на Сицилию для переговоров — невозможная задача, ибо он был невозможный человек. Мне он казался несколько не в своем уме, повадками больше напоминая зверя, чем человека. Он преступил больше чем просто законы государства и был одним из тех немногих людей, которые вызывали во мне такое почти физическое отвращение, что я с трудом мог выносить их общество. Я знаю, мой дорогой Ливий, что ты в свое время восхищался его отцом, но ты не имел счастья встречаться ни с одним из них и уж точно не знаешь его сынка... И все же я встретился с Помпеем и добился от него, как мне казалось, соглашения, которое мы решили закрепить браком со Скрибонией, младшей сестрой его тестя. Скрибония, Скрибония... Она всегда представлялась мне типичным воплощением слабого пола: в ней уживались холодная подозрительность с прячущимся за маской вежливости дурным нравом, узость мышления — с эгоизмом. Удивительно, как мой друг вообще мог простить мне этот брак — может быть, потому, что он принес ему то, что он любит так же горячо, как он любит Рим,— дочь, его Юлию. Он развелся со Скрибонией в тот же самый день, когда родилась дочь, и остается лишь удивляться, как он мог еще раз решиться на брак. Но он снова женился, на этот раз без моего участия... Как позже выяснилось, брак со Скрибонией был с самого начала ошибкой: пока я вел переговоры с Помпеем, тот уже вовсю сговаривался с Антонием, и предполагаемый брачный союз был всего лишь уловкой, призванной развеять наши подозрения. Таковы были реальности политики в те

дни. Однако я должен сказать (хотя и не рискну повторить это в присутствии нашего императора), что, оглядываясь назад, я нахожу во всем этом и свою комическую сторону.

Лишь один случай моего сводничества до сих пор вызывает во мне чувство стыда; даже теперь я не могу с легким сердцем вспоминать о нем, хотя, пожалуй, большого вреда от этого не было.

Примерно в то же самое время, когда я вел переговоры с Помпеем и хлопотал о браке со Скрибонией, варвары-мавры, подстрекаемые Фульвией и Луцием Антонием, восстали против нашего наместника во Внешней Испании; наши полководцы в Африке, опять же по наущению Фульвии и Луция, затеяли войну друг с другом; Луций, под предлогом того, что его жизни угрожает опасность, повел свои (и Фульвии) легионы на Рим, где его встретил наш друг Агриппа и отогнал его в Перузию, жители которой (по большей части помпеянцы и республиканцы) горячо и охотно принялись помогать Луцию. Мы точно не знали, в какой мере во всем этом замешан Марк Антоний, несмотря на все наши подозрения; поэтому мы не решились воздать Луцию по заслугам из опасения, что, окажись мы не правы, Марк Антоний использует это обстоятельство в качестве предлога для нападения на нас с востока; если же мы правы, то он опять же ложно истолкует наши действия и обрушит на нас свою месть. В результате мы не стали наказывать Луция, но не пожалели тех, кто помогал ему, предав самых закоренелых изменников смерти и отправив в ссылку менее опасных. Остальных жителей мы отпустили с миром, даже возместив им потерю имущества вследствие осады Перузии. Среди попавших в опалу (и это, мой дорогой Ливий, придется по нраву твоему подчас слишком ироничному уму) был и некто Тиберий Клавдий Не-

рон, которому было позволено удалиться на Сицилию со своим новорожденным сыном Тиберием и молодой женой Ливией.

Во время всех этих тревожных событий в Италии мы не переставали слать Антонию письма, сообщая о действиях его жены и брата и пытаясь выяснить его роль во всех этих беспорядках; и, хотя гонцы доставляли от него письма, ни в одном из них он и намеком не дал понять, что наши послания дошли до него. В самое отчаянное для нас время — зимой — мы писали ему особенно часто, но возможно, из-за того, что почти все морские проходы были для нас закрыты, он не получил наших отчаянных писем. Так или иначе, весна и часть лета прошли, а мы по-прежнему пребывали в неведении относительно его истинных намерений; и вдруг пришло срочное послание из Брундизия о том, что корабли Антония приближаются к его гавани, а флот Помпея спешит присоединиться к нему с севера и что еще раньше, за несколько месяцев до этого, Фульвия отплыла в Афины к мужу.

Мы не знали, чего ожидать, но выхода у нас не было: несмотря на то что наши легионы были разбросаны, занятые защитой границ от многочисленных врагов и подавлением мятежей внутри страны, мы с остававшимися в нашем распоряжении небольшими силами выступили в Брундизий, с опаской ожидая, что Антоний успел высадиться и идет нам навстречу. По дороге нам стало известно, что жители Брундизия не позволили кораблям Антония бросить якорь в их гавани; посему мы решили встать лагерем и ждать дальнейшего развития событий. Если бы Антоний напал на нас тогда со всеми своими силами, нам, без сомнения, было бы несдобровать.

Но он не стал нас атаковать, как, впрочем, и мы его. Наши воины были плохо вооружены и страдали от

недоедания; солдаты Антония, с другой стороны, были измотаны походами, и их единственным желанием было увидеть свои семьи в Италии. Стоило той или другой стороне попытаться послать войска в бой, и мятежа было бы не миновать.

И вот однажды наш соглядатай в лагере Антония принес нам удивительные вести: Антоний и Фульвия смертельно поссорились в Афинах; Антоний покинул город вне себя от ярости, а Фульвия скончалась неожиданным и загадочным образом.

Мы стали подбивать наших самых проверенных воинов вступить в переговоры с воинами из противного лагеря, и вскорости поручители от той и другой стороны встретились с предводителями противостоящих войск и потребовали, чтобы Октавий и Антоний снова похоронили свои разногласия и предотвратили очередное братоубийство.

И вот оба предводителя встретились, и войну удалось предотвратить. Антоний уверял, что Фульвия и его брат действовали без его ведома, а Октавий резонно указывал на то, что не стал пытаться им отомстить из уважения к их родственным связям с Антонием. Был подписан договор, объявлена всеобщая амнистия всем врагам Рима и достигнуто соглашение о браке между Антонием и Октавией, старшей сестрой нашего императора, овдовевшей всего несколько месяцев назад и оставшейся одна с младенцем — сыном Марцеллом. Все переговоры относительно этого брака вел я.

Мой дорогой Ливий, ты знаешь мое мнение о слабом поле, но в этом случае даже я почти готов поверить, что мог бы лучше относиться к женщинам, если бы среди них было побольше таких, как Октавия. Я восхищался ею тогда и не перестаю восхищаться ею до сих пор. Нежная и бесхитростная, красивая внешне, она была одной из всего двух известных мне женщин,

которые могли похвастаться хорошим знанием и глубоким пониманием философии и поэзии. Другая — это конечно же дочь Октавия Цезаря, Юлия. Октавия, как ты сам понимаешь, была не просто игрушкой в руках мужчин. Мой старый друг Атенодор говорил, что, будь она мужчиной и не такой умной, она могла бы стать великим философом.

Я присутствовал при том, когда Октавий объяснял необходимость этого шага своей сестре, которую он сам очень любил, как тебе известно. Он не смел поднять на нее глаза во все время разговора, но Октавия лишь мягко улыбнулась и сказала:

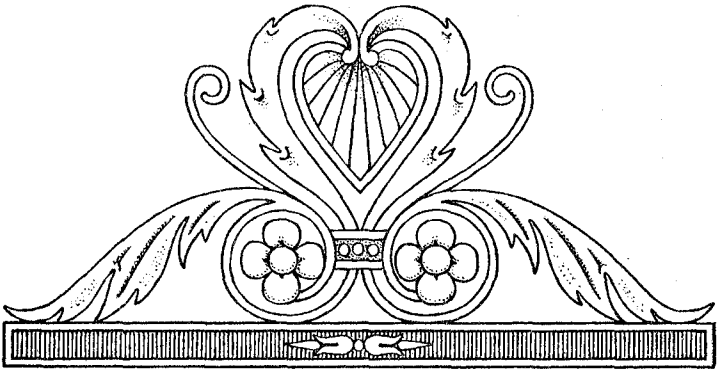
— Надо так надо — постараюсь быть примерной женой Антонию и останусь хорошей сестрой тебе.

— Это необходимо ради блага Рима,— проговорил Октавий.

— Ради всех нас,— ответила его сестра.

Пожалуй, это и вправду было необходимо: мы надеялись, что этот брак может принести нам прочный мир, и знали, что по меньшей мере он даст нам несколько лет передышки. Но должен тебе признаться, меня до сих пор терзают сожаление и печаль, когда я думаю об этом,— ей, должно быть, пришлось весьма несладко.

Впрочем, вышло так, что Антоний оказался довольно непостоянным супругом — надеюсь, это несколько облегчило ее незавидное положение. Тем не менее она ни разу не помянула Марка Антония плохим словом, даже по прошествии многих лет.



Глава 5

I

Письмо: Марк Антоний — Октавию Цезарю
из Афин
(39 год до Р.Х.)

Антоний — Октавию, мои приветствия. Я не знаю, чего еще тебе нужно от меня: я отрекся от своей покойной жены и погубил карьеру брата лишь потому, что их поведение вызвало твое неудовольствие; для укрепления нашего совместного правления я женился на твоей сестре, которая, хоть и неплохая жена, тем не менее не в моем вкусе; в доказательство своих честных намерений я отослал Секста Помпея со всем его флотом обратно на Сицилию, хотя, как тебе хорошо известно, он готов был поддержать меня в случае войны между нами; в целях дальнейшего укрепления твоей власти я согласился лишить Лепида всех его провинций, за исключением Африки; вскоре после женитьбы на твоей сестре я даже согласился принять сан жреца обожествленного Юлия Цезаря, хотя по сю пору нахожу это весьма странным — быть жрецом культа своего старого друга, с которым мы вместе пьянствовали и

распутничали; к тому же это принесло больше пользы тебе, чем мне; и наконец, я добровольно покинул родину для сбора на Востоке средств, чтобы обеспечить нашей власти будущее, а также навести хоть какой-то порядок в наших восточных провинциях, ввергнутых в хаос. Как я уже сказал, я не знаю, чего еще тебе нужно.

И если я позволил грекам делать вид, что они принимают меня за возрожденного Вакха* (или Диониса, если тебе это больше нравится), то лишь затем, чтобы использовать их любовь ко мне для управления ими. Ты укоряешь меня тем, что я «прикидываюсь греком», и осуждаешь за то, что я согласился предстать живым воплощением Вакха на празднествах в честь Афины-Паллады*; но должен тебе сообщить, что, сделав это, я, со своей стороны, настоял, чтобы божественная Афина принесла мне приданое, тем самым пополнив казну в гораздо большей степени, чем посредством налогов, а заодно избежал недовольства местного населения, которое неизбежно вызвали бы дополнительные налоги.

Что касается вопроса о Египте, который ты так деликатно затронул, то могу сказать тебе следующее: во-первых, я и вправду принял к себе на службу отдельных подданных царицы — это поможет мне в моих делах и, кроме того, это необходимо из соображений дипломатии. Впрочем, даже если бы я решился на это только из прихоти, я не вижу причин для твоих возражений; с Аммонием ты лично знаком, ибо он был другом твоему покойному дяде (или отцу, если тебе так теперь угодно) и служит мне столь же верно, как служил Юлию и своей царице; что же касается Эпимаха, которого ты называешь «обычным гадателем», то это лишь свидетельствует (да простится мне такая вольность) о твоем полном незнании Востока. Этот «простой гадатель» — необычайно важная фигура: он вер-

ховный жрец Гелиополиса, земное воплощение Тота* и хранитель магических книг. Он играет гораздо более значительную роль, чем любой из наших так называемых жрецов; кроме того, он оказывает мне полезные услуги, и к тому же я нахожу его весьма занятным.

Во-вторых, я никогда не делал секрета из моих отношений с царицей два года назад в Александрии. Но должен напомнить тебе, что то было два года тому назад, задолго до того, как кто-либо из нас мог предположить, что однажды я стану твоим зятем. И нет никакой необходимости раздувать историю с близнецами, которыми Клеопатра одарила меня; мои или не мои — не имеет значения, ибо всем известно, что у меня имеются дети по всему миру, и эти двое значат для меня не больше и не меньше всех остальных. Когда у меня появляется свободное время, я нахожу отдых от трудов в развлечениях, которым предаюсь где и когда хочу, и вовсе не собираюсь отказываться от этой привычки. По крайней мере, мой дорогой зять, я не пытаюсь скрывать свои пристрастия под маской лицемерного благочестия. Что же до твоих собственных похождений, то должен тебе сказать, они совсем не такая уж тайна, как тебе думается.

Ты плохо меня знаешь, если всерьез думаешь (при условии, что это не поза), что моя связь с Клеопатрой имеет хоть какое-то отношение к моему признанию ее владычества над Египтом. И если это на пользу мне, то, без сомнения, это выгодно и тебе. Египет — богатейшая из всех восточных стран, и его казна всегда будет открыта для нас в случае надобности. Кроме того, это единственная держава на Востоке, имеющая хоть какое-то подобие армии, и по крайней мере часть этой армии будет в нашем распоряжении. И наконец, последнее: проще иметь дело с одним сильным монархом, чувствующим (или чувствующей) себя более или менее

уверенно на своем троне, чем с полудюжиной слабых, опасающихся в любой момент потерять свою власть.

Надеюсь, ты достаточно умен, чтобы понять это, как и многое другое.

И можешь не рассчитывать, что я приму условия игры, в которую ты играешь.

II

Письмо: Марк Антоний — Гаю Сентию Таву (38 год до Р.Х.)

Мальчишка и наглый лицемер! Я даже не знаю, что мне делать — смеяться или сердиться: смеяться над его лицемерием или сердиться на то, что может скрываться за ним.

Неужели он полагает, что я, сидя здесь, в Афинах, не получаю сведения обо всем, что происходит в Риме? Меня нимало не занимают его собственные делишки, и я не имею привычки напускать на себя вид оскорбленной добродетели, как это свойственно ему. Он может разводиться со всеми этими Скрибониями сколько его душе угодно, даже в тот самый день, когда она рожает ему дочку (зная Скрибонию, можно с уверенностью сказать, что это его дочь); буквально через неделю после этого он может взять себе другую жену, к тому времени беременную ребенком своего бывшего мужа, вызвав тем самым публичный скандал (помимо других, более частных, о которых ты мне сообщаешь),— и не услышит от меня ни слова осуждения; по мне, он может быть сколь угодно эксцентричным в своих личных пристрастиях.

Но я хорошо знаю моего вновь приобретенного «родственника» — он ничего не делает под влиянием минуты или каприза; это такое хладнокровное существо, что порой невозможно не восхищаться им.

Всем ясно, что его развод со Скрибонией означает разрыв отношений с ее родственником Секстом Помпеем. Как это понимать? Почему со мной никто не посоветовался? Значит ли это, что мы пойдем войной против Помпея? Или Октавий собирается расправиться с ним в одиночку?

А эта его новая жена, Ливия? Ты говоришь, Октавий когда-то выслал ее мужа из Италии за его республиканские взгляды и участие в перузийском мятеже. Значит ли его новый брак, что он снова пытается заигрывать с партией республиканцев? Трудно сказать, что за этим всем скрывается... Пиши почаще, Сентий, держи меня в курсе событий — нынче так мало кому можно верить. Жаль, я сам не могу быть в Риме — мне нельзя бросить свои дела здесь.

Я постоянно пытаюсь убедить себя, что моя жизнь, как она есть сейчас, стоит того. Моя нынешняя жена холодна и благопристойна не на словах, как ее братец, а на деле. И хотя я по-прежнему нахожу развлечения то здесь, то там, мне приходится быть до такой степени осторожным, что все удовольствие практически сводится на нет. Каждый день меня так и тянет выставить ее за ворота, но у меня нет на то веской причины, к тому же она беременна, и, кроме того, развод с ней сейчас приведет к разрыву с ее братом, чего я позволить себе не могу.

III

Эпимах, верховный жрец Гелиополиса — Клеопатре, живому воплощению Изиды и царице обоих миров Египта: выдержки из донесений (40—37 годы до Р.Х.)

Приветствую вас, достопочтенная царица. Сегодня Марк Антоний и Октавий Цезарь метали кости — сначала развлечения ради, а потом Марк Антоний отчаянно

пытался отыграться. Все три часа он постоянно проигрывал — примерно из каждых четырех бросков лишь один приносил победу ему. Октавий остался весьма доволен, Антоний — раздражен. Я гадал на песке, затем, погрузившись в транс, поведал им историю Эврисфея* и Геракла, который вынужден был прислуживать Эврисфею по злокозненности богов. Предположим, в своем следующем письме к нему вы невзначай упомянете о том, что вам приснился сон, будто ему пришлось заниматься неким унизительным делом для кого-то более слабого и недостойного, чем он сам. Я был серьезен и важен, а вы должны быть шутливы и легковесны.

Мои гадания не помогли — он женился на Октавии, сестре своего врага, уступив пожеланиям черни и легионеров.

Посылаю вам две восковые фигурки; найдите во дворце уединенную комнату с одной дверью, поставьте фигурку Антония в той части комнаты, где расположен вход, а фигурку Октавии — в противоположном конце. Все это вы должны проделать своими руками, без посторонней помощи. Затем возведите между ними толстую глухую стену от пола до самого потолка. Каждый день на восходе и на закате мой жрец Эпиктет будет произносить заклинания, оставаясь за пределами комнаты,— он знает, что делать.

Мы едем в Афины с Октавией, которая ждет ребенка и должна разрешиться через три месяца. Я подарил Антонию пару похожих как две капли воды борзых, которых он выставлял на бегах и безумно к ним привязался. В день рождения ребенка Октавии я сделаю так, чтобы они вдруг исчезли без следа. Через две-три недели вы должны написать ему о сне, в котором вы видели его близнецов.

Ребенок Октавии оказался девочкой, так что он попрежнему остается без наследника. Бог солнца покорился нашей воле и внял нашим просьбам.

Он ссорится с Октавием; Октавия примиряет их, взяв сторону мужа. Подозрения Антония относительно ее почти совсем исчезли, и, похоже, он как бы нехотя, но любит ее, несмотря на то что она выводит его из себя своим спокойствием и невозмутимостью. Продолжает ли Эпиктет исправно произносить заклинания, как вы наказали ему?

Ему приснился сон, в котором он видел себя привязанным к кровати в охваченном огнем шатре; воины его армии проходили мимо и никак не откликались на его призывы о помощи, как будто не слышали их. Наконец ему удалось разорвать путы, но вокруг него бушевало такое пламя, что он не знал, куда бежать. Он проснулся, объятый страхом, и позвал меня.

После трех дней поста я дал ему толкование его сна: огонь — это заговоры против него в Риме, раздуваемые и поощряемые Октавием Цезарем; то, что он был в шатре, раскрывает, во-первых, его положение (он не имеет постоянного и надежного места в римском мире) и, во-вторых, его природу (воина); путы, связывающие его, указывают на то, что своим бездействием он пошел против собственной природы и позволил себе растерять свою силу и потому не способен противостоять плетущимся против него интригам и превратностям судьбы; то, что солдаты не слышали его призывов, говорит о том, что, изменив себе, он утерял власть над своими людьми и что он, строго говоря, человек дела, а не болтун, и люди склоняются перед его поступками, а не словами.

Он погружен в размышления и пристально смотрит на карты. Я храню молчание, но полагаю, он опять

подумывает о походе на парфян. Для этого, как ему станет известно, он нуждается в вашей помощи. Осторожно дайте понять, что она будет ему предоставлена. Таким образом, вы снова вовлечете его в наше дело, к вящей славе Египта.

IV

Письмо: Клеопатра — Марку Антонию из Александрии (37 год до Р.Х.)

Мой дорогой Марк, прости мне мое долгое молчание, как я простила твое. И еще прости меня за то, что я обращаюсь к тебе как женщина, а не как царица Египта — твой верный союзник, всегда готовый прийти тебе на помощь. Последние несколько месяцев я была тяжело больна и потому не желала донимать тебя своими сетованиями. Я знаю — я не должна бы писать тебе, но мое слабое сердце переборoло во мне царицу.

Сон бежит меня, жестокая лихорадка отнимает последние силы, и даже искусство моего врача Олимпа ничем не может мне помочь. Я почти ничего не ем, и темное отчаяние, словно змея, медленно заползает в опустошенную душу.

О Марк, как это все, должно быть, тебе в тягость! Но мне известна твоя доброта, и я верю, что ты будешь снисходителен к слабостям твоей давней подруги, которая часто думает о тебе и бережно хранит в своей памяти так много дорогих ее сердцу воспоминаний.

И вполне возможно, что именно эти воспоминания, более чем совет Олимпа, убедили меня предпринять поездку из Александрии в Фивы. Олимп утверждает, что в тамошнем храме верховный бог Амон-Ра* излечит меня от болезни и вернет мне силы. Ты, бывало, насмехался над моим поклонением египетским богам —

возможно, ты был прав в этом, как и во многом другом, ибо я уже была готова пренебречь советом врача, когда вдруг вспомнила (как далеко это теперь кажется!), как однажды весной ты и я вместе плыли вниз по Нилу, возлежа рядом на подушках и любуясь тянущимися мимо плодородными берегами, которые овевал прохладный речной ветерок; селяне и пастухи опускались перед нами на колени, и даже стада коз и коров, казалось, почтительно застывали, и животные, подняв головы, провожали нас долгими взглядами. А потом был Мемфис, где в нашу честь устраивались бои быков, и Гермополис, и Ахетатон, где мы были богом и богиней, Осирисом и Изидой. А затем Стовратые Фивы, дни в полудреме и неистовые ночи...

Даже возвратясь на мгновение памятью в то время, я тут же почувствовала прилив сил; посему я уведомила Олимпа, что последую его совету и посещу храм Амона-Ра в Фивах. Но если мне суждено выздороветь, за это нужно скорее благодарить те живительные воспоминания, которые разбудит во мне это путешествие, воспоминания, дороже которых у меня ничего нет.

V

Письмо: Марк Антоний — Октавию Цезарю
(37 год до Р.Х.)

Ты нарушил наш договор с Секстом Помпеем, договор, который я скрепил своим словом; ходят слухи, что ты намерен пойти на него войной, хотя мне ничего доподлинно об этом не известно; ты строишь козни в попытке очернить мое доброе имя, хотя я не сделал ни тебе, ни твоей сестре ничего плохого; ты стремишься лишить меня даже той небольшой поддержки, какую я имею в Италии, хотя я, верный своим обязательствам,

уступил тебе почти всю власть, которой ты нынче владеешь; короче, на мою преданность ты ответил предательством, на честность — вероломством, а на щедрость — своекорыстием.

Ты можешь делать что хочешь в Риме — меня это больше не заботит. Когда мы оба согласились на продление срока действия триумвирата в начале года, я надеялся, что мы сможем наконец найти общий язык. Однако этого не произошло.

Высылаю тебе твою сестру с ее детьми. Можешь сказать ей, что больше она ко мне не вернется. Хотя она и достойная женщина, я не хочу иметь ничего общего с твоим семейством. Что касается развода, то я оставляю это целиком на твое усмотрение — я знаю, ты поступишь так, как выгодно лично тебе. Но меня это уже не волнует.

Я не собираюсь хитрить с тобой — на то у меня нет нужды; я не боюсь ни тебя, ни твоих интриг.

Этой весной я начинаю парфянскую кампанию без обещанных тобой легионов, которых я так и не дождался. Я вызвал в Антиохию Клеопатру, которая предоставит необходимые мне войска.

И если Рим задохнется в путах интриг, коими ты оплел его, то Египет расцветет в славе и могуществе, которые я принесу ему. Я отдаю тебе труп, а что до меня, то я предпочитаю живое тело.

VI

Письмо: Марк Антоний — Клеопатре
(37 год до Р.Х.)

Императрица Нила, царица вечноживущих солнц и моя возлюбленная подруга, я посылаю это письмо с Фонтеем Капитоном, которому я строго наказал пере-

дать его тебе лично в руки. Можешь доверять ему как мне самому; он ответит на все твои вопросы относительно того, о чем не упоминается в письме. Я, как ты не раз мудро отмечала, человек дела, а не слова.

Посему слова мои не в силах передать ни то чувство отчаяния, которое я испытал, узнав о твоей болезни, ни радости, пришедшей на смену печали, при вести о том, что на обратном пути из Фив (мы оба хорошо помним эту дорогу) твое здоровье вернулось к тебе, как птица возвращается в родное гнездо. Ты удивляешься, откуда мне это известно? Должен признаться — среди твоих приближенных у меня есть немало благожелательных соглядатаев, которые из любви к нам обоим и из уважения к моим чувствам оповещают меня о состоянии твоего здоровья. Несмотря на то что обстоятельства не позволяют нам быть вместе, мои чувства к тебе нисколько не изменились; и если порой я долго не писал тебе, то лишь потому, что это пробуждает во мне воспоминания о прошедшем счастье, болью отдающиеся в моем сердце.

Фонтей поведает тебе о том, что я наконец словно очнулся от дурного сна. О мой дорогой котеночек и моя царица, если бы ты знала, чего мне стоит наша столь долгая разлука! Конечно, ты знаешь — и мне это известно. Я помню, ты рассказывала мне, как безутешна ты была, когда, будучи еще совсем девочкой, ради сохранения династии ты была отдана твоим отцом замуж за своего младшего брата, чтобы произвести на свет сыновей для продолжения рода Птолемеев. Но твое женское начало восторжествовало; и как Изида должна однажды стать женщиной, так и Геракл должен стать мужем — слишком обременительно все время оставаться богом и богиней, царем и царицей.

Не соизволишь ли ты поехать в сопровождении Фонтея в Антиохию, где я с нетерпением буду ждать

тебя? Даже если любовь твоя ко мне осталась в прошлом, я все равно хотел бы увидеться с тобой, чтобы удостовериться в твоем благополучии. Мы можем обсудить некоторые государственные дела, если тебя больше не занимают любовные. Приди ко мне, хотя бы просто из уважения к нашему общему прошлому.

VII

Воспоминания Марка Агриппы — отрывки
(13 год до Р.Х.)

После битвы при Филиппах триумвир Антоний, преследуя свои цели, остался на Востоке, поэтому залечивать раны, нанесенные междоусобицами, и восстанавливать порядок в Риме и в Италии пришлось Октавию Августу, который уверенно шел по избранному им пути, невзирая на измены своего коллеги по триумвирату Антония: так, в Перузии армии под моим командованием подавили мятеж, поднятый братом Антония Луцием, которому Цезарь Август милостиво сохранил жизнь, несмотря на всю тяжесть его преступления.

Но среди всех преград, лежавших на пути Цезаря Августа к миру и порядку, без которых спасение Рима было невозможно, самой серьезной была угроза, исходящая от изменника и пирата Секста Помпея, незаконно захватившего острова Сицилия и Сардиния и корабли которого беспрепятственно бороздили моря, грабя и уничтожая торговые суда, доставляющие зерно, необходимое для выживания Рима. Так велик был урон, наносимый хищническими набегами Секста Помпея, что город оказался на грани голода; в страхе и безысходности чернь бесчинствовала на улицах единственно затем, чтобы отогнать заползающее в сердце отчаяние. Цезарь Август, проникшись сочувствием к страданиям

народа, предложил Помпею условия мира, ибо мы были недостаточно сильны, чтобы встретиться с ним на поле битвы. Был подписан договор, и некоторое время зерно снова поступало в Рим. Я между тем был послан в Трансальпинскую Галлию, где должен был подготовить галльские легионы для выступления против участившихся вылазок племен варваров перед тем, как вернуться в Рим консулом на следующий год.

Но едва соглашение было подписано, как Секст Помпей начал сговариваться с Антонием, и вскоре договор был разорван, и Секст возобновил свои пиратские набеги. В конце того года Цезарь Август вызвал меня обратно в Рим; ради спасения голодающего города мы стали готовиться к войне — у нас просто не было другого выхода.

Военный гений Рима живет на земле, на твердой почве,— римлянин никогда не чувствовал себя вполне уверенно на воде. Но мы знали, что если нам суждено одолеть Помпея, то это должно случиться на море, ибо для него, как и для всех противоестественных созданий, море было родной стихией, где он будет по-прежнему рыскать, даже если мы отнимем у него захваченные им земли. Цезарь Август и сенат назначили меня главнокомандующим морскими силами Рима и поручили мне — впервые в римской истории — создать грозный и внушительный флот. По моему приказу было построено около трехсот кораблей вдобавок к тем немногим, что уже имелись у нас; Цезарь Август дал свободу двадцати тысячам рабов в обмен на верную службу на его флоте. Так как мы были лишены возможности практиковаться в открытом море — часто на горизонте у берегов Италии можно было видеть зловещие силуэты кораблей Помпея,— я распорядился прорыть глубокий канал, соединивший Лукринское и Авернское озера у Неаполиса, а затем протянуть до самого моря, предварительно вымо-

стив, Дорогу Геркулеса (построенную, как говорят, самим Геркулесом). Так образовался залив, теперь называемый Юлиевой гаванью в честь моего друга и командира.

В этом заливе, защищенном со всех сторон от непогоды и неприятельских кораблей, в течение всего года моего консульства и часть следующего я готовил флот к встрече лицом к лицу с закаленными в боях пиратами Помпея. Наконец к лету мы были готовы.

В первый день месяца, недавно названного в честь божественного Юлия, мы отплыли на юг в сторону Сицилии, где к нам должны были присоединиться корабли Антония с востока и Лепида — с севера. Нас порядком потрепали не по времени года жестокие шторма, в которых мы потеряли часть кораблей; и в то время как флоты Антония и Лепида прятались в укрытии, римский флот под командованием Августа и моим смело шел вперед наперекор бурям; и вот несколько позже, чем было рассчитано, мы встретились с кораблями противника при Милах у северного побережья Сицилии и нанесли им такой сокрушительный удар, что им пришлось спасаться на мелководье, где мы не могли их достать; затем мы обступили город Милы, откуда пираты черпали свои запасы.

Не готовые к встрече со столь грозной силой, корабли Помпея дрогнули под нашим натиском; с помощью абордажных крюков моего изобретения мы сумели захватить множество кораблей — даже больше, чем потопили,— и присоединили их к нашему флоту. После того как мы завладели прибрежными крепостями Гиера и Тиндар, Помпей решил, что, если он не сможет одержать решительную победу на море и уничтожить наш флот, все прибрежные укрепленные города, снабжавшие его флот, перейдут в наши руки и тогда для него все будет потеряно.

Он выставил против нас весь свой флот, заняв выгодную позицию перед портовым городом Навлохом, который мы должны были взять прежде, чем закрепиться в Милах — первой крепости, захваченной нами и располагавшейся в нескольких милях к югу от Навлоха.

При всем своем умении и опыте Помпей ничего не мог поделать с нашими более тяжелыми кораблями, и, хотя его суда были гораздо маневренней, ему ничего другого не оставалось, кроме как пытаться лишить нас весел; при этом он потерял больше своих кораблей, чем повредил наших. В общей сложности было потоплено двадцать восемь кораблей Помпея вместе с людьми, остальные или были захвачены, или так сильно повреждены, что уже ни на что не годились. Лишь семнадцати кораблям из всего флота удалось спастись; в самом жалком состоянии они отошли на восток, унося с собой Секста Помпея.

Некоторые говорят, что Помпей ушел на восток в надежде присоединиться там к Антонию и снова натравить его на Цезаря Августа; другие — что он хотел вступить в союз с варваром Фраатом, правившим Парфией, который вел войну против наших восточных провинций. В любом случае он обосновался в провинции Азия, где вернулся к своим прежним занятиям — грабежу и разбою, пока не был схвачен центурионом Титием (которому он когда-то сохранил жизнь) и предан казни как самый обычный разбойник. Так было наконец покончено с пиратством на морях, омывающих Италию.

После всех этих нелегких битв нашим воинам еще предстояло покорить другие прибрежные города Сицилии, служившие Помпею опорными базами, главным из которых была Мессина, где размещалась основная часть сухопутной армии Помпея. Согласно приказу Цезаря Августа, мы должны были блокировать город с моря и

ожидать его прибытия для решающей битвы, если до этого дойдет дело. Но к этому времени в Мессину наконец прибыли корабли триумвира Лепида, не принимавшие участия ни в одном из сражений с Помпеем; и несмотря на то что я лично передал ему приказ Цезаря Августа, Лепид вступил в переговоры с комендантом города; полный сил после своего безмятежного путешествия в Африку, он заявил, что данной ему властью снимает с меня обязанности командующего силами Рима и что он уже договорился о сдаче легионов Помпея в Мессине, потребовав от них присягнуть ему на верность, после чего присоединил их к уже имеющимся у него легионам. Измученные и разуверившиеся, мы ждали прибытия Цезаря Августа.

VIII

Приказ по войскам
(сентябрь, 36 год до Р.Х.)

Кому: Плинию Руфу, военному командующему легионами Помпея в Мессине.

От: Марка Эмилия Лепида, императора и триумвира Рима, правителя Африки и главнокомандующего африканскими легионами, консуляра и верховного понтифика римского сената.

На предмет: Сдача легионов Помпея на Сицилии.

Передав в мою единоличную власть легионы побежденного Секста Помпея, ты должен известить командиров и солдат, бывших под твоим началом, о том, что:

1) им даровано прощение за все преступления против законной власти Рима, совершенные до настоящего дня, и что они не понесут наказания ни по моей воле, ни по воле кого-либо другого;

2) они не должны вступать в переговоры или контакт с командирами и солдатами легионов, не находящимися под моим началом;

3) данной мне властью им гарантируется безопасность и благополучие, при этом они не должны подчиняться ничьим приказам, кроме как моим или назначенных мною командиров;

4) они могут свободно общаться с воинами моих легионов и считать себя братьями по оружию, а не врагами;

5) Мессина как покоренный город предоставляется в их распоряжение для личного обогащения на тех же основаниях, что и солдатам моих легионов.

IX

Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию
(13 год до Р.Х.)

Мой дорогой Ливий, сегодня я получил известие о том, что Марк Эмилий Лепид скончался в Цирцеях, где доживал свой век в ссылке и, как я полагаю, в бесславии последние двадцать четыре года. Он был нашим врагом, но после стольких лет смерть старого врага как-то странно похожа на смерть старого друга. Я огорчен, как и наш император, который принес мне эту весть. Он сказал, что позволит публичные похороны Лепида в Риме, как в старину, если его родственники того пожелают. И вот после стольких лет Лепид наконец вернется в Рим и восстановит свое доброе имя, которого лишился в тот роковой день на Сицилии, почти четверть века тому назад...

Я вдруг подумал, что совсем не писал тебе об этом. Еще неделю назад я, без сомнения, повел бы этот рассказ в шутливом тоне, как об одном из трагикомичес-

ких эпизодов нашего прошлого. Но смерть Лепида представляет все эти события в совсем ином свете, и воспоминания мои почему-то окрашены грустью.

После продолжительной, изматывающей и кровавой войны пират Секст Помпей был разбит силами флота и армии под командованием Марка Агриппы и Октавия и якобы с помощью Лепида. Этот последний совместно с Агриппой должен был блокировать город Мессину на побережье Сицилии, чтобы лишить разметанный флот Помпея безопасного рейда для починки кораблей, поврежденных в битвах с Агриппой и Октавием. Но комендант города, некто Плиний, узнав о поражении Секста, повиновался приказу Лепида и сдал город и восемь легионов Помпея без борьбы. Лепид принял сдачу и, невзирая на протесты Агриппы, взял легионы под свое командование, после чего отдал город на разграбление как Помпеевым, так и своим солдатам, город, который добровольной сдачей вверил себя и своих жителей его покровительству.

Как ты сам понимаешь, дорогой Ливий, война никогда не бывает приятной и в ходе ее нельзя не ожидать жестокости со стороны солдат. Агриппа и Октавий вошли в город после ночи грабежей; я очень мало что мог узнать от Агриппы, а что касается нашего императора, то он никогда не упоминал об этих событиях.

Дома как богатых, так и бедных без всякого разбора или причины были преданы огню; сотни невинных жителей, единственное преступление которых заключалось в том, что они имели несчастье жить в городе, оккупированном легионами Помпея,— старики, женщины и даже дети — были безжалостно убиты или замучены до смерти солдатами. Агриппа рассказал мне, что даже на следующее после резни утро, когда он и Октавий въехали в город, их встретили стоны раненых и предсмертные вопли умирающих.

И когда наконец наш император сошелся лицом к лицу с Лепидом, предварительно отослав многих из своих людей позаботиться о многострадальных жителях Мессины, он был настолько убит горем, что не мог вымолвить ни слова; и этот несчастный глупец Лепид, ошибочно приняв его молчание за знак слабости и упоенный своим, как казалось, неоспоримым могуществом, приобретенным благодаря двадцати двум хорошо отдохнувшим и откормленным легионам, в самых презрительных и угрожающих тонах надменно потребовал от своего соратника по триумвирату немедленно покинуть Сицилию, заявив, что если Октавий хочет остаться триумвиром, то должен удовлетвориться одной Африкой, которую он, Лепид, готов ему уступить. Это была поразительная речь...

Бедный Лепид — как же он заблуждался! Наш император ничего не ответил на его смехотворное требование.

На следующий день в сопровождении Агриппы и всего шести телохранителей он отправился в город, где с небольшого местного форума обратился к воинам Лепида и бывшим солдатам Секста Помпея с речью, в которой сказал, что все обещания Лепида ничего не стоят без его, Октавия, одобрения и что им грозит опасность потерять поддержку Рима, если они последуют за ложным вождем. Он носил имя Цезаря, и этого, пожалуй, было бы вполне достаточно, чтобы заставить солдат прислушаться к голосу разума, даже если бы Лепид не совершил свою роковую ошибку: один из телохранителей Лепида прямо у него на глазах поднял руку на нашего императора, который избежал тяжелого ранения или даже смерти лишь благодаря тому, что его охранник пожертвовал собственной жизнью, загородив его собой от направленного в него копья.

По словам Агриппы, когда мертвое тело стражника упало у ног императора, странная тишина повисла над

форумом и даже подручные Лепида застыли на месте, не решаясь воспользоваться своим преимуществом. Октавий с грустью посмотрел на тело павшего воина, затем поднял глаза на стоящую перед ним толпу и сказал тихо, но так, что его слышал каждый солдат:

— И вот по прихоти Марка Эмилия Лепида еще один храбрый и преданный римский воин, не причинивший зла никому из своих собратьев, пал на чужой земле.

Он приказал остальным телохранителям поднять тело своего товарища и на руках вынести его с форума; сам он шел впереди, один, без охраны, как на похоронах, и солдаты расступались перед ним, как колосья под порывом ветра.

После этого один за другим легионы Секста Помпея стали покидать Лепида и присоединяться к нашему войску, стоявшему за пределами города; за ними последовали и легионы самого Лепида, тем самым выразив свое презрение к его нерешительности и бездарности, оставив своего командира беспомощным в стенах города, с жалкой кучкой верных ему солдат.

Лепид, должно быть, ожидал, что его тут же схватят и казнят, но Октавий ничего не предпринимал против него. Другой на месте Лепида покончил бы с собой, но он этого не сделал. Более того, он послал Октавию гонца с просьбой о прощении и умолял сохранить ему жизнь. Октавий согласился с одним лишь условием.

И вот ясным и прохладным осенним утром Октавий приказал собраться всем трибунам и центурионам легионов Марка Эмилия Лепида и Секста Помпея, а также своих легионов на форуме Мессины, где Лепид должен был публично просить пощады.

Его редкие седые волосы раздувал ветер. В простой тоге без знаков отличия, один, без сопровождения, он медленно пересек форум и поднялся на трибуну, где

стоял Октавий. Здесь он опустился на колени и попросил прощения за свои преступления, а затем публично отрекся от всех своих притязаний. Агриппа говорил, что лицо его при этом больше походило на маску, таким бледным и застывшим оно было, а голос безжизненным, как у впавшего в глубокий транс.

Наконец Октавий объявил:

— Этот человек прощен и может идти с миром; никто не смеет поднять на него руку. Он будет выслан из Рима, но останется под его покровительством; он лишается всех своих титулов, за исключением титула верховного понтифика, который лишь боги могут отнять у него.

Не произнеся больше ни слова, Лепид поднялся с колен и удалился прочь. Агриппа сообщил мне любопытную подробность: провожая взглядом удаляющуюся фигуру Лепида, он заметил Октавию:

— Ты обрек его на худшие страдания, чем сама смерть.

— Возможно,— улыбнувшись, ответил тот.— Но не исключено, что я подарил ему нечто вроде счастья.

...Интересно, как провел он свои последние годы в изгнании? Был ли он счастлив? Что происходит с человеком, когда, обретя власть, он не сумел удержать ее и при этом остался в живых?

X

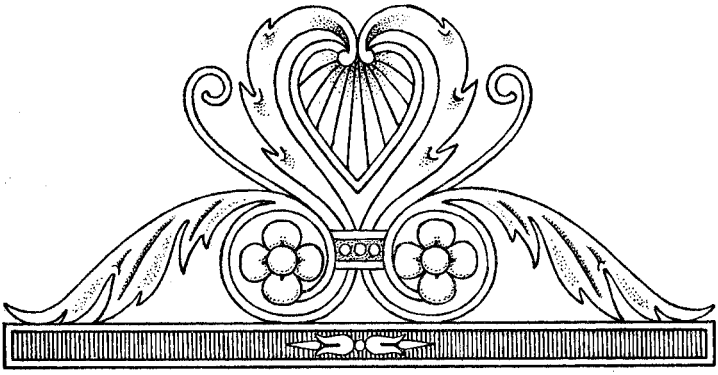
Воспоминания Марка Агриппы — отрывки
(13 год до Р.Х.)

Мы вернулись в Рим, где нас приветствовали благодарные жители города, который мы спасли от голодной смерти. В храмах по всей Италии — от Ареции на севере до Вибо на юге — были установлены статуи

Октавию Цезарю, и ему поклонялись как земному воплощению бога. Сенат и народ Рима постановили воздвигнуть на форуме статую из золота в ознаменование воцарения закона и порядка на море и на земле.

Ради такого случая Октавий Цезарь освободил от налогов и простил недоимки всем римлянам и заверил их в том, что мир и свобода окончательно восторжествовали после того, как Марк Антоний покорил парфян на Востоке. Воздав должное Риму за его стойкость и непоколебимость, он водрузил на мою голову золотой венец, украшенный изображениями наших кораблей,— ни до, ни после никто не удостаивался такой чести.

Таким образом, пока Антоний далеко на Востоке преследовал племена парфянских варваров, в Италии Цезарь Август занялся укреплением границ государства, оставшихся без присмотра за долгие годы гражданских раздоров, терзавших Рим. Мы покорили паннонские племена и оттеснили варваров с побережья Далмации, защитив Италию от угрозы с севера. Во всех этих походах Октавий Цезарь сам вел свои войска и заслужил не одно боевое ранение.



Глава 6

I

Письмо: Николай Дамаскин — Страбону Амасийскому из Антиохии и Александрии (36 год до Р.Х.)

Мой дорогой Страбон, я стал свидетелем события, значение которого только тебе, самому близкому из моих друзей, дано в полной мере оценить, ибо сегодня Марк Антоний, римский триумвир, стал императором Египта — вернее, царем, хотя сам он так себя не называет. Он соединился в браке с Клеопатрой, живым воплощением Изиды, царицей Египта и императрицей всех земель Нила.

Я думаю, эта новость еще не дошла до Рима, и, возможно, даже молодой правитель римского мира, о котором ты так часто мне писал и которым не перестаешь восхищаться, не знает об этом, ибо все произошло так неожиданно, что даже здесь, на Востоке, о свадьбе стало известно лишь за несколько дней до самого события. О Страбон, мой старый добрый друг, я почти готов пожертвовать частью той мудрости, к

обладанию которой направлены все наши с тобой усилия, лишь бы увидеть выражение твоего лица в этот момент! Бьюсь об заклад — ты поражен и где-то даже раздосадован? Прости мне мои злорадные намеки — я не могу удержаться, чтобы не пробудить в тебе чувство зависти (дружеской, я надеюсь), такой же, какую вызывали у меня счастливые обстоятельства твоей судьбы. Должен признаться, твои письма из Рима и вправду разжигали во мне зависть. Как часто, сидя здесь, в Дамаске, я мечтаю оказаться рядом с тобой в «центре вселенной», как ты это называешь, общаясь с великими людьми, о которых ты так часто и как бы невзначай упоминаешь. И вот теперь и я тоже вступил в реальный мир: по воле счастливого случая — у меня до сих пор в голове не укладывается все это — я самым непостижимым образом был назначен на должность воспитателя детей Клеопатры, куратором царской библиотеки и попечителем школ царского двора.

Все это случилось так быстро, что мне и по сю пору не верится, что это правда, и я никак не могу до конца уразуметь причины моего назначения. Возможно, это потому, что я формально иудей, но при этом философ, а не религиозный фанатик, и, кроме того, у моего отца имеются некоторые деловые связи при дворе царя Ирода, которого Марк Антоний недавно признал законным царем Иудеи и с которым хочет жить в мире. Неужели даже такое аполитичное существо, как я, может стать предметом политики? Смею надеяться, что не переоцениваю себя, но тем не менее хотелось бы думать, что моя репутация ученого перевесила все другие соображения в момент принятия такого решения.

Короче говоря, посланник царицы обратился ко мне с этим предложением, когда я приехал в Алексан-

дрию по делам моего отца, а заодно и использовал представившуюся мне возможность, чтобы посетить царскую библиотеку. Я тут же без всяких колебаний принял назначение, которое помимо материальных выгод (и весьма значительных при этом) еще и открыло передо мной двери в одну из самых замечательных библиотек, в каких мне довелось побывать, и дало возможность ознакомиться с манускриптами, к которым мало кому довелось притрагиваться или даже видеть их.

Теперь, когда я вхожу в число придворных царицы, я обязан повсюду сопровождать ее; посему три дня назад я прибыл в Антиохию, оставив детей в Александрии. Я не совсем понимаю, почему церемония проводилась здесь, а не в царском дворце в Александрии,— возможно, Антоний не желает слишком уж нарочито пренебрегать римскими законами, хотя, сдается мне, он прочно связал свою судьбу с Востоком (интересно знать, а как действительно римское право подходит к этому вопросу, ибо, по слухам, он даже не потрудился получить официальный развод от своей бывшей жены?); а может быть, он хочет дать египтянам понять, что не намерен отнимать власть у их царицы. Впрочем, вполне возможно, что этому нет никакого объяснения.

Как бы то ни было, бракосочетание состоялось, и для всего восточного мира царица и Марк Антоний — муж и жена; и что бы там ни думали в Риме, они остаются совместными правителями этой части мира. Марк Антоний публично объявил Цезариона (считающегося сыном его покойного друга Юлия Цезаря) наследником престола Клеопатры, а близнецов царицы — своими законными детьми. Кроме того, он значительно расширил владения Египта — ныне под властью цари-

цы находятся: вся Аравия, включая Петру и Синайский полуостров, часть Палестины, лежащая между Мертвым морем и Иерихоном, часть Галилеи и Самарии, все побережье Финикии, богатейшие провинции Ливана, Сирии и Киликии, весь остров Кипр и часть Крита. Посему я, когда-то бывший сирийским римлянином, теперь считаюсь сирийским египтянином, но на самом деле я ни то и ни другое; как и ты, мой дорогой друг, я школяр, мечтающий стать философом, и не более римлянин или египтянин, чем наш Аристотель —грек, хотя он всегда любил свою родную Ионию и не переставал гордиться ею. Поэтому я вслед за этим величайшим из людей буду довольствоваться званием Дамаскина.

Реальный мир, мир суеты, о котором ты не раз мне говорил, и вправду оказался удивительно интересным; и пожалуй, даже в нашей юной самонадеянности мы с тобой не должны полностью отгораживаться от него, с головой погрузившись в учение. Путь к знаниям неблизок, и конец его скрыт во мраке, и на этом пути мы должны заглянуть во множество потаенных углов с тем, чтобы достичь намеченной цели.

Я до сих пор не удостоился аудиенции у царицы, на службе у которой нахожусь, хотя и видел ее издалека. Зато Марка Антония можно встретить повсюду — он весьма общителен и прост и совсем не страшен. В нем есть что-то от ребенка, как мне кажется, несмотря на седеющие волосы и некоторую полноту.

Я полагаю, меня снова ждут счастливые дни в Александрии, как когда-то в наши ученические годы.

Я, как мне помнится, в моем предыдущем письме упомянул, что видел царицу только издали, на свадебной церемонии, связавшей ее с Марком Антонием и

могуществом Рима, на которую были допущены лишь приближенные царского двора.

Дворец в Антиохии не такой величественный, как в Александрии, но все равно достаточно большой; во время церемонии я оказался оттеснен в самый конец длинной залы, откуда мне мало что было видно, несмотря на то что Клеопатра и Антоний стояли на высоком помосте из слоновой кости. Единственное, что я мог разглядеть, была украшенная драгоценными камнями мантия царицы, сверкавшая всеми цветами радуги в свете факелов, и массивный золотой диск, олицетворявший солнце и венчавший ее царскую корону. Движения ее были плавны и величавы, будто она и вправду богиня, как предполагает ее титул. Сама церемония была необычайно сложной (хотя некоторые из моих новых друзей считали ее довольно простой), и значение ее остается для меня загадкой: жрецы ходили взад и вперед, монотонно распевая различные заклинания на древнем диалекте, который знают только они, совершали помазания душистыми маслами и размахивали жезлами. Все это было очень загадочно и (как мне, признаться, показалось) довольно нецивилизованно, почти по-варварски.

Итак, я отправился на свою первую аудиенцию у царицы с неким странным чувством, будто шел на встречу с какой-нибудь Медеей* или Цирцеей* — не совсем богиней, но и не простой смертной, а скорее, с чем-то еще более сверхъестественным.

Мой дорогой Страбон, не могу даже описать тебе, насколько приятно я был удивлен и как порадовало меня мое открытие. Я ожидал увидеть смуглую и довольно дородную женщину, вроде тех, что встречаются на рынках; а передо мной предстала изящная женщина с белой кожей, мягкими каштановыми волосами и огромными глазами. Во всем ее облике читались сдер-

жанность и достоинство и вместе с тем необыкновенное обаяние; мою неловкость как рукой сняло, и я тут же почувствовал себя в непринужденной дружеской обстановке. Она пригласила меня присесть на кушетку, не уступавшую в роскоши той, на которой сидела она, и мы довольно долго беседовали на темы, о которых принято говорить в цивилизованном обществе. Она часто смеется негромким мелодичным смехом и, похоже, не пропускает мимо ушей ни одного слова своего собеседника; греческий ее безупречен, а латынь по меньшей мере не хуже моей; кроме того, время от времени она обращается к своим слугам на незнакомом мне наречии. Она весьма начитанна и даже разделяет мое преклонение перед Аристотелем, при этом она всерьез уверяет, что знакома с моим трудом по его философии и что это помогло ей лучше понять великого грека.

Как тебе хорошо известно, я не тщеславен, и даже если бы и страдал этим пороком, то над ним возобладало бы чувство благодарности и восхищения этой самой необычной из всех женщин. То, что такое обаятельное существо может еще и править одним из самых богатых государств в мире, просто не укладывается в голове.

Я вернулся в Александрию три недели назад и уже приступил к своим обязанностям. Марк Антоний и царица остались в Антиохии, где Антоний готовится к походу на парфян, намеченному на этот год. Обязанности мои необременительны; кроме того, в моем распоряжении достаточно рабов для присмотра за библиотекой, а занятия с детьми не отнимают у меня слишком много времени.

Близнецам — Александру-Солнцу и Клеопатре-Луне — лишь несколько месяцев назад исполнилось три года, и потому они не способны к восприятию

наук, однако мне дано указание каждый день, хотя бы очень недолго, говорить с ними по-гречески и (по настоянию царицы) даже по-латыни, чтобы, когда они немного подрастут, звуки этих языков не казались бы им столь чуждыми.

Но с Птолемеем Цезарем, которому уже почти двенадцать лет, дело обстоит совсем иначе. Думаю, я бы и сам догадался, что он сын великого Юлия Цезаря, даже если бы не знал этого доподлинно. Он (в народе его зовут Цезарионом) прекрасно осознает свое предназначение и готов выполнить его; он уверяет, что помнит своего отца со времен пребывания в Риме вместе с матерью совсем незадолго до покушения, хотя ему было не больше четырех лет тогда. Он всегда очень серьезен и начисто лишен чувства юмора; ко всему, что он делает, он подходит с какой-то странной одержимостью. Складывается впечатление, что он не знает, что такое детство, да и не хочет знать; о царице он говорит так, будто она не мать ему, а могущественный правитель, на трон которого он однажды взойдет. Этого события он ожидает не то чтобы с нетерпением, но с некой спокойной уверенностью, как восхода солнца по утрам. Мне кажется, я бы немного побаивался его, если бы у него оказалась вся та огромная власть, которой обладает его мать.

Однако он весьма прилежный ученик, и я получаю истинное удовольствие, обучая его.

Для тех, кто склонен придавать значение таким вещам, нынешняя зима принесла дурные предзнаменования: дождей почти не было, посему урожая следует ждать плохого; жестокие ураганы налетели на Сирию и Египет с востока, опустошив целые деревни прежде, чем исчезнуть без следа в океане. Антоний выступил из Антиохии во главе величайшей (по мнению неко-

торых) экспедиционной армии со времен македонца Александра Великого (кровь которого, как говорят, течет в жилах царицы). В эту армию входят шестьдесят тысяч закаленных в боях ветеранов, десять тысяч конницы из Галлии и Испании, тридцать тысяч наемников из различных царств восточных провинций для поддержки регулярных войск. Мой молодой Цезарион, с недавних пор проявляющий интерес к военному искусству, с невинной юной прямотой заявил, что, мол, такая могучая сила лишь понапрасну растрачивается на войну с восточными варварами (будто война — это такое простое дело) и что, будь он царем, он бы повернул ее на запад, где победителя ждет нечто большее, чем военные трофеи.

Царица вернулась из Антиохии через Дамаск и останется в Александрии, пока Антоний не завершит свою парфянскую кампанию. Зная, что я родился в Дамаске, она была столь любезна, что пригласила меня в свои покои и поделилась новостями. Просто удивительно, насколько заботливыми и по-человечески добрыми могут быть великие люди! Будучи в Дамаске, она встречалась с царем Иродом по делу об аренде земель под посадки бальзамника и, вспомнив о нашем давешнем разговоре, справилась о здоровье моего отца и попросила Ирода передать ему поклон от сына и от царицы.

Я не получал известий от отца с тех пор, но уверен, это не могло не порадовать его. Он давно не молод и с годами становится все более немощным. Мне кажется, достигнув сих преклонных лет, человек начинает все чаще оглядываться на прожитую жизнь и подводить итоги достигнутому; в это время ему, как никогда, необходимо доброе сочувственное слово.

II

Письмо: Марк Антоний — Клеопатре из Армении (36 год до Р.Х.)

Моя дорогая жена, я не перестаю благодарить как своих римских, так и твоих египетских богов за то, что не поддался собственным порывам и не уступил твоей решимости и не позволил тебе сопровождать меня в этом походе, который оказался еще труднее, чем я ожидал. Мне теперь ясно, что мои надежды завершить его до конца осени не оправдались и придется все упования отложить до весны.

Парфяне показали себя коварным и изобретательным противником, умеющим гораздо лучше использовать свое превосходное знание местности, чем я мог предположить. К тому же карты, составленные Крассом и Вентидием во время их походов, на поверку оказались никуда не годными; измена части провинциальных легионов тоже не помогла нашему делу; и в довершение ко всему эта ужасная страна не способна прокормить мои легионы в течение зимы.

Из-за наступающих холодов мне пришлось снять осаду с Фрааспы, после чего всего за двадцать семь дней мы пересекли всю страну почти от самого Каспия, остановившись на отдых в относительно безопасной Армении. Мы страшно измотаны; в лагере свирепствуют болезни.

И тем не менее я скажу, что поход был успешным, хотя, боюсь, многие из моих измученных солдат со мной не согласятся. Мне известны теперь все уловки парфян, и мы наконец составили достаточно точную карту местности, которая нам весьма пригодится на следующий год. Я послал в Рим известие о нашей победе.

Однако, несмотря на тактический успех кампании, в настоящий момент я нахожусь в самом отчаянном положении. Мы не можем долго задерживаться в Армении — я не доверяю здешнему правителю, царю Артавазду, который покинул меня в решительный момент в Парфии, хотя нельзя попрекать его этим, будучи пришельцем в его стране. Посему я решил вместе с несколькими легионами вернуться в Сирию, где ко мне, хорошенько отдохнув, присоединится и вся остальная армия.

Но для того чтобы пережить зиму даже в Сирии, нам необходимы припасы, коих у нас не больше, чем у нищих. Нам нужна еда, одежда и материалы для починки поврежденных в боях военных орудий. Кроме того, нам понадобятся кони взамен тех, что мы потеряли в сражениях и переходах, чтобы мы могли продолжить подготовку к весенней кампании. И еще деньги — вот уже несколько месяцев мои солдаты не получали жалованья, и терпение некоторых из них на исходе. Все это нам нужно без промедления. К данному письму я прилагаю подробный список того, в чем нуждаюсь в первую очередь, а также дополнительный список вещей и продуктов, которые могут нам понадобиться позднее. Положение наше можно описать лишь как отчаянное.

Зиму мы проведем в небольшой деревушке Левке-Коме, к югу от Бейрута,— ты вряд ли даже слыхала о ней. Здесь имеется достаточно просторная гавань для стоянки судов, которые ты пошлешь. Будь осторожна: по моим сведениям, головорезы-парфяне могут уже быть на побережье, когда ты получишь это письмо, хотя блокада Левке-Коме маловероятна. Надеюсь, мое послание быстро дойдет до тебя, несмотря на все зимние шторма. Имей в виду, что без свежих припасов мы протянем не больше нескольких недель.

Я сижу один в своем шатре, дрожа от холода. Снаружи падает снег, скрывая от глаз долину, где расположен наш лагерь, и даже ближайших ко мне шатров не разглядеть. Мне зябко, и в мертвой тишине, опустившейся над миром, я еще острее ощущаю свое одиночество. Как не хватает мне тепла твоих объятий и нежной ласки твоего голоса! Приезжай ко мне в Сирию вместе со своими кораблями. Я должен оставаться здесь с войском, иначе оно разбежится еще до наступления весны и все наши жертвы окажутся напрасными, но в то же время я едва ли смогу выдержать еще один месяц без тебя. Приди ко мне, и мы превратим Бейрут в Антиохию, Фивы или Александрию.

III

Эпимах, верховный жрец Гелиополиса — Клеопатре из Армении
(ноябрь, 36 год до Р.Х.)

Достопочтимая царица, нет на свете более храброго человека, чем Марк Антоний, коего вы удостоили своим царским вниманием и возвысили до себя, посадив рядом с собой на трон, у подножия которого лежит целый мир. Храбрость его в битве превосходит все пределы благоразумия; он способен переносить такие тяготы и лишения, какие давно сломили бы и самого закаленного воина; но он не полководец, и поход его полностью провалился.

Если даже мои сведения противоречат тем, что царица получила из других источников, я тем не менее спешу поделиться ими из дружеских чувств к вашему мужу и почтения к вам, а также в тревоге за Египет и его будущее.

Этой весной мы вышли из Антиохии и скоро достигли Зевгмы, что на реке Евфрат; оттуда мы просле-

довали вдоль реки на север, где не имели недостатка в провизии, к водоразделу между Евфратом и рекой Аракс, а затем на юг, в направлении парфянской крепости Фрааспа. Но, не доходя до нее, в попытке выиграть время Марк Антоний разделил свою армию надвое, отправив обоз со всеми запасами еды и одежды, а также тараны и другие осадные орудия более пологим путем, а сам с основной частью армии ускоренным маршем двинулся к своей конечной цели, не встречая по пути никакого сопротивления.

Тем временем спустившиеся с гор парфяне напали на отделенный от основных сил и более медлительный обоз. Едва весть о нападении достигла наших ушей, мы тут же поспешили на помощь, но было уже поздно. Войско прикрытия оказалось перебито, все наши запасы преданы огню, осадные машины и другие военные орудия уничтожены, и лишь небольшая горстка солдат сумела остаться в живых, укрывшись за поспешно сооруженными укреплениями. Мы рассеяли наступающих парфян, каковые, сделав свое дело, благоразумно отошли в горы, которые знали как свои пять пальцев и где мы не рискнули их преследовать.

Такова была «победа» Марка Антония, о которой он поспешил сообщить в Рим. Мы насчитали восемьдесят убитых парфян.

Несмотря на потерю всех наших осадных машин и запасов продовольствия, одежды и материалов, Марк Антоний настоял на осаде Фрааспы. Даже если бы мы напали на город врасплох, и тогда наша задача оставалась бы почти невыполнимой, так как нашим единственным оружием было лишь то, что мы имели при себе. Мы не могли выманить их из крепости для решительной битвы; отряды, которые мы посылали в поисках провианта, постоянно подвергались нападениям парфянских лучников, появлявшихся ниоткуда и, обру-

шив на наших воинов град стрел, тут же исчезавших в никуда; тем временем неотвратимо приближалась зима. Два месяца мы упорствовали; в конце концов Антоний добился от царя Фраата обещания не чинить препятствий нашему отходу из его страны. И вот в середине октября, измученные и голодные, мы отправились в долгий путь туда, откуда вышли пять месяцев назад.

В течение двадцати семи дней по страшному холоду, сражаясь с вьюгами и снежными заносами, мы перевалили через горы и пересекли открытые равнины; за это время мы восемнадцать раз подвергались нападениям конных лучников вероломного Фраата. Они налетали на нас, как осы, со всех сторон — с фронта, с тыла, с флангов,— осыпали нас стрелами и, прежде чем мы успевали опомниться, снова скрывались во тьме своей варварской страны, в то время как их несчастная жертва, словно слепая кляча, продолжала брести не разбирая дороги.

Именно тогда, в те ужасные дни отступления, Марк Антоний по-настоящему проявил себя: он делил со своими солдатами все лишения, выпавшие на их долю, отказываясь принимать пищу, отличную от той, что ели его товарищи (которые дошли до того, что глодали корни и собирали личинки в гнилых пнях, чтобы прокормить себя), или носить одежду более теплую, чем та, что имелась у них.

Мы сейчас в Армении, но надолго задерживаться здесь не можем — царь этой страны, формально наш союзник, но не более заслуживающий доверия, чем наши враги, весьма скупо снабжает нас провизией. В самое ближайшее время мы отправляемся в Сирию. Тем временем я взял на себя труд подсчитать наши потери, о чем и уведомляю мою царицу.

За эти пять месяцев мы потеряли почти сорок тысяч человек, многие из которых пали от парфянских стрел,

но еще больше погибло от голода и болезней; из них двадцать две тысячи — римские ветераны Антония, считающиеся лучшими воинами в мире, потеря которых невосполнима, если только Октавий Цезарь вдруг не решит прислать им замену, что очень маловероятно. Лошадей практически не осталось, как и запасов провизии; у нас нет никакой другой одежды, кроме тех лохмотьев, что мы имеем на себе, и никакой другой еды, кроме той, что в наших желудках.

Посему, достопочтимая царица, если вы желаете спасти хотя бы то, что осталось от этой армии, вы должны удовлетворить просьбу вашего мужа и выслать сюда провиант. Я боюсь, он из гордости не хочет признаться вам, насколько отчаянным является наше положение.

IV

Клеопатра — министру снабжения:
памятная записка
(36 год до Р.Х.)

Настоящим ты уполномочен собрать и подготовить к отправке императору Марку Антонию в порт Левке-Коме в Сирии следующие продукты:

чеснока — 3 большие меры;
пшеницы или полбы, чего больше в наличии,— 30;
рыбы соленой — 10;
сыра (козьего) — 45;
меда — 600 бочонков;
соли — 7 мер;
овец убойных — 600 штук;
вина кислого — 600 бочек.

В дополнение к вышеуказанному: при наличии в хранилищах значительных излишков сушеных овощей

включить эти излишки в партию отправляемого груза; если же таковых не имеется, ограничиться вышеупомянутым.

Также ты должен обеспечить в достаточном объеме: плотной шерстяной ткани второго сорта (240 тысяч локтей большой ширины) для пошива 60 тысяч зимних плащей, грубого полотна (120 тысяч локтей средней ширины) для пошива того же количества военных туник и дубленой кожи (мягкой) конской и бычьей (2 тысячи шкур) для производства того же количества пар обуви.

Все это необходимо подготовить в самые кратчайшие сроки. Следует направить достаточное количество портных и сапожников на соответствующие суда, где они займутся производством указанных предметов по пути, чтобы закончить работу к прибытию в порт назначения через восемь—десять дней.

Корабли (числом двенадцать, ждущие в царской гавани) будут готовы к отплытию через три дня, по истечении которых все работы по доставке и погрузке товара должны быть завершены; в противном случае тебе грозит неудовольствие царицы.

V

Клеопатра — главному казначею: памятная записка (36 год до Р.Х.)

Невзирая на любые приказы или требования, исходящие от Марка Антония или его представителей, тебе запрещается выделять какие-либо средства из царской казны без ясно выраженного одобрения и согласия твоей царицы, каковые считаются действительными только при условии получения их лично из рук назначенного самой царицей представителя и лишь при наличии на них царской печати.

VI

Клеопатра — военачальникам египетской армии: памятная записка (36 год до Р.Х.)

Невзирая на любые приказы или требования, исходящие от Марка Антония или его представителей, вам запрещается как предоставлять, так и обещать предоставить в его распоряжение какие-либо войска из состава египетской армии без ясно выраженного одобрения и согласия вашей царицы, каковые считаются действительными только при условии получения их лично из рук назначенного самой царицей представителя и лишь при наличии на них царской печати.

VII

Письмо: Клеопатра — Марку Антонию из Александрии (зима, 35 год до Р.Х.)

Мой дорогой супруг, царица приказала удовлетворить все нужды твоих мужественных воинов, а твоя жена, словно юная дева, трепеща от нетерпения, летит к тебе навстречу со всей поспешностью, насколько позволяет капризное зимнее море. В тот самый момент, когда ты читаешь это письмо, она стоит на носу головного корабля, до боли в глазах вглядываясь в горизонт, не появится ли вдали сирийский берег, где ждет ее любимый, вся дрожа от холода, но согреваемая мыслью о его нежных объятиях.

Как царица, я не могу не радоваться твоему успеху, как женщина — не могу не сетовать на судьбу, разлучившую нас. И все же в эти суматошные дни после получения твоего письма я пришла к выводу (или я

ошибаюсь?), что наконец-то женщина и царица могут слиться воедино.

Я преисполнена решимости убедить тебя вернуться со мной в тепло и уют Александрии и оставить завершение твоего успешного похода в Парфию на будущее. Я буду рада сделать это как женщина; как царица, я вижу в этом мой долг.

Измены, свидетелем которых ты был на Востоке, имеют свои корни на Западе: Октавий по-прежнему строит против тебя козни и всячески принижает в глазах тех, для которых любовь к Антонию — их единственное спасение. Мне известно, что он пытался избавиться от Ирода, и, судя по сведениям, дошедшим до меня, измена провинциальных легионов, затруднившая достижение твоих целей на Востоке,— дело его рук. Уверяю тебя, варвары имеются не только в Парфии, но и в самом Риме; и их беззастенчивая игра на твоей преданности и природной доброте опаснее, чем парфянские стрелы. На Востоке можно поживиться только сокровищами, в то время как на Западе — такой огромной властью, которую не всякий даже может себе представить.

Но мысли мои далеко от того, о чем я пишу,— я думаю о тебе, самый могучий из людей, и я снова женщина, и дела мне нет до царств, войн, власти. Я спешу навстречу моему любимому, ибо каждый час разлуки с тобой — как год.

VIII

Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию (12 год до Р.Х.)

Как деликатно ты выражаешься, мой дорогой Ливий, и все же за всей этой учтивостью ясно просматривается жестокий вывод: либо мы были введены в

заблуждение (и, следовательно, глупцы), либо намеренно утаили некоторые сведения (и посему лжецы). Я отвечу на твой вопрос без лишних экивоков.

Нет, мой дорогой друг, мы отнюдь не обманывались относительно событий в Парфии, да и как это было возможно? Еще до того как получить победные донесения Антония, мы уже знали правду. Мы лгали народу Рима.

Должен сказать, что я в гораздо меньшей степени оскорблен самим твоим вопросом, нежели тем, что, как я полагаю, за ним скрывается. Ты забываешь, что я тоже творческая натура и понимаю необходимость порой задавать вопросы, кои люди менее тонкой организации сочли бы весьма оскорбительными и бесцеремонными. Как могу я обижаться на то, что не колеблясь сделал бы сам ради своего искусства? Нет, нет, тон твоего вопроса — вот что задело меня, ибо мне показалось (очень надеюсь, это не так), что от него повеяло дурным запахом моралистики. А по мне, моралист — самое что ни на есть бесполезное и презренное создание; бесполезное — потому что растрачивает свои силы на вынесение приговоров другим, вместо того чтобы употребить их на приобретение знаний, ибо судить других гораздо легче, чем приобретать знания; презренное — потому что его суждения — всего лишь собственное мнение, которое он в своем невежестве и гордыне навязывает всему миру. Умоляю тебя: не будь моралистом — ты погубишь свой дар и свою душу. Такая потеря будет непосильным бременем даже для самой крепкой дружбы.

Как я уже заметил выше, мы лгали; и если я даю объяснения этому, то вовсе не затем, чтобы обелить себя, а для того, чтобы помочь тебе лучше узнать и еще глубже понять мир, в котором мы живем.

После парфянской катастрофы Антоний послал сенату донесение с описанием своей «победы» в самых

восторженных, но при этом весьма общих тонах и потребовал триумфальной церемонии, на которой, впрочем, сам не собирался присутствовать. Мы примирились с ложью, позволили ей распространиться и предоставили ему его триумф.

В течение жизни двух поколений Италию раздирали гражданские войны, и вся недавняя история этого сильного и гордого народа была сплошной чередой поражений, ибо в гражданских войнах не бывает победителей. После победы над Секстом Помпеем мир казался достижимым, и весть о таком сокрушительном поражении была бы губительна как для устойчивости нашей власти, так и для морального духа народа, ибо люди способны мужественно перенести почти невероятную череду самых жестоких невзгод, но стоит дать им небольшую передышку, пробудить в них надежду и тут же снова отнять ее — и тогда их терпение может лопнуть.

Кроме того, имелись и другие, более земного плана причины для лжи: только недавно была одержана победа над Помпеем; легионы наемников были распущены, а сами они расселены на обещанных им землях; перспектива нового призыва привела бы к полному краху всей системы цен на землю в провинциях, что могло бы окончательно погубить и без того шаткое хозяйство страны.

И наконец, самое очевидное: у нас до сих пор оставалась хоть и небольшая, но надежда на то, что Антония еще можно будет убедить расстаться со своей мечтой о великой восточной империи и вернуться в лоно Рима. Как оказалось, наши усилия были напрасны, но тогда это представлялось достаточно вероятным. Поэтому отказать ему в триумфе и открыть всему Риму твою так называемую «правду» означало бы навсегда

отрезать ему путь к возвращению в Рим с миром и почетом.

В моем рассказе об этих событиях я постоянно употреблял слово «мы», хотя на самом деле в течение почти трех лет после разгрома Секста Помпея Октавий и Агриппа лишь изредка наезжали в Рим, большую часть времени проводя в Иллирии, где были заняты укреплением наших границ и подчинением племен варваров, которые до того свободно рыскали по всему побережью Далмации* и даже нападали на деревни на Адриатическом побережье самой Италии. В их отсутствие мне была доверена официальная печать Октавия, и я один принимал все решения, хотя, должен не без гордости отметить, в каждом отдельном случае они получали полное одобрение императора, правда зачастую задним числом. Я помню, как-то раз он, ненадолго вернувшись в Рим для восстановления сил после полученного им в одной из битв с иллирийскими племенами ранения, сказал мне полушутя, что с Агриппой во главе его армии и со мной, пусть и неофициально, во главе государства он должен бы в интересах дальнейшего процветания нации отказаться от всех претензий на власть и жить в свое удовольствие, наслаждаясь обществом моих подопечных поэтов.

Марк Антоний... Сколько лет мы подвергались всевозможным обвинениям и упрекам! Но истина, скрывавшаяся за ними, так, возможно, никогда и не выйдет наружу. Мы не вели никакой игры, ибо это было не в наших интересах; и хотя многие сенаторы, изначально принадлежавшие к старой партии Цезаря, а затем необъяснимо переметнувшиеся на сторону Антония, были против нас, возможно видя в нем свою единственную надежду вернуть прошлое,— народ, как и прежде, оставался с нами. Кроме того, в нашем

распоряжении были армия и достаточно поддержки в сенате, чтобы провести через него хотя бы самые необходимые из выдвинутых нами эдиктов.

Мы могли бы смириться с властью Марка Антония на Востоке в качестве независимого сатрапа или императора — как он там себя изволит называть — до тех пор, пока он остается римским подданным, пусть даже разбойником; мы могли бы примириться с его пребыванием в Риме, даже при всей его безответственности и честолюбии. Но случилось так, что против нашей воли он возомнил себя Александром Великим, и уже ничто не могло излечить его.

Он получил свой триумф, что укрепило его позиции в сенате, но не смогло вернуть в Рим; мы предложили ему консульство — он отверг его и по-прежнему не желал возвращаться в Рим; наконец, в последней отчаянной попытке отвратить неизбежное мы вернули ему семьдесят кораблей его флота, которые помогли нам разбить Помпея, и выслали две тысячи воинов для пополнения его поредевших римских легионов. Октавия отплыла вместе с кораблями и солдатами из Афин в надежде убедить его отказаться от безумных планов и вернуться к выполнению своего долга мужа, римлянина и триумвира.

Он принял корабли, взял под свое командование легионы, но отказался встречаться с Октавией и, не давая ей задержаться в Афинах, тут же отправил обратно в Рим. Будто желая развеять последние сомнения в его полном пренебрежении к своим соотечественникам, он устроил себе триумф в Александрии — в Александрии! — во время которого выставил напоказ несколько символических пленных, но не перед сенатом, а перед Клеопатрой — иноземным монархом,— которая на своем золотом троне возвышалась над всеми, включая самого Антония. Вслед за этим после-

довала, как говорят, в высшей степени варварская церемония: Антоний, напялив одеяния Осириса, восседал рядом с Клеопатрой, изображавшей из себя Изиду, эту весьма своеобразную богиню. Он объявил свою любовницу царицей царей и провозгласил ее сына Цезариона соправителем Египта и Кипра. Он дошел даже до того, что отлил монеты со своим изображением на одной стороне и профилем Клеопатры — на другой.

Затем, будто спохватившись, он послал Октавии извещение о разводе и приказал без всяких церемоний или даже предупреждения выставить ее из своего римского дома.

После этого пути назад уже не было. По возвращении Октавия из Иллирии мы уже были готовы к тому, что от вновь испеченного восточного сатрапа можно ожидать любых безумств.

IX

Протоколы заседаний сената,
Рим (33 год до Р.Х.)

Сим днем я, Марк Агриппа, консул и командующий римским флотом, эдил сената Рима, во имя благополучия и процветания римского народа и вящей славы Рима объявляю:

I. За счет собственных средств, не прибегая к помощи общественной казны, Марк Агриппа обязуется отремонтировать и восстановить все пришедшие в упадок публичные постройки, а также прочистить и починить трубопроводы, по которым сточные воды из Рима поступают в Тибр.

II. За счет своих собственных средств Марк Агриппа обязуется обеспечить всех свободнорожденных обита-

телей Рима достаточным количеством оливкового масла и соли для удовлетворения их нужд в течение года.

III. Для всех — мужчин и женщин, свободных граждан и рабов — в течение года будет открыт бесплатный доступ в общественные купальни.

IV. В интересах защиты легковерных, невежественных и неимущих и в целях предотвращения распространения чуждых суеверий всем астрологам, восточным гадателям и колдунам запрещено появляться в пределах городских стен, а тем из них, кто уже занимается таковым порочным промыслом в городе, приказано покинуть Рим под угрозой смерти, а также лишения средств и имущества.

V. В так называемом храме Сераписа и Изиды запрещается как продавать, так и покупать амулеты египетского суеверия под угрозой ссылки как продавца, так и покупателя; сам храм, возведенный в честь покорения Египта Юлием Цезарем, должен считаться памятником истории, а вовсе не символом признания ложных богов Востока народом и сенатом Рима.

X

Центурион Квинт Аппий — Мунатию Планку, командующему азиатскими легионами императора Марка Антония, из Эфеса (32 год до Р.Х.)

Я, Аппий, сын Луция Аппия, из рода Корнелиев в Кампании. Мой отец, землепашец, оставил мне несколько акров земли возле Велитр, которые я возделывал с восемнадцати до двадцати трех лет, живя в скромном достатке. Стоящий там небольшой домик я оставил жене, с которой связан узами брака с ранней юности,— она хоть и вольноотпущенница, но всегда была благонравна и верна мне; на земле остались трое из пяти моих

сыновей — двух из них я потерял: один умер от болезни, а старший погиб в испанском походе Цезаря против Секста Помпея много лет тому назад.

Ради блага Рима и своей семьи, на двадцать третьем году жизни, в консульство Туллия Цицерона и Гая Антония, дяди моего нынешнего командира Марка Антония, я стал солдатом. В течение двух лет я был простым воином армии Гая Антония, которая в честном бою разбила изменника Катилину; на третий год службы простым легионером я прошел весь первый испанский поход Юлия Цезаря, и хотя я был еще очень молод, за мою храбрость в бою Цезарь назначил меня младшим центурионом четвертого македонского легиона. Тридцать лет я был солдатом; я участвовал в восемнадцати походах, в четырнадцати из которых в чине центуриона и в одном — исполняющего обязанности военного трибуна; сражался под началом шести законно избранных консулов сената, служил в Испании, Галлии, Африке, Греции, Египте, Македонии, Британии и Германии; принимал участие в трех триумфальных шествиях; пять раз меня награждали лавровым венком за спасение жизни товарища по оружию, и двадцать раз я был награжден за храбрость.

Присяга, которую я принял молодым рекрутом, обязывает меня защищать мою родину по приказу магистратов, консулов и сената, и этой присяге я ни разу не изменил, верой и правдой служа Риму. И вот теперь, на пятьдесят третьем году жизни, я прошу освободить меня от военной службы, чтобы я мог вернуться домой в Велитры и провести оставшиеся мне дни в уединении и мире.

Я знаю, что по закону ты можешь отказать мне в этой просьбе, несмотря на все мои заслуги и преклонные года, ибо я добровольно согласился участвовать в нынешней кампании; мне также известно, что против

него написанное дальше может стоить мне головы. И все же я готов безропотно принять все, что уготовит мне судьба.

Когда меня забрали из армии Марка Агриппы и отправили сначала в Афины, оттуда в Александрию и наконец сюда, в Эфес, в армию Марка Антония, я не возражал — в конце концов, таков солдатский удел, и я со временем привык к этому. Я сражался с парфянами и прежде и не испытываю перед ними страха, но события последних недель посеяли во мне глубокие сомнения. Вот почему я решил обратиться к тебе, рядом с кем я сражался в Галлии под началом Юлия Цезаря и чье благосклонное отношение ко мне вселяет надежду, что ты выслушаешь своего старого товарища по оружию прежде, чем строго судить его.

Совершенно ясно, что мы не собираемся биться ни с парфянами, ни с мидянами, ни с кем-либо другим на Востоке; однако мы вооружаемся, проводим маневры и готовим военные орудия.

Я поклялся хранить верность консулам и сенату римского народа и этой своей клятве всегда оставался верен.

Но где теперь сенат? И как прикажете мне исполнять свой долг?

Мы знаем, что триста сенаторов и два консула на текущий год покинули Рим и теперь находятся в Эфесе, где император Марк Антоний собрал их в противовес тем семистам, что остались в Риме; новые консулы заменили тех, кто уехал сюда.

Кому я обязан хранить верность? Где римский народ, который сенат должен представлять?

Я не испытываю неприязни к Октавию Цезарю, хотя и буду сражаться против него, если придется; я не скажу, что люблю Марка Антония, но готов умереть за него, если потребуется. Солдату не пристало думать

о политике, и в душе его не может быть места для любви или ненависти. Его долг — быть верным присяге.

Сам будучи римлянином, я и раньше сражался со своими соотечественниками, хотя и скрепя сердце. Но я никогда не бился с римлянами под знаменем чужеземной царицы и не участвовал в походе против своей страны и своих сограждан, как если бы они были размалеванными варварами в какой-нибудь заморской провинции, которых мы призваны покорить.

Я давно уже не молод, и силы мои не те, и потому прошу дозволения тихо вернуться к себе домой. Ты мой командир, и я не сделаю ни шагу без твоего приказа. Если ты не сочтешь возможным освободить меня от моей присяги, я встречу это твое решение с достоинством, с которым, я верю, прожил всю свою жизнь.

XI

Письмо: Мунатий Планк, командующий азиатскими легионами,— Октавию Цезарю, из Эфеса (32 год до Р.Х.)

Несмотря на наши разногласия, я был не столько врагом тебе, сколько другом Марку Антонию, с которым знаком со времени нашей совместной службы под началом твоего покойного отца, божественного Юлия Цезаря, доверившего нам командовать его легионами. Все эти годы я старался хранить верность Риму, оставаясь при этом преданным человеку, которого считал своим другом.

И вот настало время, когда я больше не могу оставаться верным и тому и другому. Будто околдованный, Марк Антоний слепо следует туда, куда ведет его Клеопатра, движимая лишь своим непомерным често-

любием, конечная цель которого — покорение мира, передача его по наследству своим потомкам и превращение Александрии в мировую столицу. Мне не удалось убедить Марка Антония не становиться на сей гибельный путь. В тот самый момент, когда я пишу эти строки, войска со всех азиатских провинций прибывают в Эфес, чтобы присоединиться к злополучным римским легионам, которые Антоний собирается бросить против Рима; двери сокровищницы Клеопатры широко открыты для нужд войны с Италией; сама Клеопатра постоянно находится при Марке Антонии, неустанно разжигая его ненависть к тебе ради осуществления собственных честолюбивых замыслов. Говорят, впредь она собирается наравне с ним командовать войсками, даже в битве. Не только я, но и все его друзья умоляли его отослать Клеопатру обратно в Александрию, чтобы ее присутствие в войсках лишний раз не провоцировало ненависть римских солдат, но он или не хотел, или не мог этого сделать.

Итак, я оказался перед выбором между идущими на убыль дружескими чувствами к одному человеку и непоколебимой любовью к моей родине. И вот что я решил: я возвращаюсь в Италию, отвергнув безумную затею Антония на Востоке, и так думаю не я один. Я всю жизнь провел среди солдат и, смею надеяться, знаю, что делается у них в душе: многие откажутся сражаться под знаменами чужеземной царицы, а те, кто поддался обману и остался с Антонием, пойдут на битву с тяжелым сердцем и без большого желания, и потому их сила и решимость будут не так велики.

Я протягиваю тебе руку дружбы и предлагаю свои услуги; и если ты не можешь принять первое, то, возможно, найдешь применение второму.

XII

Воспоминания Марка Агриппы, отрывки
(13 год до Р.Х.)

Наконец я подошел к рассказу о событиях, приведших к битве при Акции и в итоге к долгожданному миру, веру в который народ Рима почти потерял.

Марк Антоний и царица Клеопатра, собрав свои силы на Востоке, перебросили их сначала на остров Самос, а оттуда в Афины, где расположились на время, неся угрозу Италии и миру. В период второго консульства Цезаря Августа я был эдилом в Риме; по истечении срока наших полномочий мы целиком посвятили себя восстановлению итальянских армий для отражения восточной угрозы и посему вынуждены были многие месяцы провести вдали от Рима. Когда мы наконец вернулись обратно в Рим, то обнаружили, что сенат попал под влияние сторонников Антония, являвшихся врагами римского народа; мы решительно выступили против них, и, когда им стало ясно, что их попытки подорвать порядок в Италии провалились, они, включая обоих консулов на текущий год и триста сенаторов, потерявших веру в свою родину и неспособных на любовь к ней, покинули Рим и Италию и присоединились к Антонию, не встретив на своем пути никаких препятствий или угроз со стороны Цезаря Августа, который обозревал их бегство с печалью, но без гнева.

Тем временем на Востоке солдаты, сохранившие верность Риму, сначала десятками, а потом и сотнями, отвергнув ярмо чужеземной царицы, пробирались в Италию; от них мы узнали, что война неизбежна и ждать ее недолго, ибо силы Антония таяли с каждым днем, и если он будет продолжать откладывать поход, то окажется в полной зависимости от своенравных и

неопытных воинов-варваров и их азиатских командиров.

И вот поздней осенью, на следующий год после окончания его второго консульства, Цезарь Август, заручившись согласием сената и римского народа, объявил войну Клеопатре, царице Египта; возглавляемые Цезарем Августом сенаторы прошли на Марсово поле, где в храме Беллоны глашатай провозгласил начало войны, после чего жрецы принесли в жертву богине белую телку и прочли молитвы во спасение армии Рима во всех грядущих битвах.

После победы над Секстом Помпеем Август поклялся перед всем римским народом, что то была последняя гражданская война и что итальянская земля никогда больше не обагрится кровью своих сыновей. Всю зиму мы обучали наши войска на суше, а также чинили и достраивали суда и испытывали их на море, когда погода нам благоприятствовала. И вот весной, узнав, что Марк Антоний скопил весь свой флот и сухопутные войска на выходе из Коринфского залива, откуда намеревался одним махом пересечь Ионийское море и высадиться на восточном побережье Италии, мы выступили первыми, желая уберечь нашу страну от жестоких последствий войны.

Нам противостояла вся мощь Востока: сто тысяч воинов, из которых тридцать тысяч — римляне, пятьсот военных кораблей, разбросанных вдоль всего побережья Греции, и восемьдесят тысяч резервных войск, оставшихся в Египте и Сирии. Против этой огромной силы мы могли выставить пятьдесят тысяч римских солдат, часть из которых были ветеранами морских походов против Секста Помпея, двести пятьдесят военных кораблей, которыми командовал я, и дополнительно сто пятьдесят судов поддержки.

Побережье Греции вряд ли может похвастаться хорошо укрепленными гаванями, посему у нас не было затруднений с высадкой войск, в задачу которых входило встретиться с армией Антония на суше; тем временем корабли под моим командованием блокировали морские пути, отрезав войска Клеопатры и Антония от источников снабжения в Сирии и Египте, вынудив их полностью зависеть от того, что они смогут найти на захваченных ими землях.

Не желая понапрасну губить жизни наших соотечественников-римлян, всю весну мы ограничивались мелкими стычками, пытаясь достичь нашей цели посредством блокады, а не открытых боевых действий; наконец летом мы двинули свои основные силы к Актийскому заливу, где сосредоточилась основная часть вражеского флота, как бы для решительного штурма, надеясь заманить в ловушку остальные корабли противника, которые, по нашим расчетам, должны были поспешить на помощь своим товарищам. План наш полностью удался: Антоний и Клеопатра со всеми оставшимися кораблями бросились на выручку своим главным силам, которые мы и не собирались атаковать; мы расступились перед ними, спокойно пропустив их в бухту, откуда, как мы хорошо знали, им неизбежно придется выходить. Наш план был заставить их сражаться на море, в то время как их сила была на суше.

Вход в Актийский залив — не более полумили в ширину, хотя сама бухта достаточно просторна, чтобы вместить все корабли неприятеля, которые бросили якорь в гавани, расположив своих солдат лагерем на берегу. Тем временем Цезарь Август послал часть своей конницы и пеших войск в обход неприятеля, отрезав ему путь к отступлению по суше. А затем мы стали ждать, ибо знали, что наш противник страдает

от голода и болезней и не имеет достаточно сил, чтобы отступить в глубь страны, не понеся огромных потерь. Им не оставалось ничего иного, как сражаться на море.

Корабли, которые мы вернули Антонию после разгрома Секста Помпея, были самыми большими в его флоте; кроме того, я знал, что построенные им самим суда еще больше,— некоторые из них несли на своем борту по десять рядов гребцов и были обшиты железными полосами для защиты от тарана; такие корабли практически непобедимы в открытом бою, когда нет пространства для маневра. Поэтому я еще задолго до того сделал ставку на более легкие и подвижные суда всего с двумя, максимум шестью рядами гребцов, не больше, терпеливо дожидаясь момента, когда восточный флот попытается прорваться в открытое море. У Навлоха, против Помпея, мы вынудили неприятеля сражаться недалеко от берега, где быстроходность не играет важной роли.

Мы стояли в ожидании; наконец, в первый день сентября, вражеские корабли выстроились в боевые порядки, предав огню суда, на которых не хватило гребцов, и мы стали готовиться к тому, что сулил нам следующий день.

Утро нового дня выдалось ясное и солнечное; водная гладь в бухте и на море застыла, словно полированная поверхность стола из полупрозрачного камня. Неприятельский флот поднял паруса, готовый пуститься за нами в погоню, как только поднимется ветер; гребцы разом опустили весла в воду, и вся громада сплошной стеной двинулась нам навстречу. Антоний командовал эскадрой правого борта, состоящей из трех групп, которые шли таким тесным строем, что порой задевали друг друга веслами; флот Клео-

патры следовал за головной эскадрой на некотором отдалении.

Моя эскадра противостояла Антонию, а корабли Цезаря Августа находились по правому борту от меня. Мы расположились полукругом у выхода из залива, выстроившись в одну линию на некотором расстоянии друг от друга, кормами к морю.

Все то время, что вражеский флот надвигался на нас, мы неподвижно выжидали; у выхода из бухты он остановился, и в течение нескольких часов ни одно весло не коснулось воды. Неприятель хотел, чтобы мы сделали первый шаг, но мы не торопились ввязываться в схватку.

Наконец, то ли потеряв терпение, то ли оттого, что кровь ударила ему в голову, командующий эскадрой левого борта двинулся вперед; Цезарь Август сделал вид, что отступает, и эскадра неприятеля сломя голову бросилась в погоню, а за ней последовал и весь восточный флот. Наша головная эскадра отошла назад, растянув занимаемые нами позиции и образовав петлю, в которую, как рыба в сеть, устремился вражеский флот, после чего нам оставалось лишь замкнуть кольцо.

Сражение длилось почти до наступления сумерек, хотя в исходе его с самого начала не было сомнений. Мы не стали поднимать паруса и потому могли легко маневрировать вокруг более тяжелых кораблей противника, которые, распустив паруса, лишили своих пращников и лучников столь необходимого им пространства и предоставили нам отличную мишень для зажигательных ядер. Палубы наших кораблей оставались свободными, и поэтому когда мы брали неприятельское судно на абордаж, у нас всегда было преимущество в численности, и воины противника не могли оказать нам серьезного сопротивления.

Антоний попробовал построиться клином и таким образом прорваться сквозь наш строй, но мы тут же перешли в атаку и сломали его боевые порядки, вынудив его суда сражаться поодиночке; он снова попытался перестроиться, и снова мы не дали ему этого сделать. В конце концов каждый его корабль остался сам по себе биться за свое выживание, кто как мог. Все вокруг было ярко освещено заревом подожженных нами судов, и сквозь ревущее пламя до нас доносились душераздирающие вопли несчастных, заживо горевших вместе со своими кораблями; в потемневшем от крови море беспомощно барахтались воины, сбросив с себя доспехи в отчаянной попытке найти спасение в воде от огня, а также мечей, копий и стрел. И хотя они сражались против нас, они оставались римскими солдатами, и нам было нестерпимо больно видеть столько впустую загубленных жизней наших сограждан.

Все это время флот Клеопатры оставался в тылу, не покидая гавани, и когда наконец поднялся ветер, она приказала распустить паруса и, уклонившись от сцепившихся в смертельной схватке кораблей, устремилась в открытое море, где мы уже не могли ее достать.

Это был один из тех случаев на войне, какой хотя бы однажды доводится пережить каждому солдату: в сумятице сражения корабль, на борту которого находился Цезарь Август, оказался так близко от моего, что мы без труда могли разглядеть друг друга и даже перекинуться парой слов через весь невообразимый шум сражения; в то же самое время не более чем в тридцати шагах от нас оказался уходивший от погони корабль Марка Антония. Я полагаю, мы все трое одновременно заметили пурпурные паруса направляющегося в открытое море флагманского корабля Клеопатры. Мы оставались недвижимы; Антоний стоял на носу своего

корабля, застыв словно резное украшение, провожая глазами покидавшую его царицу. Затем он повернулся и посмотрел в нашу сторону, хотя точно сказать, узнал он кого-нибудь из нас или нет, я не могу. Я заметил, что лицо его стало безжизненным, как у трупа. Потом он как бы через силу поднял руку и тут же безвольно уронил ее; паруса надулись, поймав ветер, огромный корабль медленно развернулся и, набирая скорость, последовал за флагманом Клеопатры. Мы молча наблюдали, как жалкие остатки флотилии Антония уходят в открытое море, и не предпринимали попыток к преследованию. С тех пор я больше никогда не видел Марка Антония.

Брошенные на произвол судьбы своими командирами уцелевшие корабли восточного флота сдались в плен; мы оказали помощь раненым врагам, которые вместе с тем были и нашими братьями, и сожгли все суда, принадлежавшие вражескому флоту; Цезарь Август объявил, что ни один римский солдат, сражавшийся против нас, не понесет наказания за свою храбрость и будет удостоин чести вернуться под покровительство Рима.

Мы знали, что теперь весь мир лежит у наших ног, но в эту ночь в нашем лагере не звучали песни победы и не было в наших сердцах места радости. В ночной тишине слышался лишь плеск волн о борта, шипение головешек да глухие стоны раненых; зарево горящих судов ярко освещало гавань; Цезарь Август стоял на носу флагманского корабля, и алые отблески огней падали на его неподвижное лицо, обращенное в сторону моря, в котором нашли свое последнее пристанище сотни мужественных воинов — как товарищей наших, так и врагов,— ибо смерть не разбирает, кто есть кто.

XIII

Письмо: Гай Цильний Меценат — Титу Ливию (12 год до Р.Х.)

Отвечаю на твои вопросы.

Просил ли Марк Антоний сохранить ему жизнь? Да. Впрочем, об этом лучше забыть. У меня когда-то была копия его письма с просьбой о помиловании, которую я уничтожил. Октавий не стал отвечать на письмо. Антоний не был убит, а действительно покончил с собой, хотя в последний момент рука его дрогнула, и поэтому умер он не сразу. Пусть душа его покоится в мире — не стоит ворошить прошлое.

Что касается Клеопатры: 1) Нет, Октавий не давал указаний убить ее. 2) Да, он встречался с ней в Александрии перед тем, как она покончила с собой. 3) Да, он собирался сохранить ей жизнь; он не желал ее смерти. Она была отличным правителем и могла бы номинально оставаться у власти в Египте. 4) Нет, я не знаю, о чем они говорили в Александрии — он не счел нужным поделиться этим со мной.

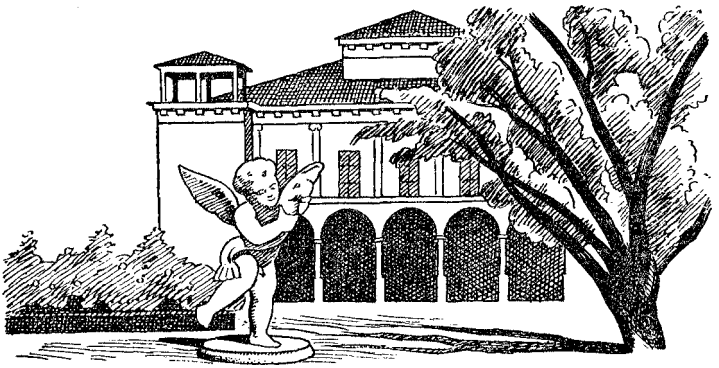
О Цезарионе: 1) Да, ему действительно было всего семнадцать лет. 2) Да, мы приняли решение, что он должен умереть. 3) Да, я полагаю, что он был сыном Юлия. 4) Нет, он был казнен не из-за имени, а из-за его далеко идущих устремлений, сомнений в которых ни у кого не было. Я обратил внимание Октавия на его молодость, в ответ тот напомнил мне, что когда-то сам был семнадцатилетним и полон честолюбивых замыслов.

Относительно Антилла, сына Марка Антония: Октавий велел убить его. Ему тоже было семнадцать лет, и он во всем походил на своего отца.

Относительно возвращения Октавия в Рим: 1) Ему было тридцать три года. 2) Да, он был удостоен трех

триумфов тогда, в начале его пятого консульства. 3) Да, это произошло в тот же год, когда он тяжело заболел и мы уже на чаяли увидеть его живым.

Прости меня, мой дорогой Ливий, за столь краткие ответы на твои вопросы. Я вовсе на тебя не в обиде — просто очень устал. Оглядываясь назад, мне кажется, что все это случилось не со мной, а с кем-то другим, до того это нереально. По правде говоря, мне наскучили воспоминания; может быть, завтра я буду думать по-другому.



Книга вторая

Глава 1

I

Рассказ Гирции, записанный ее сыном Квинтом, Велитры (2 год до Р.Х.)

Я — Гирция. Мать моя, Криспия, когда-то была рабыней в доме Атии, жены Гая Октавия-старшего, племянницы божественного Юлия Цезаря и матери того самого Октавия, кого теперь все знают как Августа. Грамоты я не знаю и потому диктую эти слова моему сыну Квинту, управляющему имениями Атия Сабина в Велитрах. Он записывает мой рассказ, чтобы наши потомки знали о том, что было до того, как они появились на свет, и кто были их предки. Мне нынче пошел семьдесят второй год, и мне недолго ждать смерти, потому я хочу поведать свою историю прежде, чем глаза мои закроются навсегда.

Три дня назад мой сын взял меня с собой в Рим, чтобы, пока глаза мои еще могут видеть, я в последний раз увидела город, который помню со времен своей

молодости. И вот тогда-то и случилось событие, заставившее меня вернуться в прошлое столь отдаленное, что я и не чаяла когда-нибудь его вспомнить: больше пятидесяти лет спустя я снова увидела того, кто теперь повелитель всего мира и носит столько титулов, что моя слабая память и запомнить их все не может. Когда-то я звала его просто «мой Тавий» и носила на своих руках, словно собственное дитя. Об этом я расскажу чуть позже, а сначала хочу поведать о временах более ранних.

Мать моя была рождена рабыней в доме, принадлежащем роду Юлиев. Поначалу ее приставили к Атии в качестве подруги для игр, а затем — как служанку. Еще в ранней молодости за свою верную службу она была отпущена на свободу и потому могла, согласно закону, выйти замуж за вольноотпущенника Гирция — моего отца,— который надзирал за оливковыми рощами в имении Октавиев в Велитрах; там, в небольшом домике на холме недалеко от виллы, я родилась и провела первые девятнадцать лет жизни, окруженная лаской и заботой моих родителей. Нынче я снова живу в Велитрах, и если будет на то воля всевидящих богов, то закончу свой земной путь в том самом доме, где прошли самые счастливые годы моего детства.

Моя госпожа и ее муж нечасто бывали на вилле — они жили в Риме, ибо Гай Октавий-старший был важной фигурой в тогдашнем правительстве. Когда мне исполнилось десять лет, мать сказала мне, что Атия родила сына, который оказался очень болезненным мальчиком, и она решила, что чистый воздух Велитр, вдали от смрада и копоти Рима, пойдет ему на пользу. Моя мать незадолго до того разрешилась мертворожденным ребенком и потому могла стать ему кормилицей. Она дала ему свою грудь, как если бы он был ее собственным сыном, а я приняла его в свое сердце,

в котором уже тогда начали пробуждаться материнские чувства.

Я была еще совсем девочкой, но заботилась о нем как настоящая мать: купала и пеленала его, держала за руку, когда он делал свои первые шаги. Можно сказать, он рос у меня на глазах — в моей детской игре в дочки-матери он был моим Тавием.

Когда тому, кого я звала Тавием, исполнилось пять лет, после длительного пребывания в Македонии в Италию вернулся его отец, который пробыл несколько дней с семьей в Велитрах, намереваясь после этого переехать на юг на виллу в Ноле, где мы все должны были к нему присоединиться с наступлением зимы. Но он неожиданно заболел и скоропостижно умер здесь же, в Велитрах; так мой Тавий потерял отца, которого никогда не знал. Я старалась утешить его, взяв к себе на руки; я помню, как дрожало его маленькое тельце, прижатое к моей груди, но глаза его оставались сухими.

После этого он провел с нами еще четыре года, хотя теперь у него был учитель из Рима, следивший за его воспитанием; иногда к нему приезжала Атия. Когда мне стукнуло восемнадцать лет, я потеряла мать, и моя госпожа Атия (которая во исполнение своего долга и после положенного по закону траура снова вышла замуж) решила, что настала пора ее сыну вернуться в Рим и стать настоящим мужчиной. По доброте своей и в заботе о моем будущем она отдала мне во владение надел земли, достаточно большой, чтобы я никогда не знала нужды; а ради моего собственного счастья сосватала мне в мужья вольноотпущенника своей семьи, жившего в скромном, но надежном достатке благодаря небольшой отаре овец, которую он держал на выпасе в горах возле Мутины, к северу от Рима.

Так я рассталась со своей юностью и стала взрослой женщиной и навеки простилась с мальчиком, которого понарошку считала своим сыном. Время игр закончилось для меня навсегда, но я не могла сдержать рыданий при расставании с Тавием; он обнял меня, как будто это я была ребенком, нуждающимся в утешении, и прошептал мне на ухо, что никогда меня не забудет. Мы поклялись, что непременно увидимся снова, хотя никто из нас в это не верил. А затем тот, кто был для меня «моим Тавием», покинул Велитры, чтобы позже стать повелителем мира, а я нашла свое собственное счастье в том предназначении, что боги определили на мою долю.

Как может невежественная старая женщина узреть величие в том, кого знала еще младенцем, видела его первые робкие шаги и была свидетелем его шумных мальчишеских забав со своими сверстниками? А нынче повсюду за пределами Рима, в деревнях и провинциальных городах, его почитают как бога; даже в моей родной Мутине есть храм его имени, и я слышала, что подобные же храмы имеются и во многих других местах; его изображение стоит на почетном месте над очагом в сельских домах по всей стране.

Мне неведомо, что движет миром или богами, но я до сих пор прекрасно помню ребенка, который был почти моим, хоть и не мое тело родило его, и должна рассказать об этом: его волосы были светлее, чем пшеничные колосья по осени, а кожа такая белая, что сразу же обгорала на солнце; порой он был непоседлив и весел, а порой — тих и задумчив; он легко гневался, но так же легко и отходил; и хотя я и любила его, не могу сказать, что он был отличен от других детей.

Наверняка уже тогда боги одарили его тем величием, о котором теперь знает весь мир, но даже если это

и так, клянусь Зевсом, сам он об этом не догадывался. Его товарищами по играм были его ровесники, подчас дети самых что ни на есть последних рабов; и в деле, и в игре он не любил оставаться в долгу. Да, боги и вправду, должно быть, благоволили к нему, но в мудрости своей держали это от всех в тайне, ибо, как я слышала впоследствии, с его рождением было связано множество предзнаменований. Говорят, матери его приснился сон, в котором бог, обернувшись змеем, сошелся с нею, после чего она зачала Октавия, а отцу во сне привиделось, будто из чрева ее исходит сияние; множество других необъяснимых и чудесных событий произошло по всей Италии в момент его рождения. Я повторяю только то, что сама слышала, и рассказываю о том, что помню.

А теперь я должна поведать о встрече, которая пробудила во мне все эти воспоминания.

Мой сын Квинт хотел показать мне великий форум, на котором часто бывал по делам своего господина; и вот, едва лишь рассвело, он поднял меня, чтобы успеть пройти к форуму, пока улицы свободны от народа. Мы миновали новое здание сената и стали подниматься по Священной улице к храму Юлия Цезаря, ослепительно сверкавшему в лучах утреннего солнца, словно снег в горах. И я вспомнила, как, будучи маленькой девочкой, видела этого человека, теперь ставшего богом; и я поразилась величию мира, частью которого была сама.

Мы остановились перевести дух возле храма — в мои годы я быстро устаю,— и тут я заметила идущую по улице к нам навстречу небольшую группу людей, в которых я признала сенаторов по пурпурным полосам на тогах. Среди них выделялась худощавая, согбенная (вроде меня) фигура человека в широкополой шляпе и с посохом в руке; все остальные сенаторы, похоже,

обращали все свои слова к нему. Я уже давно слаба глазами и потому не могла как следует разглядеть его лицо, но какое-то внутреннее чувство подсказало мне, кто этот человек.

— Это он! — воскликнула я, обращаясь к Квинту.

Он улыбнулся и спросил:

— Кто, матушка?

— Это он,— повторила я с дрожью в голосе.— Это мой господин, о котором я тебе рассказывала, тот, за которым я присматривала в детстве.

Квинт еще раз взглянул на него, потом взял меня за руку и подвел ближе к улице, по которой двигалась процессия. К этому времени вокруг уже собралась толпа горожан, заметивших ее приближение.

У меня и в мыслях не было заговорить с ним, но, увидев его так близко, я уже не могла сдержать нахлынувших на меня воспоминаний.

— Тавий,— сказала я еле слышно, почти шепотом, когда он проходил мимо; и вдруг тот, к кому я вовсе не собиралась обращаться, остановился и в изумлении поглядел на меня. Потом, жестом повелев своей свите оставаться на месте, он направился ко мне и спросил:

— Ты что-то сказала, старая женщина?

— Да, господин,— ответила я.— Прости старуху.

— Ты произнесла имя, которым меня звали в раннем детстве.

— Я Гирция; моя мать была твоей кормилицей, когда ты жил в Велитрах. Ты, наверное, не помнишь.

— Гирция,— сказал он и улыбнулся. Затем он подошел поближе и окинул меня долгим взглядом; лицо его было в морщинах, щеки впалые, но я все равно узнала в нем моего мальчика.— Гирция,— повторил он и тронул меня за руку.— Я помню. Сколько лет, сколько лет...

— Больше пятидесяти,— сказала я.

Тем временем к нам приблизились некоторые из сопровождавших его сенаторов; он подал им знак удалиться.

— Пятьдесят лет,— задумчиво промолвил он.— Что принесли тебе они?

— Я воспитала пятерых детей, трое из которых и посейчас живы и на судьбу не жалуются. Муж мой был хороший человек, и жили мы, ни в чем не нуждаясь. Боги прибрали мужа к себе, а теперь и мне недолго осталось ждать.

— Среди твоих детей были ли дочери? — спросил он, бросив на меня пытливый взгляд.

«Странный вопрос»,— подумала я про себя и сказала:

— Нет, мой господин, судьба одарила меня сыновьями.

— Почитают ли они тебя?

— Да, почитают.

— Тогда жизнь твоя удалась,— сказал он.— Может быть, она была даже лучше, чем ты думаешь.

— Я готова следовать воле богов, когда бы они ни призвали меня к себе.

Он кивнул, и лицо его омрачилось.

— В таком случае тебе повезло больше, чем мне, сестрица,— сказал он с какой-то странной горечью, причину которой я не поняла.

— Но ты ведь не такой, как другие,— в домах простых селян твое изображение охраняет очаг; его можно встретить на перекрестках и в храмах. Как можешь ты быть несчастлив, когда тебя почитает весь мир?

Он ничего не ответил, лишь молча взглянул на меня; затем повернулся к Квинту, стоявшему рядом, и сказал:

— А это, должно быть, твой сын — он очень похож на тебя.

— Это Квинт,— ответила я.— Он управляющий имениями Атия Сабина в Велитрах. С тех пор как я овдовела, я живу там с ним и его семьей. Они хорошие люди.

Некоторое время он задумчиво оглядывал Квинта, а затем произнес:

— У меня никогда не было сына. Одна лишь дочь и Рим — вот и все.

— Все люди — твои дети,— сказала я.

Он улыбнулся:

— Я думаю, сейчас я бы предпочел иметь троих сыновей и прожить свою жизнь, окруженный их заботой.

Я не знала, что на это сказать, и потому промолчала.

— Господин,— обратился к нему мой сын, дрожа от волнения,— мы простые люди, господин, и жизнь наша простая. Я слышал, сегодня ты будешь выступать в сенате, делясь с миром своей мудростью и опытом. По сравнению с тобой наша доля совсем незавидная.

— Квинт — так, кажется? — спросил он.

Мой сын кивнул.

— Так вот, Квинт, сегодня с высоты своей мудрости я должен посоветовать — нет, дать указание сенату забрать от меня то, что я любил больше всего на свете.

На мгновение в глазах его вспыхнул огонь, но тут же черты его смягчились, и он сказал:

— Я дал Риму свободу, которой лишь я один не могу воспользоваться.

— Ты так и не нашел свое счастье, хоть и принес его другим,— сказала я.

— Так сложилась моя жизнь,— ответил он.

— Надеюсь, и тебе улыбнется судьба.

— Благодарю тебя, сестрица. Может быть, я могу тебе чем-нибудь помочь?

— Мне ничего не надо,— ответила я.— И сыновьям моим — тоже.

Он кивнул головой и сказал:

— Ну что ж, пора идти выполнять свой долг.

Долгое время он молчал, не делая попыток уйти.

— Мы все-таки встретились, как и обещали друг другу много-много лет назад.

— Да, господин.

Он улыбнулся:

— Раньше ты звала меня Тавием.

— Тавий,— сказала я.

— Прощай, Гирция. На этот раз мы, пожалуй...

— Мы, пожалуй, больше уже не встретимся,— договорила я.— Я еду в Велитры и уже не вернусь в Рим.

Он молча кивнул, затем приложился губами к моей щеке и медленной походкой спустился вниз по улице, где ждали его сопровождающие.

Я продиктовала это моему сыну Квинту за три дня до сентябрьских ид. Я рассказала об этих событиях ради моих сыновей и их детей, ныне здравствующих и еще не рожденных, чтобы, пока существует наш род, они знали, кто были их предки в том мире, что называется Римом, в те стародавние времена.

II

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Серые скалы за моим окном, угрюмые даже в ярком свете полуденного солнца, бесформенной громадой спускаются к морю. Как и все остальные скальные породы на этом острове, они вулканического проис-

хождения — пористые и легкие на вес; ходить по ним надо очень осторожно, чтобы не порезаться об острые края. Есть здесь и другие скалы, но мне не дано видеть их — одной, без сопровождения или надзора, мне разрешается отходить не более чем на сто шагов по направлению к морю, до узкого пляжа из черного вулканического песка, и на такое же расстояние в любую другую сторону от небольшой каменной хижины, бывшей моим пристанищем последние пять лет. Я знаю каждую трещину в этой бесплодной земле — до такой степени я никогда не знала ни одного другого места, включая и мой родной Рим, с которым успела сродниться почти за сорок лет, проведенных там. Похоже, мне более не суждено увидеть ничего иного, кроме этого каменистого острова.

В ясные дни, когда солнце или ветер разгоняют туман, наползающий с моря, я смотрю на восток, и порой мне кажется, что я вижу италийский берег и даже узнаю город Неаполис, укрывшийся в своей уютной бухте, хотя наверняка сказать трудно — вполне возможно, это лишь темная туча, затягивающая горизонт. Впрочем, неважно — туча или берег, я все равно никогда не узнаю.

Внизу подо мной, на кухне, моя мать бранит единственную дозволенную нам служанку; до меня доносится оглушительный грохот горшков и кастрюль и новый взрыв брани — сцена, с удивительным постоянством повторяющаяся каждое утро все эти пять лет. Дело в том, что служанка наша нема как рыба, и, хотя она и может слышать обращенные к ней слова, очень сомнительно, что она вообще понимает латынь. Тем не менее моя мать с поразительной, хотя и пустой, настойчивостью продолжает кричать на нее, подхлестываемая неувядающей верой в то, что ее неудовольствие будет наконец прочувствовано и, таким образом, возымеет

действие. Мать моя Скрибония — удивительная женщина: ей почти семьдесят пять лет, а в ней еще столько жизненной энергии, что хватило бы и на нескольких молодых. Одно жаль: все ее усилия направлены на то, чтобы привнести некий довольно своеобразный порядок в мир, который с самого начала был ей не по нраву, ибо никак не хотел следовать принципам, сущность которых оставалась тайной как для нее, так и для мира. Я не сомневаюсь, что она приехала со мной сюда, на Пандатерию, вовсе не из материнских чувств, а в отчаянной погоне за очередным подтверждением своей мысли о том, что жизнь ее не удалась. Я не возражала против ее присутствия из чувства, я бы сказала, оправданного безразличия.

Свою мать я почти не знаю: я видела ее всего несколько раз в младенчестве, еще реже — подростком, а взрослой женщиной встречалась с ней лишь на более или менее официальных церемониях. Я никогда не любила ее; и теперь, после пяти лет вынужденной близости, меня не может не утешать то обстоятельство, что мои чувства к ней остались прежними.

Я — Юлия, дочь Октавия Цезаря Августа. Я пишу эти строки на сорок третьем году жизни, имея целью то, что положительно не одобрил бы Атенодор, друг моего отца и мой учитель: собственное развлечение, и ничего больше. Даже если бы я и желала своему дневнику иной судьбы, очень сомнительно, что кому-нибудь еще доведется его увидеть. Но это и не входит в мои намерения — я не собираюсь объясняться перед миром и не нуждаюсь в его понимании, ибо и то и другое мне теперь глубоко безразлично. И сколько бы еще ни прожило на этом свете мое тело, которому я с большим усердием и искусством служила на протяжении стольких лет, та часть моей жизни, которая имела для меня значение, ушла безвозвратно, посему теперь

я могу наблюдать ее с отвлеченным интересом философа, которым я могла бы, по словам Атенодора, стать, если бы родилась мужчиной, а не дочерью императора и бога.

И все же удивительно, как велика сила привычки! Даже сейчас, записывая эти первые строчки в свой дневник и прекрасно зная, что они предназначены лишь для глаз самого странного из всех читателей — меня самой, я ловлю себя на том, что останавливаюсь в раздумье в поисках подходящей темы для рассуждения, спора с собой, его построения и наиболее целесообразного расположения его частей и даже стиля, в каком эти части должны быть представлены. А ведь это всего лишь я, это только себя я хочу убедить в истине силой моих доводов и себя же разуверить. Какая глупость! Впрочем, вреда от этого никому нет. В конце концов, это занимает мое время ничуть не хуже, чем подсчитывание волн, накатывающихся на прибрежный песок и с шумом разбивающихся о прибрежные скалы острова, ставшего моей тюрьмой.

Да, очень похоже, что жизнь моя кончена, хотя, как мне кажется, я до конца не осознавала всю очевидность этого факта вплоть до вчерашнего дня, когда, впервые за почти два года, получила письмо из Рима. Мои сыновья Гай и Луций оба умерли: один от раны, полученной в Армении, а другой — от неизвестной болезни на пути в Испанию, в городе Марселии. Когда я закончила читать письмо, на меня нашло какое-то оцепенение, которое я несколько отстраненно отнесла на счет потрясения от полученных новостей. Я ожидала, что окажусь убита горем, но ничего подобного не случилось — вместо этого я поймала себя на том, что стала припоминать свою жизнь и наиболее яркие эпизоды, расцветившие ее, будто мне больше ни до чего не было дела. И тогда я поняла, что это конец: не

думать о себе — еще полбеды, но забыть тех, кого когда-то любила,— это совсем другое. Все вокруг стало таким несущественным — объект безучастного любопытства, не больше. Может быть, я пишу эти строки, привычно используя заученные риторические приемы, для того, чтобы найти в себе силы стряхнуть с души наконец ленивую апатию, в которую погружена. Но, скорее всего, это так же недостижимо, как столкнуть в темную пучину моря эти огромные скалы. Даже мои сомнения не трогают меня.

Я — Юлия, дочь Гая Октавия Цезаря Августа; я родилась на третий день сентября в консульство Луция Марция и Гая Сабина в городе Риме. Моей матерью была Скрибония, сестра тестя Секста Помпея, пирата, которого мой отец сокрушил ради безопасности Рима через два года после моего рождения...

Такое начало одобрил бы даже сам Атенодор, мой бедный, несчастный Атенодор.

III

Письмо: Луций Варий Руф — Публию Вергилию Марону из Рима (39 год до Р.Х.)

Дорогой мой Вергилий, надеюсь, ты чувствуешь себя лучше и теплое неаполитанское солнце помогает тебе бороться с недугом. Твои друзья шлют тебе свои наилучшие пожелания; они дали мне наказ заверить тебя, что наше благополучие целиком зависит от Вергилия: если с тобой все в порядке, то и нам хорошо. Они также просили меня передать свои сожаления, что ты не смог присутствовать на пиру в доме Клавдия Нерона вчера вечером, от коего я лишь сегодня только-только начинаю приходить в себя. Это был самый что ни на есть

удивительный вечер, и ты забудешь о своем недомогании, когда я расскажу тебе о нем.

Знаешь ли ты Клавдия Нерона, устроителя пира? Он говорит о тебе с определенным оттенком фамильярности, предполагающим, что ты с ним, по крайней мере, встречался. Если ты и вправду его знаешь, то, возможно, помнишь, что еще два года тому назад он жил на Сицилии, куда был сослан за участие в перузийском мятеже; нынче он отрекся от политики, и, похоже, они с Октавием теперь большие друзья. Он весьма немолод, и жена его, Ливия, годится ему скорее в дочки, чем в супруги,— немаловажное обстоятельство, значение которого ты скоро поймешь.

Пирушка превратилась в литературный диспут, хотя я сомневаюсь, что Клавдий задумал его. Он неплохой человек, но не сказать, чтобы больших знаний. Скоро стало ясно, что собранием заправляет Октавий, а Клавдий лишь номинальный хозяин. Предлогом для приглашения было чествование Поллиона, который наконец открывал в Риме давно обещанную публичную библиотеку, дабы мудрость и знание процветали и среди простолюдинов.

Общество собралось довольно разношерстное, но все вышло как нельзя удачно. Большинство приглашенных были нашими друзьями: Поллион, Октавий и, увы, Скрибония, Меценат, Агриппа, я, Эмилий Мацер, твой «поклонник» Мевий, который наверняка хитростью выманил приглашение у бедняги Клавдия, каковому ничего не оставалось делать, как позвать его; еще один гость, которого никто из нас не знал, некий странный низкорослый понтиец из Амасии по имени Страбон — что-то вроде философа, насколько я понял; для украшения застолья были приглашены несколько знатных дам, имен которых я не припомню, и, к моему вящему изумлению (и твоему, как я подозреваю, удовольствию),

этот довольно резкий, но притом весьма обаятельный молодой человек, трудами которого ты так великодушно восхищаешься,— твой Гораций. Я полагаю, это Меценат посодействовал его приглашению, несмотря на то, что всего несколько месяцев назад сам оказался мишенью язвительных нападок Горация.

Должен заметить, что Октавий пребывал в замечательном расположении духа и был, можно даже сказать, чуть ли не болтлив, невзирая на привычно кислое выражение лица Скрибонии. Он ведь только что вернулся из Галлии и после месяцев, проведенных в суровых военных условиях, не мог не истосковаться по цивилизованному обществу; кроме того, трудности, связанные с Марком Антонием и Секстом Помпеем, были временно отодвинуты на задний план, если и не разрешены окончательно. А может быть, его жизнерадостность имела своим источником присутствие жены Клавдия, Ливии, к которой он, похоже, весьма неравнодушен.

Одним словом, Октавий настоял на исполнении роли виночерпия; при этом он замешивал вино крепче, чем обычно,— разбавляя его лишь наполовину водой, так что еще до появления первого блюда большинство из нас уже было навеселе. Он также настоял, чтобы Поллион, а не он восседал на почетном месте возле Клавдия, заняв более скромное ложе рядом с Ливией.

Я не мог не обратить внимания на то, что Октавий и Клавдий были чрезвычайно любезны друг с другом; учитывая их обстоятельства, можно было подумать, что они в сговоре. Скрибония сидела за соседним столом, сплетничая с другими дамами и время от времени бросая осуждающие взгляды в сторону нашего стола, хотя одним богам известно, что вызвало ее негодование,— ей ее брак так же не по душе, как и Октавию, и ни для кого

не секрет, что, как только она разрешится от бремени, они разведутся... Что за неприглядные игры приходится вести им, власть предержащим! И как нелепо они выглядят в глазах муз! Сдается мне, что те, кто всего ближе к богам, всего более в их власти. Благословим судьбу, мой дорогой Вергилий, что нам нет нужды вступать в брак, чтобы оставить после себя след на земле, ибо порождения нашей души и в грядущих веках останутся такими, какими мы их создали, и никогда не умрут.

Должен признать, что Клавдий порадовал своих гостей весьма неплохим столом, попотчевав нас очень приличным кампанийским вином перед едой и хорошим фалернским — после; сама еда была и не нарочито изысканная, но и не подчеркнуто простая: устрицы, яйца и крошечные луковички на закуску; затем жареный козленок, запеченные цыплята и жареный лещ; на десерт — богатый выбор фуктов.

После трапезы Октавий поднял тост за муз и предложил обсудить достоинства каждой из них в отдельности; некоторое время он дискутировал сам с собой, кого взять в рассмотрение: то ли трех древнейших, то ли девять более современных, и, как бы после нелегкой борьбы, остановился на последних.

— Но,— сказал он, лукаво поглядев на Клавдия,— воздавая хвалу избранным нами музам, мы не позволим себе запятнать их прекрасные имена упоминанием о политике; данный предмет может всех нас поставить в неловкое положение.

Это замечание было встречено всеобщим, хотя и несколько нервным, смехом. И тут я вдруг осознал, сколько непримиримых врагов, бывших и будущих, находилось вместе со мной в этой зале: Клавдий, которого Октавий выслал из Италии меньше двух лет назад;

сам Поллион, наш почетный гость, давнишний друг Марка Антония; молодой Гораций, всего за три года до этого сражавшийся на стороне изменника Брута, и, наконец, Мевий, бедняга Мевий, снедаемый такой всепоглощающей завистью, что никто не мог укрыться от ядовитых стрел его вероломной лести, или, если угодно, льстивого вероломства.

Поллион, будучи почетным гостем, выступил первым. Отвесив в виде извинения поклон в сторону Октавия, он выбрал своим предметом восхваление музы памяти, Мнемы: представив весь род человеческий как отдельного индивида, он провел параллель между коллективным опытом человечества и разумом отдельного человека, откуда довольно изящно (хотя и очевидно) перешел к упоминанию о библиотеке, которую создавал в Риме, представив ее как наиболее важное свойство разума — память, и заключил все это тем, что муза памяти по праву правит всеми остальными в благотворной гармонии.

Мевий издал трепетный вздох и громким шепотом произнес, обращаясь к кому-то из гостей:

— Прекрасно! Просто слов нет!

Гораций взглянул на его, недоуменно приподняв бровь.

Агриппа посвятил свое выступление Клио, музе истории; Мевий громко прошептал что-то насчет мужественности и отваги; Гораций бросил на него негодующий взгляд. Когда подошла моя очередь, я заговорил о Каллиопе*— боюсь, не очень удачно, ибо не мог сослаться на мой собственный труд о покойном Юлии Цезаре, хоть это всего лишь и поэма, не нарушая запрета Октавия на упоминание о политике.

Все это было довольно скучно, хотя Октавий, который сидел, откинувшись на подушки, рядом с Ливи-

ей, казался вполне доволен; именно его веселое оживление и непосредственность помогали вынести то, что иначе было бы невыносимо.

Затем он предложил Мевию (что было довольно очевидно, на мой взгляд, хотя Мевий настолько высокого мнения о себе, что не заметил подвоха) взять музу комедии Талию; тот, польщенный оказанным ему вниманием, разразился долгой и нелепой сентенцией (украденной, я полагаю, у Антисфена Афинского*) о новоафинских выскочках — рабах, вольноотпущенниках и торговцах,— каковые возомнили себе, что могут быть на равной ноге с вышестоящими; которые умудрялись напроситься в гости к великим мира сего, где на пирах объедались, беззастенчиво злоупотребляя щедростью и добротой своих благородных хозяев; и как Талия, богиня духа комедии, дабы проучить сих недостойных мужланов, навела на них порчу, чтобы всякий без труда мог различить их породу, защитив, таким образом, от них людей знатного происхождения: некоторых она превратила в карликов с копной волос, словно стог сена, в котором они родились, и манерами, уместными лишь в конюшне, и т.д. и т.п.

Скоро стало ясно, что Мевий метит в твоего молодого друга Горация но по какой причине, было непонятно. Никто точно не знал, как себя при этом вести,— мы смотрели на Октавия, но лицо его оставалось безучастным, оборачивались к Меценату, но тот, казалось, ничего не замечал. Никто не осмеливался взглянуть на Горация, кроме меня одного, сидевшего рядом с ним: в мерцающем свете факелов он казался бледнее смерти.

Наконец Мевий закончил и сел на место, весьма довольный тем, что польстил патрону и уничтожил возможного врага. Среди гостей пробежал шепоток. Октавий поблагодарил его и сказал:

— А теперь кто возьмет на себя смелость выступить от имени Эрато, музы поэзии?

Мевий, воодушевленный кажущимся успехом, предложил:

— Конечно, Меценат; он давно добивался расположения Эрато, и теперь она по праву принадлежит ему. Без сомнения, это должен быть Меценат.

Меценат сделал утомленный жест рукой и лениво произнес:

— Нет-нет, я вынужден отклонить эту честь. В последние несколько месяцев капризная муза больше не наведывается в мои сады... Может быть, мой юный друг Гораций хочет выступить?

Октавий рассмеялся и, обернувшись к Горацию, с исключительной любезностью сказал:

— Я встретился с нашим уважаемым гостем лишь сегодня, но тем не менее позволю себе попросить его доставить нам удовольствие своим выступлением.

— Хорошо,— сказал Гораций и надолго замолчал.

Затем, не дожидаясь слуги, налил себе полную чашу неразведенного вина и одним движением опорожнил ее. А потом он заговорил. Передаю тебе его слова, как я их запомнил:

— Всем вам знакома история грека Орфея, о котором наш отсутствующий здесь Вергилий так прекрасно написал,— того самого Орфея, сына Аполлона и музы Каллиопы, удостоенного вниманием лучезарного бога, получившего в дар от отца золотую лиру, несущую в мир волшебный свет, заставляющий даже бездушный камень и мертвое дерево расцвести такой чудесной красотой, какая и не снилась простым смертным. И вы конечно же помните о его любви к Эвридике, о которой он пел с таким безупречным изяществом, что Эвридика поверила, будто сама была частью души певца, и стала его супругой, вызвав потоки слез у Гименея,

словно знавшего заранее, что готовит ей судьба. Все вы также знаете, что однажды Эвридика, беспечно заступив пределы мира, преображенного чарами ее мужа, была укушена змеей, что вышла из недр земных, и унесена из мира света во тьму подземного царства, куда за ней в отчаянии последовал Орфей, завязав себе глаза, чтобы ненароком не заглянуть во мрак, который ни один смертный не должен видеть. И там он пел свои песни, столь прекрасные, что рассеял тьму таким ярким светом, что даже духи не могли сдержать слез, а колесо, на котором кружился несчастный Иксион, остановилось как вкопанное; и демоны ночи отступили и сказали, что Эвридика может вернуться вместе с мужем в мир света при условии, что Орфей не снимет с глаз повязки и ни разу не оглянется на следующую за ним жену...

Легенда не говорит нам, почему Орфей нарушил обет; она говорит лишь, что он сорвал повязку и оглянулся назад; и на его глазах Эвридика исчезла в недрах земли, которая тут же сомкнулась над ней, оставив его одного. А потом, продолжает легенда, Орфей изливал свою печаль в таких прекрасных песнях, что знавшие лишь свет дня девы, не ведавшие о том, что ему довелось пережить, пришли к нему и предложили себя в утешение, дабы увлечь его прочь от печальных воспоминаний; но он отказал им, и, объятые великим гневом, они сумели своими воплями заглушить его песню, разрушив волшебные чары, и в охватившем их безумии растерзали его на части, бросив их в реку Эбр, где его голова продолжала петь свою безмолвную песнь; и самые берега раздались перед ней вширь, чтобы поющая голова его могла благополучно достичь бескрайнего моря... Такова история грека Орфея, как рассказал ее Вергилий.

Глубокая тишина повисла над залой; Гораций снова зачерпнул полную чашу вина и выпил ее до дна.

— Боги в своей мудрости,— сказал он,— подают нам знамения — стоит лишь прислушаться. Теперь я расскажу вам о другом Орфее, не сыне бога и богини, а об италийском Орфее, отец которого был рабом, а у матери не было даже имени. Некоторые, без сомнения, лишь посмеются над таким Орфеем, но насмешники эти забывают, что все римляне происходят от бога — и потому носят имя его сына — и от смертной женщины, от которой унаследовали принадлежность к роду человеческому. Посему даже на карлика с копной сена на голове может снизойти милость богов, если он рожден землей, любимой Марсом... Тот Орфей, о котором я говорю, не золотую лиру, а тусклый светильник получил в дар от своего незнатного отца, готового жизнь положить за то, чтобы сын его выбился в люди. И вот еще в детстве этот молодой Орфей сподобился увидеть свет Рима, как и сыновья богатых и могущественных мира сего; а потом в юные годы на средства своего отца он приобщился к свету, исходящему из обители всех мыслимых знаний — Афин. В нем страстно пылал огонь любви, но не к женщине: его Эвридикой было знание, незримый мир грез, которому он посвятил свои песни. Но сей мир света, мечту об абсолютном знании затмила тень междоусобной распри; и, отринув свет, молодой Орфей вверг себя во тьму, дабы вернуть свою мечту; и при Филиппах, почти совсем позабыв свою песнь, он бился против того, кого считал порождением сил тьмы. А потом боги или демоны — он и посейчас не знает точно — благословили его даром малодушия и наказали ему бежать с поля боя, пока его мечта и знание еще живы, и не оглядываться назад, на то, что он оставлял за собой. Но как и тот, другой Орфей, на самом пороге царства

мрака он оглянулся, и мечта его, словно туман, растаяла без следа во тьме времени и пространства. Он увидел мир и свое одиночество в нем — без отца, без имущества, без надежды, без мечты... И вот тогда боги наконец вручили ему золотую лиру и велели играть на ней, следуя своему сердцу, а не их прихоти. Боги мудры в своей безжалостности, ибо теперь тот, кто не имел голоса, запел. Прекрасные фракийские девы не приходят обольстить его и не предлагают ему своих прелестей — он довольствуется услугами честной блудницы, оплатив их сполна. И когда он поет, то не безумные девы, а жалкие шавки пытаются своим тявканьем заглушить его голос; и чем дальше, тем больше их становится, и, без сомнения, и его тело будет однажды разорвано на части, хоть его песнь и звучит громче, чем тявканье; и так, с песней на устах, несет его судьба в море забвения, которое поглотит нас всех... Такова, мои благородные господа, скучная история местного Орфея, и я желаю вам всего доброго и оставляю с его песнями.

Мой дорогой Вергилий, я не могу сказать, сколько времени длилась пауза после его слов, как не могу назвать и причину ее — было ли то потрясение и страх или все присутствующие (включая и меня) пребывали в завороженном состоянии, словно и вправду услышали волшебную лиру Орфея. Тускло горящие факелы бросали дрожащие отсветы по стенам, и мне вдруг на мгновение почудилось, будто мы все находимся в том самом подземном царстве, о котором говорил Гораций, и только-только выходим из него на свет, не осмеливаясь оглянуться назад. Наконец Мевий пошевелился и с возмущением в голосе прошептал, прекрасно сознавая, что будет услышан тем, кому его слова предназначались:

— Филиппы, силы тьмы — какая чепуха! Это же измена, заговор против триумвира!

На протяжении всего выступления Горация Октавий сидел не шевелясь. Но вот он приподнялся со своего ложа и уселся рядом с Ливией.

— Измена? — мягко спросил он.— Нет, это не измена, Мевий. И пожалуйста, не говори больше об этом в моем присутствии.

Он встал и через всю комнату прошел к тому месту, где сидел Гораций.

— Ты не возражаешь, если я к тебе присоединюсь? — спросил он.

Наш юный друг молча кивнул. Октавий сел рядом с ним, и они стали тихо беседовать. После этого Мевий до самого конца не проронил ни слова.

Так, мой дорогой Вергилий, наш Гораций, которого мы с тобой полюбили всей душой, нашел себе друга в лице Октавия Цезаря. Должен сказать, что в общем и целом вечер удался.

IV

Письмо: Мевий — Фурию Бибакулу из Рима (январь, 38 год до Р.Х.)

Мой дорогой Фурий, я все никак не мог решиться написать тебе подробно о том злополучном вечере в доме Клавдия Нерона прошлым сентябрем, где единственным утешением было отсутствие нашего «друга» Вергилия. Но, возможно, это даже и к лучшему, ибо определенные события, произошедшие с тех пор, представили все это дело в еще более нелепом свете, чем казалось тогда.

Я уже не припомню всех, кто был там,— конечно, Октавий и эти его странные друзья: этруск Меценат,

усыпанный драгоценностями и надушенный с головы до ног, и Агриппа, от которого так и разит потом и сырой кожей. Все мероприятие явно было задумано как литературный вечер, но, друг мой милый, если бы ты знал, как низко пала наша изящная словесность! По сравнению с нынешними литераторами даже вечно хныкающий жалкий мошенник Катулл почти сойдет за поэта. Там был этот надутый осел Поллион, перед которым приходится расшаркиваться из-за его богатства и политической власти и который часами утомляет своими сочинениями тех, кто имел глупость откликнуться на его приглашение и теперь вынужден, с трудом подавляя смех, выслушивать его трагедии и разыгрывать глубокое волнение от его виршей; Мацер, обнаруживший десятую музу, музу скуки; а также этот невозможный выскочка Гораций, которого я, да будет тебе известно, на глазах у всех присутствующих довольно успешно осадил. Словоохотливые политики, напыщенные болтуны, безграмотные простолюдины — все они лишь наносят урон цветущим садам прекрасных муз. Остается только удивляться, как мы с тобой еще находим смелость не бросать своего занятия!

Но намного интереснее, чем литературные, были в тот вечер светские интриги. Вот о них-то я и хочу тебе поведать.

Все мы слышали о женолюбивых наклонностях Октавия. Я лично вплоть до того вечера не придавал этим рассказам большого значения, ибо он с виду такой замухрышка, бледный и невзрачный, что, казалось бы, одной чаши неразбавленного вина и страстного объятия вполне достаточно, чтобы навечно отправить его к праотцам (кем бы они ни были); однако теперь я начинаю подозревать, что в этих слухах все-таки может быть доля истины.

Жена нашего гостеприимного хозяина, некто Ливия, происходящая из древнего рода приверженцев республики (я слышал, что ее собственный отец погиб от руки воина Октавия при Филиппах), оказалась необыкновенно красивой, если кому нравится такой тип: довольно неплохая фигура, светлые волосы, безупречно правильные черты лица, тонкие губы, мягкий голос и т.д. и т.п., в общем, как говорят,— «патрицианский идеал». Будучи еще совсем молодой женщиной — ей всего-то лет восемнадцать, она уже успела родить своему мужу, который раза в три ее старше, сына и явно снова была беременна.

Должен признаться, мы все выпили немало, но и при этом поведение Октавия было из ряда вон: он увивался вокруг нее, словно снедаемый любовью Катулл, держал ее за руку и нашептывал на ушко, радуясь как мальчишка (в конце концов, он и есть мальчишка, несмотря на весь важный вид, который на себя напускает), и тому подобные глупости. Все это происходило прямо на глазах у его собственной жены (не сказать, чтобы это было так уж важно, хотя она тоже ждала ребенка) и мужа Ливии, который, казалось, ничего не замечал, сидя с кроткой улыбкой на устах, словно честолюбивый отец дочки на выданье, а не муж, честь которого была под угрозой. Как бы то ни было, в тот момент меня это мало занимало; я находил такое поведение довольно вульгарным, но что (спрашивал я сам себя) можно ожидать от внука обычного захолустного менялы. Если, нагрузив одну повозку, он желал прокатиться на другой, уже полной, то это его личное дело.

И вот теперь, четыре месяца спустя, когда по Риму ходят самые невероятные скандальные слухи, я уверен, ты бы мне не простил, если бы я не рассказал тебе о том вечере у Клавдия Нерона.

Менее чем две недели назад Скрибония, тогда еще его жена, разрешилась дочкой — хотя, казалось бы, даже приемный сын божества мог бы сподобиться родить сына. В тот же день Октавий вручил Скрибонии письмо с разводом — что само по себе неудивительно, ибо, если верить молве, соглашение на этот счет было достигнуто заранее.

Но — и вот в чем весь скандал-то — неделей позже Тиберий Клавдий Нерон развелся с Ливией и уже на следующий день отдал ее, все еще беременную, вместе со значительной суммой приданого Октавию в жены. Сенат это дело одобрил, жрецы принесли жертвы — ну и тому подобный глупый вздор.

Спрашивается, как может хоть кто-нибудь принимать подобного человека всерьез? И тем не менее глупцы находятся.

V

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Обстоятельства, окружавшие мое рождение, были известны всему миру задолго до того, как они стали известны мне; и когда я наконец достигла того возраста, когда могла их понять, мой отец уже правил миром и почитался за бога; а мир давно понял, что деяния бога, какими бы странными они ни казались простым смертным, ему самому представляются вполне естественными и в конце концов неминуемо становятся таковыми в глазах тех, кто боготворит его.

Посему мне вовсе не казалось странным то, что Ливия была мне матерью, а Скрибония — лишь редким гостем в моем доме, дальним, но необходимым родственником, которого вынужденно терпели из не вполне осознанного чувства долга. Мои воспоминания об

этом времени весьма туманны, и я не совсем доверяю им, но, как мне теперь кажется, эти годы были обыденны в своей безмятежности. Ливия была строгой, церемонной и сдержанно любящей матерью, и никакой другой я не знала.

В отличие от большинства людей в его положении, мой отец настоял, чтобы я воспитывалась по старинке, в его собственном доме, оставаясь на попечении Ливии, а не няньки, и следил, чтобы я в соответствии с семейной традицией умела ткать, шить и готовить пищу — как это издревле повелось в семействе Октавиев; при всем при этом я должна была получить образование, достойное дочери императора. Итак, с самых ранних лет я ткала полотно наравне с простыми рабами и училась латыни и греческому с Федром, невольником моего отца; впоследствии я постигала премудрости наук под руководством его доброго друга и учителя Атенодора. И хотя тогда я этого не знала, самым важным обстоятельством в моей жизни являлось то, что у отца не было других детей,— порок, которым страдали все Юлии.

Я не часто видела его в те годы, но тем не менее его влияние на меня было самым значительным в моей жизни. Географию я учила по его письмам, приходившим целыми связками отовсюду, где бы он ни находился — в Галлии, Испании или на Сицилии, в Далмации, Греции, Азии или Египте,— и которые ежедневно мне зачитывались.

Как я уже заметила, мы редко с ним виделись, но даже до сих пор мне кажется, будто он все время был рядом. Стоит мне закрыть на мгновение глаза, как я почти физически ощущаю его руки, подбрасывающие меня высоко в воздух,— в то время как я заливаюсь смехом и замираю от сладкого ужаса,— и затем вы-

хватывающие меня из пустоты, в которую я только что была ввергнута; слышу его низкий голос, говорящий нежные и ласковые слова; чувствую прикосновение его ладони, поглаживающей меня по голове. Я помню игры в мяч и камешки, усталость в ногах, когда мы взбирались на небольшие холмы в садах за нашим домом на Палатине, откуда открывался прекрасный вид на город, словно огромная головоломка широко раскинувшийся под нами. Но почему-то лица его в те годы я никак не припомню. Он звал меня Римом, своим «маленьким Римом».

Мой первый ясный зрительный образ отца относится к тому времени, когда, вступив в свое пятое консульство (мне тогда было девять лет), он был удостоен тройного триумфа в честь побед в Далмации и Египте и в битве при Акции.

С тех пор празднования военных успехов в Риме не проводились; позже отец объяснил мне, что, по его мнению, даже то, в котором он принимал участие, было довольно вульгарным и варварским зрелищем, но тогда необходимым с политической точки зрения. Поэтому теперь мне трудно с точностью сказать, чему великолепие этой церемонии было обязано больше: своей исключительности и тому факту, что впоследствии ничего подобного Рим не видел, или искаженному преломлению реальных событий в моей склонной к преувеличению памяти.

Больше года я не виделась с отцом, который за все это время, вплоть до своего триумфального возвращения, так ни разу и не смог выбраться в Рим. В тот день Ливия, я и другие дети нашего семейства должны были встретить его у городских ворот, куда мы прошли в сопровождении группы сенаторов; мы заняли приготовленные для нас почетные места и стали ждать его появления. Для меня это все было игрой; Ливия сказала

мне, что мы идем смотреть парад и чтобы я вела себя хорошо. Но я не могла усидеть на месте и постоянно вскакивала со своего сиденья и изо всех сил старалась увидеть, как появится мой отец на извилистой дороге, ведущей к городу. И когда наконец я его заметила, то радостно вскрикнула и захлопала в ладоши и кинулась было ему навстречу, но Ливия вовремя остановила меня. Когда он оказался достаточно близко, чтобы узнать меня, он пришпорил лошадь и, оторвавшись от остальной процессии, оказался рядом с нами; он, смеясь, подхватил меня на руки, затем нежно обнял Ливию — и у меня снова был отец. Пожалуй, то был последний раз, когда я помню его обычным отцом, таким, как у всех других детей.

Вскоре преторы сената отвели его в сторону, завернули в пурпурный с золотом плащ и посадили на украшенную башенками колесницу, где к нему присоединились Ливия и я; после этого вся процессия медленно тронулась по направлению к форуму. Мне запомнилось охватившее меня тогда чувство страха и разочарования, ибо я больше не узнавала в стоявшем рядом со мной человеке, ласково поддерживающем меня за плечо, своего отца. Трубачи и горнисты во главе процессии дали военный сигнал; ликторы со своими увитыми лавром топориками степенно двинулись вперед, и мы вошли в город. По дороге собравшиеся на площадях толпы народа приветствовали нас такими громкими криками, что порой даже заглушали звук труб; на форуме, где мы наконец остановились, скопилось такое количество римлян, что яблоку негде было упасть.

Три дня продолжались празднества. Я говорила с отцом, когда мне представлялась такая возможность; и хотя и я и Ливия постоянно находились при нем — во время речей, жертвоприношений и поднесений подар-

ков,— я чувствовала, что он принадлежит не мне, а тому, чуждому мне миру, который я только начинала понимать.

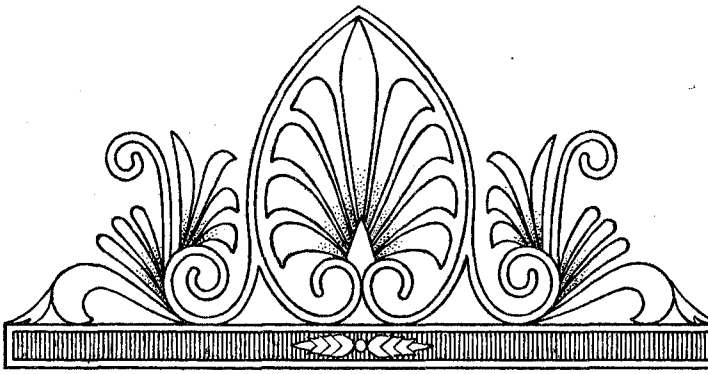
При этом он неизменно оставался ласков и внимателен ко мне и с готовностью отвечал на все мои вопросы, как будто я по-прежнему была дорога ему. Я помню, как однажды во время одной из процессий я обратила внимание на украшенную золотом и бронзой повозку с огромной, больше человеческого роста, резной фигурой женщины, возлежащей на ложе из эбенового дерева и слоновой кости, с двумя детскими фигурами по бокам; глаза их были закрыты, как будто они спали. Я спросила отца, кто эта женщина; он долго в задумчивости смотрел на меня, а затем сказал:

— Это Клеопатра. Она была царицей великой страны и врагом Рима, но при этом храброй женщиной, любившей свою страну не меньше, чем римлянин любит свою; она собственной жизнью заплатила за то, чтобы не видеть ее поражения.

Даже теперь, по прошествии стольких лет, я хорошо помню странное ощущение, охватившее меня при упоминании ее имени в тех обстоятельствах. Мне конечно же было знакомо имя Клеопатры — я часто слышала его и раньше. Тогда, помнится, я подумала о моей тетке Октавии, которая, кстати, вела домашнее хозяйство в нашем доме наравне с Ливией и, как я знала, побывала когда-то замужем за супругом той покойной царицы, Марком Антонием, который тоже умер. И еще я подумала о детях, оставшихся на попечении Октавии, вместе с которыми я чуть ли не каждый день играла, занималась домашними делами или училась: Марцелле и его двух сестрах от первого брака; двух Антониях — от второго, с Марком Антонием; Юле, сыне Марка Антония от его раннего брака, и, наконец, о маленькой

девочке, любимице всего дома, крошке Клеопатре, дочери Марка Антония и его царицы.

Но вовсе не это странное обстоятельство заставило мое сердце сжаться в комок. В тот момент я не сумела бы выразить свои чувства, но, как мне кажется, именно тогда мне впервые пришло в голову, что даже женщина может оказаться вовлечена в жестокий круговорот Истории лишь затем, чтобы быть безжалостно раздавленной ею.



Глава 2

I

Почтовое отправление из Рима: письма Октавию Цезарю в Галлию (27 год до Р.Х.)

Своему супругу Ливия шлет поклон и заздравные молитвы; согласно его воле, ниже следует отчет об интересующих его событиях.

Работы, которые ты начал перед отъездом на север, исправно ведутся в соответствии с твоими распоряжениями. Ремонт Фламиниевой дороги завершен на две недели раньше срока, назначенного тобой Марку Агриппе, который вышлет тебе полный доклад о проделанной работе со следующей почтой. Оба они — Меценат и Агриппа — каждодневно держат со мной совет и просят заверить тебя, что перепись народа будет закончена к твоему возвращению; Меценат предрекает, что прибавка к поступлениям в казну за счет пересмотра размера подушного налога будет еще значительнее, чем он предполагал ранее.

Меценат также просил меня передать тебе свою радость по поводу твоего решения отказаться от вторже-

ния в Британию; он убежден, что переговорами можно добиться не меньшего, и даже если таковые не помогут, то возможные расходы на военную кампанию намного перевесят доход от взыскания просроченной дани. Меня твое решение тоже порадовало, но по причине более личного порядка — из опасения за твою жизнь.

Я излагаю эти сведения без должного тщания, зная, что ты получишь более подробные сообщения от тех, кто лучше знаком со всеми деталями, и подозревая, что ты ждешь от меня совсем не этого. Дочка твоя в добром здравии и шлет тебе свою любовь. Да, твои письма зачитываются ей ежедневно, и она часто говорит о своем отце.

Тебе будет приятно узнать, что начиная с прошлой недели мы заметили решительный поворот к лучшему в ее обращении с домашней прислугой. Я уверена, что твое письмо на данный предмет тому причиной. Сегодня утром она провела почти два часа за прялкой, и никто не слышал от нее ни единой жалобы или непочтительного слова. Я полагаю, она наконец начинает привыкать к мысли о том, что может в одно и то же время быть и женщиной, и дочерью императора. Здоровье ее лучше некуда; ты ее не узнаешь, когда вернешься,— так она выросла.

Отчет о ее успехах в учении, на котором ты настоял, а я скрепя сердце согласилась, я оставляю другим, чьи доклады ты найдешь среди писем в этой связке.

Спешу поделиться с тобой некоторыми из слухов, которые, надеюсь, порадуют и позабавят тебя. Меценат просил поставить тебя в известность, что, уступая твоим желаниям, он наконец женится; он обратился за помощью ко мне, ибо данный предмет слишком для него больной (по его словам), чтобы самому затронуть его. Как и следует ожидать, Меценат сильно преувели-

чивает свои страдания; по правде сказать, я лично думаю, что ему эта идея даже нравится. Его будущая жена, некто Теренция, происходит из ничем не примечательного рода, на что Меценат лишь фыркает, заявляя, что его собственной родовитости хватит на них обоих. Она такая прелестная крошка и, сдается мне, довольна своей судьбой; она, похоже, прекрасно понимает, к чему направлены склонности Мецената, и готова смириться с этим. Я думаю, тебе она понравится.

Твоя сестра шлет тебе поклон и просит передать привет ее сыну Марцеллу, который, как она надеется, остается приятным спутником своему дяде. Прими мои сердечные пожелания и передай таковые моему Тиберию. Вся твоя семья в Риме с нетерпением ждет твоего возвращения.

Гаю Октавию Цезарю в Нарбоне, Галлия, от его слуги и преданного друга Федра. Я обращаюсь к тебе, Гай, ибо собираюсь говорить о семейных делах.

Твоя дочь Юлия так стремительно преуспевает в обучении, что скоро я не смогу быть ей наставником в той степени, в какой ты желал бы. Я говорю об этом с сожалением — ты знаешь, что я люблю ее как собственное дитя. Ты оказался прав: я сомневался, что может найтись девочка, которая сумеет за столь короткий срок добиться таких же успехов, что и мальчик, равный ей по положению, проявив при этом ничуть не меньше усердия и сметливости. Более того, из всех детей твоих родственников, которых ты по доброте своей предоставил мне для обучения, как мальчиков, так и девочек, Юлия смогла продвинуться дальше всех и потому в свои одиннадцать лет уже почти достигла того уровня, когда ей нужен другой, более просвещенный учитель. Она свободно пишет по-гречески; она овладела основами риторики, с которыми я ее позна-

комил, несмотря на то что обучение ее такому неженскому предмету вызвало недовольство среди других учеников; твой друг Гораций время от времени наставляет ее в латинской поэзии, которую и я знаю неплохо, но все же недостаточно хорошо, чтобы стать полезным для твоей дочери. Как мне кажется, предметы, более приличествующие женщине, нравятся ей значительно меньше: ее успехи в музыке едва ли можно назвать выдающимися и, хотя она и не лишена природной грации, не сказать, чтобы она была слишком усердна в овладении искусством танца; однако я полагаю, такие новомодные увлечения лежат за пределами и твоих интересов. Будь я столь глуп, чтобы возомнить себе, будто ты можешь быть падок на лесть, я бы сделал вид, что меня отнюдь не удивляют ее способности, ибо она является дочерью сына бога, повелителя всего мира... и тому подобный вздор. Мы с тобой оба знаем, что у нее собственный характер, и весьма сильный при этом.

Посему я предлагаю, чтобы в ближайшем будущем ее образованием занялся некто более мудрый и просвещенный, чем я. Я имею в виду Атенодора, когда-то твоего учителя, а теперь друга. Он знает ее образ мыслей; они хорошо ладят друг с другом, и он уже согласился принять на себя эту ответственность после того, как я имел смелость сделать ему такое предложение. Как я понимаю, он собирается послать тебе письмо, в котором помимо других предметов поделится своими мыслями и по этому поводу.

Хотелось бы верить, что твоя поездка в Галлию не продержит тебя вдали от дочери дольше, чем того требуют обстоятельства. Единственным препятствием в наших с ней занятиях является ее страстное желание быть с тобой. Засим остаюсь твоим верным слугой и, смею надеяться, другом — Федр Коринфский.

Атенодор — Октавию: мои приветствия. Как ты уже догадался, я приветствую твое решение учредить в Галлии сеть школ. Ты совершенно прав: если тамошним жителям суждено когда-нибудь стать частью Рима, им необходимо знать язык римлян; благодаря ему они смогут приобщиться к истории и культуре, с которыми им предстоит жить. О боги, как бы мне хотелось, чтобы все эти светские пустышки здесь, в Риме, кое-кого из которых ты имеешь удовольствие называть своими друзьями, были бы так же озабочены образованием собственных детей, как ты — своих подданных из отдаленных провинций. Очень возможно, что те, кто проживает в тех дальних краях, станут более римлянами, чем мы, живущие в самом сердце страны.

Я не предвижу никаких трудностей в наборе учителей для твоих школ; однако, если пожелаешь, я могу дать некоторые конкретные рекомендации. С тех пор как ты принес мир и до известной степени преуспеяние нашему народу, среди тех сословий, из которых ты должен черпать своих учителей, стало процветать знание (хотя, возможно, слово «процветать» здесь не совсем подходит). В общем, вот что я советую: 1) не стоит доверять легковесному идеализму состоятельных молодых людей, первоначальный энтузиазм которых почти наверняка пропадет в провинциальной глуши; 2) насколько возможно, постарайся набирать учителей из местного населения, а не полагаться на греков, египтян или кого там еще, ибо их ученики должны, по крайней мере, знать, как выглядит настоящий римлянин, если хотят действительно постичь римскую культуру; и 3) не рассчитывай на рабов или даже вольноотпущенников для пополнения рядов твоих педагогов. Я полагаю, ты понимаешь причины, которыми я руководствуюсь, давая этот совет. Я знаю, что в Риме давно существует традиция ставить даже раба выше человека благородно-

го происхождения, если тот достаточно образован. В Риме такой раб останется доволен своим положением, если он может разбогатеть; но в Галлии такой возможности для личного обогащения не будет, что послужит лишним поводом для недовольства. Тебе самому известно, как много рабов, особенно образованных и богатых (за исключением, конечно, нашего друга Федра), откровенно презирают Рим и все с ним связанное и таят обиду на всех и вся за то свое положение, из которого сами же не желают себя выкупить. Короче говоря, в Галлии нет должных условий, чтобы держать их в узде, как в Риме. Уверяю тебя, в стране найдется достаточное количество италийцев, как из провинций, так и из самого Рима, которые за приличную плату и небольшую толику почестей с удовольствием согласятся услужить тебе.

Что касается твоей дочери: Федр говорил со мной, и я согласился взять ее к себе в учение. Я полагаю, ты не против. Через мои руки прошло столько молодых людей из трибы Октавиев, что отказать тебе было бы просто неуместно. Ты можешь называть себя императором всего мира — меня это не волнует, но в том, что касается моих учеников, тут я полный хозяин (это мое непременное условие); кроме того, мне бы очень не хотелось, чтобы завершением образования Юлии занимался кто-нибудь другой.

II

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Последние несколько лет, вскоре после поселения на острове Пандатерия, я завела себе привычку вставать до восхода солнца и встречать зарю. Оно стало

для меня почти ритуалом, это утреннее бдение,— я неподвижно сижу у окна, выходящего на восток, и наблюдаю за постоянно меняющимися красками нарождающегося дня: от серого цвета к желтому, затем к красному, пока, наконец, мир не заливается ослепительно ярким светом, в котором цвета уже неразличимы. Этот свет наполняет мою комнату, где я провожу утро в чтении книг из своей библиотеки, которую мне позволили привезти с собой из Рима. Привилегия пользования библиотекой — одна из немногих, позволенных мне, но, пожалуй, единственная из всех возможных, способная сделать мое изгнание почти выносимым, ибо я вернулась к тем своим занятиям, которые прервала много лет тому назад. Мне вряд ли пришло бы в голову снова обратиться к ним, не будь я осуждена на одиночество; я иногда почти готова поверить, что мир в своем стремлении наказать меня на самом деле оказал мне неоценимую услугу.

Мне вдруг подумалось, что все это: и ежедневный утренний ритуал, и мои занятия — возвращает меня к тому распорядку дня, который определял мою жизнь с тех пор, как я вышла из младенческого возраста.

Когда мне исполнилось двенадцать лет, мой отец решил, что мне пришла пора забыть свои детские забавы и заняться серьезным делом под началом его бывшего учителя Атенодора. До той поры помимо обучения, навязанного всем женщинам в нашем доме Ливией, я упражнялась в чтении и письме на греческом и латыни, что давалось мне удивительно легко, и в арифметике, что я тоже находила делом несложным, но весьма скучным. Занятия эти были для меня совсем не обременительны; к тому же мой учитель находился в моем распоряжении и днем и ночью, так что никакого строгого распорядка я не знала.

В отличие от Федра, Атенодор, первым раскрывший мне глаза на весь тот огромный мир, что существовал сам по себе, вне меня, на мою семью и даже на Рим, был строгим и требовательным наставником. Учеников у него было не много: сыновья Октавии, приемные и собственные, сыновья Ливии — Друз и Тиберий, а также сыновья других родственников моего отца. Я была единственной девочкой среди них, и при этом самой юной. Мой отец дал всем нам ясно понять, что Атенодор поставлен над нами и посему мы должны беспрекословно ему подчиняться; и чье бы имя ни носили его ученики, какими могущественными ни были бы их родители, его слово окончательное и обжалованию не подлежит.

Мы поднимались еще до восхода и собирались в доме Атенодора, где читали наизусть отрывки из Гомера, или Гесиода*, или Эсхила*, заданные нам днем раньше, и пробовали свои силы в сочинении собственных стихов в стиле этих поэтов; в полдень нам подавали легкий обед. Во второй половине дня мальчики упражнялись в риторике и декламации и изучали право; данные предметы считались для меня неподходящими, и поэтому мне разрешалось использовать это время для изучения философии и толкования латинских или греческих стихов по выбору, а также написания сочинений на любую привлекающую меня тему. После этого меня отпускали домой, чтобы я могла заняться там под наблюдением Ливии домашними делами, которые я находила все более и более невыносимыми.

По мере того как в моем теле начали происходить изменения, превращающие меня в женщину, в голове моей стала рождаться картина мира, о существовании которого я и не догадывалась. Позже, когда мы уже были друзьями с Атенодором, мы часто говорили о

странном отвращении, которое римляне питают к самоценному знанию, не ведущему к достижению какой бы то ни было практической цели; как-то однажды он сказал мне, что за сто с лишним лет до моего рождения сенат издал эдикт, изгоняющий всех учителей литературы и философии из Рима; правда, обеспечить его соблюдение оказалось невозможным.

Насколько мне теперь помнится, я была счастлива, как никогда больше за всю свою жизнь; но через три года эта счастливая страница моей жизни закончилась, и мне пришлось навеки распрощаться с детством. Это было изгнание из мира, который я только-только начала для себя открывать.

III

*Письмо: Квинт Гораций Флакк — Альбию Тибуллу**
(25 год до Р.Х.)

Дорогой Тибулл, ты хороший поэт и мой друг, но при этом невозможный глупец.

Скажу тебе как можно более доходчиво: даже и не думай браться за эпиталаму во славу молодого Марцелла и дочери императора. Ты просил моего совета, и я даю его тебе, как если бы то был приказ, причины чего я указываю ниже.

Во-первых: Октавий Цезарь дал ясно понять всем, включая даже меня и Вергилия — его ближайших друзей, что он был бы чрезвычайно огорчен, если бы мы в каком-нибудь из своих произведений хотя бы полсловом намекнули, прямо или косвенно, на личные обстоятельства любого из членов его семьи. Этого принципа он твердо придерживается, и я хорошо понимаю его. Что бы ты об этом ни думал, он глубоко привязан как к жене, так и к дочери и потому не

желает хулить плохие стихи, которые их прославляют, или хвалить хорошие, но обидного для них содержания. Кроме того, семейная жизнь — это практически его единственное отдохновение в весьма обременительном и тяжелом деле управления тем беспорядочным миром, что достался ему в наследство. И он ни в коем случае не хочет потерять этот драгоценный тихий уголок души.

Во-вторых: твой природный талант заключается совсем не в том, о чем ты говоришь, и посему тебе вряд ли удастся создать хорошую поэму на данную тему. Мне нравятся твои стихи, где ты пишешь о своих возлюбленных, но вовсе не те, в которых ты прославляешь своего друга и командира Мессаллу. Браться за сочинение посредственной поэмы на опасную тему — значит сознательно ставить себя в глупое положение.

И в-третьих: если бы тебе даже удалось наперекор твоим естественным наклонностям направить свой талант по иному руслу, несколько положений, вскользь упомянутых в твоем письме, лишний раз убеждают меня, что тебе лучше не браться за это дело. Ни один человек не может создать хорошее поэтическое произведение, будучи обуреваем сомнениями относительно самого предмета его; и ни один поэт не умеет до конца скрыть свои сомнения. Я говорю это вовсе не в осуждение тебе, мой дорогой друг, а просто констатирую факт. Если бы я сам решился на написание подобной поэмы, не исключено, что и я был бы несвободен от них.

Но, откровенно говоря, я так не думаю. Ты даешь понять, что усматриваешь определенную холодность в отношении императора к своей дочери, и говоришь, что посредством этого брака он «использует» ее в

интересах государства. Последнее может быть правдой, но первое — определенно нет.

Я знаю Октавия более десяти лет; он мой друг, и в нашей дружбе мы равны; как и положено другу, я хвалил его, когда он, по моему мнению, заслуживал похвалы, сомневался, когда полагал, что он заслуживает сомнения, и осуждал, когда считал, что он заслуживает порицания. Все это я делал открыто и по доброй воле; при этом дружба наша не пострадала.

Поэтому ты должен понять, что то, что я тебе говорю, я говорю совершенно откровенно, как делал и буду делать всегда.

Октавий Цезарь любит свою дочь гораздо больше, чем тебе дано понять. Беда императора в том, что его отцовские чувства слишком глубоки: он уделяет ее воспитанию больше внимания, чем многие менее занятые отцы уделяют воспитанию своих сыновей; при этом он не удовлетворился лишь обучением ее ткачеству, шитью, пению и игре на лютне, а также поверхностным знанием литературы, каковое многие женщины выносят из школы. В настоящее время Юлия лучше своего отца владеет греческим, ее знание литературы весьма впечатляет, и вдобавок ко всему этому она даже изучала риторику и философию под руководством Атенодора, чьи мудрость и знания сделают честь даже нам с тобой, мой дорогой Тибулл.

Все эти годы, когда ему часто приходилось подолгу находиться вдали от Рима, и недели не проходило, чтобы Юлия не получила целую связку писем от своего отца; некоторые из них я видел — они полны такой сердечной заботы и доброты, что просто за душу берет.

Когда ему представлялась редкая возможность отложить государственные дела и побыть с семьей, он

уделял безрассудно много времени, по мнению многих, своей дочери, ведя себя при этом чрезвычайно просто и раскованно. Я видел, как он, словно ребенок, катал с ней обручи, носил ее на плечах, изображая из себя лошадь, и играл в жмурки; наблюдал, как они вместе удили рыбу на берегу Тибра, радостно смеясь, когда им на крючок попадался малюсенький окунь, и был свидетелем их совместных прогулок, когда они, словно лучшие из друзей, бродили по полям за домом, собирая полевые цветы для обеденного стола.

Если твоя душа поэта охвачена сомнениями, я знаю, что не сумею развеять их, хотя и могу попробовать избавить от них, взывая к твоему рассудку. Ты и сам знаешь, что если бы речь шла о каком-нибудь другом отце, выбравшем своей дочке в мужья столь богатог и подающего большие надежды молодого человека, как Марцелл, ты бы наверняка приветствовал его дальновидность и отеческую заботу. Тебе также известно, что в других обстоятельствах молодость Юлии могла бы дать повод для иного рода беспокойства. Сколько лет было той даме (которую ты предпочел представить как Делию), когда ты приступил к осаде ее целомудрия? Шестнадцать? Семнадцать? Или еще меньше?

Нет, мой дорогой Тибулл, я тебе настоятельно советую забыть об этой затее. Вокруг полно других тем и иных мест, где их можно найти. Если хочешь сохранить почитание твоего императора, продолжай писать о своих Делиях, что тебе так хорошо удается. Могу тебя заверить, что Октавий знает и любит твои стихи; ты не поверишь, но когда он читает поэзию, он получает большее удовольствие от хорошо сложенного стиха, чем от содержащихся в нем славословий.

IV

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

За свою жизнь я трижды побывала замужем, и ни одного из своих мужей я не любила...

Вчера утром, сама не пойму зачем, я написала эти слова и с тех пор не перестаю размышлять о том, что бы они могли означать. Ответа на этот вопрос я так и не нашла, но одно мне известно наверняка: как бы там ни было, время для поисков ответа прошло безвозвратно и потому смысла в том нет.

Поэты говорят, что молодость — это день бурления крови, час любви и мгновение страсти; но с годами студеные воды мудрости охлаждают юный пыл и горячка наша проходит. Они ошибаются — ко мне любовь пришла гораздо позже в жизни, когда я уже не могла ею насладиться. Юность наивна, и страсть ее беспредметна.

Моим первым мужем был Марцелл, сын сестры моего отца Октавии,— мне тогда было всего четырнадцать лет. Этот брак казался мне тогда самым что ни на есть обычным делом, что лишний раз подтверждает мою, да и всех других женщин, наивность. На моей памяти Марцелл всегда был неотъемлемой частью нашей семьи, как и все другие дети Октавии и Ливии; я выросла вместе с ним, но совсем его не знала. Теперь, по прошествии почти тридцати лет, я и не вспомню, что он был за человек или даже как он выглядел. Мне кажется, он был высоким и светловолосым, как все Октавии.

Зато я хорошо помню письмо, в котором отец сообщал мне о помолвке, особенно тон его — вымученный и напыщенный, как будто он обращался не ко мне, а к какому-то незнакомцу, что было так нехарак-

терно для него. Письмо пришло из Испании, где вот уже почти год он занимался подавлением беспорядков на границах и где с ним постоянно находился Марцелл, которому тогда было всего семнадцать лет. Убежденный (как писал отец) в силе духа и преданности Марцелла и заинтересованный в том, чтобы его дочь была передана заботам того, в достоинствах которого у него нет ни малейших сомнений, он пришел к выводу, что этот брак послужит прежде всего интересам как моим, так и всей нашей семьи. Он пожелал мне счастья и выразил сожаление, что не сможет быть в Риме, чтобы лично участвовать в церемонии, и сообщил, что попросил своего друга Агриппу взять на себя роль, отведенную ему; более подробные наставления я получу от Ливии.

В свои четырнадцать лет я уже считала себя женщиной — во всяком случае, так меня научили думать. Я обучалась у Атенодора, была дочерью императора и скоро должна была выйти замуж. Со всеми я держала себя учтиво и отстраненно, пока эта учтивость и отстраненность не стали моей второй натурой; у меня не было никаких дурных предчувствий относительно той жизни, в которую я вступала.

Марцелл по-прежнему оставался мне чужим; когда он вернулся из Испании, мы, как и раньше, изредка обменивались ничего не значащими фразами. Приготовления к свадьбе шли своим чередом, как будто нас это совсем не касалось. Теперь-то я знаю, что на самом деле так оно и было.

Свадебная церемония была выдержана в старинном духе: сначала Марцелл вручил мне в присутствии свидетелей подарок — шкатулку из слоновой кости, инкрустированную перламутром, которую он привез с собой из Испании; я приняла ее, произнеся ритуальные слова. В ночь перед свадьбой в присутствии Ливии, Октавии и Марка Агриппы я попрощалась со своими

детскими игрушками и поднесла те из них, что могли гореть, в дар богам; вечером того же дня Ливия, взяв на себя роль матери, заплела мне волосы в шесть кос, знаменующих собой мое превращение в женщину, перевязав их тесьмою из белой шерсти.

Все время церемонии я была как во сне. Гости и родственники собрались во дворе, жрецы произнесли положенные по случаю слова, затем мы подписали пергаменты, свидетели их заверили, и мы обменялись ими; после этого я произнесла фразу, связывающую меня узами брака с моим мужем. Позже тем же вечером, после пира, Ливия и Октавия, согласно обычаю, облачили меня в тунику невесты и проводили в опочивальню Марцелла. Трудно сказать, чего я ожидала.

Марцелл сидел, зевая, на краю постели; свадебные цветы были беспорядочно разбросаны по полу.

— Уже поздно,— сказал Марцелл и добавил с той интонацией, с какой говаривал со мной еще ребенком: — Пора в постель.

Я легла рядом с ним; должно быть, меня била дрожь. Он еще раз зевнул, затем повернулся на другой бок и через мгновение уже спал.

Так началось мое супружество, и за два года, что оно продолжалось, мало что изменилось. Как я уже говорила выше, Марцелла я почти не помню, и это неудивительно.

V

Письмо: Ливия — Октавию Цезарю в Испанию (25 год до Р.Х.)

Ливия шлет свои сердечные приветствия мужу. Я выполнила все твои указания: дочь твоя замужем и все у нее в порядке. Я тороплюсь поскорее разделаться с

этим сообщением, чтобы перейти к тому, что волнует меня гораздо больше: состоянию твоего здоровья. Я слышала (не спрашивай меня, из каких источников), что оно внушает более серьезные опасения, чем ты дал мне понять; поэтому только сейчас я начинаю понимать причину той поспешности, с которой ты позаботился о том, чтобы дочь твоя была благополучно замужем, и мне вдвойне стыдно за то, что я сопротивлялась этому браку. Я сожалею об огорчении, которое не могли не принести тебе мои возражения. Смею тебя уверить, что от моей обиды не осталось и следа и что гордость за наш брак и чувство возложенного на нас долга заставило меня наконец забыть свои честолюбивые мечты относительно моего собственного сына. Ты прав — Марцелл носит имя всех трех родов: Клавдиев, Юлиев и Октавиев, в то время как мой Тиберий — только одного, Клавдиев. Как всегда, твое решение оказалось самым мудрым — я иногда забываю, что наша власть совсем не так прочна, как может показаться.

Я умоляю тебя поскорее покинуть Испанию. Совершенно очевидно, что тамошний климат способствует приступам лихорадки, которым ты так подвержен, и что в этих варварских краях невозможно рассчитывать на надлежащий уход. В этом со мной соглашается и твой врач и добавляет свое авторитетное мнение к моему страстному призыву.

Марцелл вернется к тебе через неделю. Октавия передает тебе сердечный привет и просит присматривать за ее сыном; твоя жена тоже шлет свои наилучшие пожелания вместе с молитвами о твоем скорейшем выздоровлении и о благополучии своего сына Тиберия. Пожалуйста, возвращайся в Рим.

VI

Письмо: Квинт Гораций Флакк — Публию Вергилию Марону в Неаполис (23 год до Р.Х.)

Дорогой мой Вергилий, я настойчиво призываю тебя как можно скорее приехать в Рим. Со времени его возвращения из Испании здоровье нашего друга значительно ухудшилось; в настоящий момент состояние его чрезвычайно тяжелое. Лихорадка не оставляет его ни на минуту; он совсем не может подняться с постели; тело его так усохло, что кожа висит на нем, как кусок тряпки на скелете, готовом рассыпаться. Мы все ходим с веселым выражением на лицах, за которым пытаемся скрыть свое отчаяние за его жизнь. Наше притворство не может никого обмануть; он и сам прекрасно понимает, что жизнь его близится к концу. Он уже передал документы относительно армии и поступлений в казну своему соконсулу, а личную печать — Марку Агриппе, которого назначил своим преемником. Его врач, ближайшие друзья и родственники — вот и все, кто допускаются к нему. На него нашла некая безмятежность, как будто он хочет в последний раз насладиться тем, что всегда было ближе всего его сердцу.

Оба мы — Меценат и я — живем в его доме на Палатине, чтобы в любой момент быть под рукой, если ему понадобится помощь или дружеское участие. Ливия ухаживает за ним с тем тщанием и преданностью, которыми он всегда в ней восхищался; Юлия смеется и подтрунивает над ним, когда они вместе, что приносит ему немало радости, но безутешно рыдает, лишь только остается одна; Меценат с теплотой вспоминает дни их юности, а несгибаемый Агриппа с трудом сдерживает слезы, когда говорит с ним.

Он не желает показаться навязчивым и сам ни разу не упомянул об этом, но я знаю, что он хочет, чтобы ты был рядом. Иногда, когда он слишком утомлен, чтобы беседовать с членами своей семьи, он просит меня почитать ему те из наших с тобой стихов, которые он больше всего любит. Вчера он вспоминал ту счастливую и победоносную осень всего несколько лет назад, когда, вернувшись с Самоса после разгрома египетских армий, мы собрались все вместе и ты читал ему только что законченные «Георгики».

— Если мне суждено умереть, то среди прочих вещей я больше всего буду сожалеть о том, что не смогу присутствовать при завершении нашим дорогим другом поэмы об основании Рима. Как ты думаешь, ему будет приятно узнать об этом? — сказал он очень спокойно и без тени жалости к самому себе.

Проглотив комок, подступивший к горлу, я ответил:

— Без сомнения, мой друг.

— Тогда ты должен сказать ему об этом в следующий раз, когда увидишься с ним.

— Я скажу ему, когда ты выздоровеешь.

Он лишь мягко улыбнулся в ответ. Я больше не мог этого выносить, поэтому извинился и поспешно вышел из комнаты.

Как видишь, времени в обрез. Он не страдает от болей и сохранил все свои физические и умственные способности, но тем не менее вместе с телом умирает и его воля.

Если в течение недели состояние не улучшится, то его врач (некто Антоний Муза, в искусстве которого, несмотря на всю его славу, я сомневаюсь) собирается прибегнуть к последнему, самому жестокому средству. Поэтому я призываю тебя поспешить навестить его перед тем, как к нему будут применены эти отчаянные меры.

VII

Указания врача Антония Музы своим помощникам (23 год до Р.Х.)

Приготовление омовений. Доставить к назначенному часу в резиденцию императора Октавия Цезаря триста мер льда, который может быть получен из кладовой Азиния Поллиона на Кампанской улице, каковой разбить на куски размером, не превышающим сжатый кулак; при этом использовать лишь те, в которых нет примесей или следов осадка. Двадцать пять отобранных таким образом кусков положить в лохань, наполненную водой до половины, где они должны оставаться до тех пор, пока полностью не растают.

Приготовление притираний. Смешать с одной мерой моего порошка две ложки мелко помолотых горчичных зерен; в полученную массу добавить две жидкие меры лучшего оливкового масла, предварительно нагрев его до кипения, а затем дав ему остыть до температуры тела.

Лечение. Опустить больного в холодную воду, которая должна полностью покрывать все его тело, за исключением головы, где он должен оставаться в погруженном состоянии в продолжение срока, достаточного для того, чтобы не торопясь сосчитать до ста. Вслед за этим достать больного из воды и завернуть в некрашеные шерстяные одеяла, предварительно нагретые над горячими камнями. В таком положении он должен находиться до тех пор, пока не начнется обильное потовыделение, после чего все тело больного растереть заранее приготовленными притираниями. Затем снова вернуть больного в холодную воду, в которую предварительно добавить достаточное количество льда для поддержания первоначально достигнутой температуры.

Всю процедуру повторить четыре раза; затем дать пациенту отдохнуть в течение двух часов. Продолжать лечение таким порядком, пока не наметятся признаки улучшения.

VIII

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Когда мой отец вернулся из Испании, я сразу же поняла, в чем была причина такой спешки с моим замужеством: он боялся, что не переживет дороги домой,— такой опасной была болезнь, которую он подхватил в Испании; он отдал меня Марцеллу, чтобы устроить мое будущее; чтобы обеспечить будущее своей «другой дочери», он отдал Рим Марку Агриппе. Мой брак с Марцеллом был, по сути, чисто ритуальным; номинально я потеряла свою невинность, но в действительности по-прежнему оставалась девочкой или почти таковой. Женщиной я стала во время болезни моего отца, своими глазами увидев неизбежность смерти, ощутив ее дыхание.

Я помню, как я горько плакала, уверенная, что мой отец, которого я знала лишь ребенком, неминуемо умрет; мне открылась истина, что утраты составляют непременное условие нашей жизни,— знание, которое невозможно передать другому.

Тем не менее я пыталась поделиться им с Марцеллом, ибо он был моим мужем и к тому же меня так воспитали. Помнится, он посмотрел на меня с изумлением и сказал, что, как бы прискорбно то ни было, Рим переживет эту потерю, ибо наш император был достаточно дальновиден, чтобы оставить свои дела в полном порядке. Я рассердилась на него тогда, решив

для себя, что мой муж слишком холоден, ибо догадывалась, что он считал себя наследником моего отца и уже заранее предвкушал тот день, когда сам станет императором; теперь-то я знаю, что если он и был бездушен и честолюбив, то в том не его вина — он просто ничего другого не знал, ибо к этому его всю жизнь и готовили.

Выздоровление моего отца от болезни, которая должна была свести его в могилу, было воспринято всеми как очередное чудо, проистекающее из его божественной природы, и потому совершенно в порядке вещей. Когда врач Антоний Муза прибег к своему отчаянному методу лечения, который, кстати, впоследствии получил его имя, все уже было готово для похорон. Тем не менее отец выдержал лечение и постепенно пошел на поправку, так что к концу лета он отчасти восстановил свой прежний вес и в течение нескольких минут мог прогуливаться в саду за домом. Марк Агриппа вернул доверенную ему печать Сфинкса, сенат объявил неделю благодарствий и молитв в Риме, а на перекрестках в сельской местности по всей Италии появились изображения императора в ознаменование его чудесного выздоровления и в знак его покровительства путникам.

Когда стало ясно, что отец поправился, от той же лихорадки слег мой муж Марцелл. На протяжении двух недель ему становилось все хуже и хуже, пока наконец Антоний Муза не прописал ему то же лечение, что спасло моего отца. Еще через неделю, во время празднований по случаю выздоровления императора, Марцелл умер, и на семнадцатом году моей жизни я стала вдовой.

IX

Письмо: Публий Вергилий Марон — Квинту Горацию Флакку (22 год до Р.Х.)

Сестра нашего друга Октавия по-прежнему продолжает оплакивать сына — время не приносит ей избавления от боли утраты, этого единственного своего дара людям; и, боюсь, мои жалкие попытки дать ее душе хоть какое-то облегчение привели совсем не к тем результатам, на какие я рассчитывал.

На прошлой неделе Октавий, зная, что я взялся за сочинение поэмы на смерть его племянника, попросил меня приехать в Рим и ознакомить его с ней. Когда я сообщил ему, что намеревался включить ее в мой эпический труд об Энее, отдельными уже завершенными частями которого он так непомерно восхищался, он решил, что, возможно, Октавии принесет некоторое утешение мысль о столь большой любви к Марцеллу римлян и что образ его будет жить в памяти народной, пока стоит Рим. Посему он пригласил ее присутствовать на чтении, предупредив заранее, о чем пойдет речь.

В этот вечер в доме Октавия собралось всего несколько человек: сам император с Ливией, его дочка Юлия (трудно привыкнуть к мысли, что такая молодая и красивая девушка может быть вдовой), Меценат с Теренцией и, наконец, Октавия, которая была похожа на живой труп — мертвенно-бледная, с темными кругами под глазами; при этом она казалась, как всегда, сдержанной и спокойной и держалась любезно и уважительно со всеми, кто пришел утешить ее.

Некоторое время мы тихо беседовали, вспоминая Марцелла; раз или два Октавия чуть ли не улыбнулась, как бы завороженная добрыми словами о ее сыне. Затем Октавий попросил меня прочитать мое сочинение.

Ты знаешь эту поэму и ее место в книге, поэтому не стану повторяться. Но каковы бы ни были недостатки поэмы в ее нынешнем виде, она произвела на всех впечатление: на мгновение смерть отступила, и Марцелл снова зажил полной жизнью в памяти своих друзей и соотечественников.

Когда я закончил, в комнате наступила полная тишина, прерываемая лишь осторожным шепотом. Я взглянул на Октавию, надеясь увидеть на ее лице за скорбной маской печали признаки того, что она нашла некоторое утешение в проявленной нами заботе о ее сыне и гордости за него. Однако увидел я нечто такое, что даже затрудняюсь описать — глаза ее мрачно сверкали из черных провалов глазниц, а губы расползлись в чудовищном подобии усмешки, обнажив зубы в жутком оскале. То было выражение, я бы сказал, откровенного отвращения. Затем она издала тонкий, на одной ноте, вскрик, качнулась в сторону и упала на ложе без чувств.

Мы тут же бросились к ней; Октавий стал массировать ей руки. Постепенно она пришла в себя, и дамы увели ее прочь.

— Прошу простить меня,— наконец произнес я.— Если бы я знал — я ведь только хотел как лучше.

— Не вини себя, друг мой,— тихо сказал Октавий.— В конце концов, ты, может быть, и принес ей утешение, но такое, которое никому из нас не дано понять. Кто может заранее предугадать последствия своих действий, будь они во благо или во зло?

Я вернулся в Неаполис и завтра снова примусь за свои труды. Но меня по-прежнему беспокоит мысль о том, что я сотворил, и я не могу не чувствовать опасений за будущее этой великой женщины, которая так много дала своей стране.

X

Письмо: Октавия — Октавию Цезарю из Велитр (22 год до Р.Х.)

Мой дорогой брат, вчера днем, после весьма утомительного путешествия, я наконец прибыла в Велитры и теперь отдыхаю. Мое окно выходит в сад, в котором мы когда-то играли детьми. Он выглядит довольно запущенным теперь — во всяком случае, так мне кажется: большинство кустарников засохло, не пережив зимы, буки срочно требуют обрезки, а один из старых каштанов погиб. Но, несмотря на все это, мне доставляет удовольствие смотреть на этот тихий уголок и вспоминать те счастливые дни, когда мы не знали никаких мирских забот и печалей, много-много лет тому назад.

Я пишу тебе по двум причинам: во-первых, принести запоздалые извинения за мое поведение в тот ужасный вечер, когда наш друг Вергилий читал свою поэму о моем покойном сыне; и во-вторых, попросить тебя кое о чем. Всю свою жизнь я была верна долгу, возложенному на меня нашим родом и страной. Я добровольно следовала этому долгу, поступая порой вопреки своим склонностям.

Когда в следующий раз ты будешь говорить с Вергилием или писать ему, не мог бы ты без всяких околичностей попросить у него прощения за меня? Все это случилось помимо моей воли, и мне было бы очень жаль, если бы он воспринял мое поведение как нарочитое. Он хороший и добрый человек, и мне не хочется, чтобы он подумал, что я о нем другого мнения.

Но просьба, с которой я к тебе обращаюсь, для меня гораздо важнее, чем прощение Вергилия.

Я прошу твоего позволения удалиться от света, в котором я жила все время, что себя помню, и про-

вести оставшиеся мне годы в тиши и уединении провинции.

В детстве и ранней юности я охотно и с удовольствием занималась домашним хозяйством под началом нашей матери; после ее смерти я полностью взяла заботы по нашему с тобой дому на себя. Когда ради торжества нашего дела понадобилось снискать расположение врагов Юлия Цезаря, я согласилась вступить в брак с Гаем Клавдием Марцеллом, после смерти которого я вышла замуж за Марка Антония. По мере сил я старалась быть хорошей женой Марку, оставаясь сестрой тебе и блюдя интересы нашего рода. После того как Антоний развелся со мной и связал свою судьбу с Востоком, я воспитала детей от его предыдущих браков, как если бы они были моими собственными, в том числе Юла Антония, к которому ты так привязался; после смерти Марка Антония я взяла под свою опеку его детей от Клеопатры, оставшихся в живых после войны.

К обеим твоим женам я относилась как к сестрам, хотя первая из них была слишком скверного характера, чтобы заслужить мою любовь, а вторая — чересчур честолюбива, чтобы я могла передать ей свои обязанности в том, что касается нашего дела. Сама я выносила и родила пятерых детей на благо рода и будущего Рима.

И вот теперь мой первенец, мой единственный сын Марцелл умер у тебя на службе, и счастье его сестры Марцеллы, моей любимой дочери, может оказаться жертвой твоих политических интриг. Пятнадцать, может быть, даже десять лет назад я бы гордилась тем, что ты выбрал одного из моих детей в качестве своего преемника, но теперь я хорошо осознаю всю тщету своей гордыни и не пытаюсь больше убедить себя, что слава и власть стóят той непомерной цены, которую за них приходится платить. Моя дочь счастлива замужем за

Марком Агриппой; я думаю, она любит его, и верю, что он неравнодушен к ней. Развод между ними, о котором ты говоришь, сделает ее несчастной, и не потому, что она потеряет власть и положение, которые принес ей этот брак, а потому, что расстанется с человеком, которого любит и уважает.

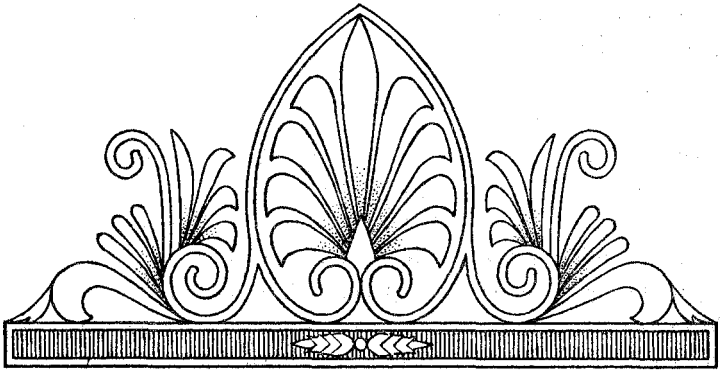
Пойми меня правильно, дорогой брат,— я не хочу оспаривать твое решение, ибо ты прав: гораздо более целесообразно, если не сказать необходимо, чтобы твой преемник был связан с твоей дочерью либо через брачные узы, либо через отцовство. А Марк Агриппа — самый подходящий для этого человек из всех твоих друзей и соратников. Он не только мой зять, но и друг мне, и, что бы ни случилось, я верю, он им и останется.

И вот, не тая в душе обиды, я прошу тебя: пусть мое вынужденное согласие на этот развод будет моей последней жертвой на благо нашего рода и отечества. Я даю тебе свое согласие. После этого я хотела бы покинуть наш дом в Риме и провести остаток своих дней вместе с моими книгами здесь, в Велитрах. Я не отрекаюсь ни от твоей любви, ни от детей, ни от своих друзей.

Чувство, посетившее меня в тот ужасный вечер, когда Вергилий читал нам свою поэму о Марцелле, по-прежнему остается со мной и не исчезнет до тех пор, пока я живу на свете. У меня как будто вдруг открылись глаза, и я впервые в истинном свете увидела тот мир, в котором вынужден жить ты и в котором так долго жила я, того не ведая. Я уверена, что есть и другие пути, и иные миры, в которых можно жить проще и незаметнее,— хотя что до нас равнодушным богам?

Пусть этого еще не произошло, но через несколько лет я достигну того возраста, когда мне уже будет непристойно снова выходить замуж. Пожалуйста, пода-

ри мне эти несколько лет, ибо я не имею ни малейшего желания вступать в брак и не буду испытывать сожаления, что не сделала этого, даже когда стану старухой. То, что мы называем браком, на самом деле (как тебе самому хорошо известно) — вынужденная кабала; порой мне кажется, что даже самый жалкий раб имеет больше свободы, чем мы, женщины. Я хотела бы провести остаток моей жизни здесь; я буду рада, если мои дети и внуки время от времени будут навещать меня. Может быть, проведя грядущие годы в тиши, я сумею найти либо в самой себе, либо в моих книгах некую житейскую мудрость, которой мне не дано было обрести раньше.



Глава 3

I

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Из всех знакомых мне женщин больше всех я восхищалась Ливией. Мы никогда не питали друг к другу особо теплых чувств, но при этом она всегда порядочно и уважительно вела себя по отношению ко мне, хотя и не пыталась скрыть своей бесстрастной неприязни; мы хорошо ладили, несмотря на то что самим фактом своего существования я стояла на пути ее честолюбивых планов. Она хорошо знала себе цену и не питала на свой счет никаких иллюзий; она была красива и умела пользоваться своей красотой, не поддаваясь искусу тщеславия; была холодна и потому могла с огромным успехом имитировать сердечное тепло; честолюбива и при этом обладала незаурядными умственными способностями, которые направляла исключительно на достижение своих личных целей. Родись она мужчиной, и я не сомневаюсь, что она была бы еще более безжалостной, чем мой отец, но при сем гораздо менее подвер-

женной мукам раскаяния. В своем роде она была замечательной женщиной.

Несмотря на то что мне тогда было всего четырнадцать лет и я понятия не имела обо всей подноготной этого дела, я знала, что Ливия была против моего брака с Марцеллом, видя в нем непреодолимое препятствие на пути ее сына Тиберия к власти. Смерть Марцелла, случившаяся так быстро после нашей с ним свадьбы, похоже, снова возродила ее былые надежды, ибо еще до истечения положенных по обычаю месяцев траура она обратилась ко мне с предложением. За несколько недель до этого мой отец предусмотрительно покинул столицу под предлогом неотложных дел в Сирии, дабы не усугублять всеобщего разочарования в сенате и народе своим отказом от предложенного ему диктаторства в Италии за избавление Рима от угрозы голода. Подобной тактикой он часто пользовался на всем протяжении своей жизни.

Как всегда, Ливия сразу же перешла к делу.

— Твой траур скоро закончится,— сказала она.

— Да,— ответила я.

— И ты снова сможешь выйти замуж.

— Да.

— Молодой вдове не пристало долго оставаться одной,— заявила она.— Так у нас не принято.

Я ничего не ответила — должно быть, уже тогда я понимала, что мое вдовство было такой же проформой, как и мое замужество.

— Неужели печаль твоя столь велика, что одна мысль о замужестве оскорбляет твои чувства? — продолжала Ливия.

Я вспомнила, что я дочь моего отца.

— Я готова выполнить свой долг.

Ливия кивнула, как будто и не ждала другого ответа.

— Конечно,— сказала она,— так и должно быть...

Твой отец говорил с тобой об этом? Или, может быть, писал?

— Нет,— ответила я.

— Я уверена, что он, по крайней мере, обдумывал такую возможность,— сказала она и, помолчав, добавила: — Ты должна понять, что я говорю с тобой от своего имени, а не от имени твоего отца. Но будь он здесь, он бы не возражал.

— Да.

— Я всегда относилась к тебе как к собственной дочери и по мере возможности не посягала на твои интересы.

Я промолчала.

— Находишь ли ты моего сына хоть немного привлекательным? — осторожно спросила она.

— Твоего сына? — переспросила я, не понимая, к чему она клонит.

Ливия сделала нетерпеливый жест рукой:

— Да, моего сына Тиберия.

Почему-то я вовсе не находила Тиберия привлекательным — ни тогда, ни сейчас. Позже я поняла почему: он обладал удивительной способностью находить в других все те недостатки, которых не умел увидеть в себе.

— Я никогда ему не нравилась,— возразила я.— Он считает меня взбалмошной и капризной.

— Это неважно, даже если он и прав,— ответила Ливия.

— К тому же он обручен с Випсанией,— добавила я.

Випсания, дочь Марка Агриппы, хоть и моложе меня, была, можно сказать, моей подругой.

— И это тоже неважно,— нетерпеливо возразила Ливия.— Ты сама прекрасно все понимаешь.

— Да,— пробормотала я и замолчала, не зная, что сказать.

— Ты знаешь, как твой отец любит тебя,— продолжала Ливия.— Некоторые считают, что даже слишком, но не о том речь. Ты также знаешь, что он прислушивается к тебе чаще, чем большинство других отцов к своим дочерям, и не решится пойти наперекор твоим желаниям, которые для него немало значат. Посему, если ты не находишь идею брака с Тиберием абсолютно неприемлемой, было бы весьма уместно, если бы ты могла дать твоему отцу знать об этом.

Я промолчала.

— С другой стороны, если тебе эта мысль совсем не по нутру, ты окажешь мне большую любезность, если скажешь об этом здесь и сейчас — ведь я всегда была откровенна с тобой.

В голове моей все смешалось.

— Я должна подчиниться воле отца. Я не хочу огорчать тебя. Даже не знаю...— потерянно ответила я.

— Я все понимаю и благодарю тебя,— сказала Ливия, согласно кивнув.

...Бедная Ливия — она полагала, что все идет по плану и неизбежно устроится согласно ее воле. Однако в данном случае этого не произошло. Пожалуй, то было самое горькое разочарование в ее жизни.

II

Письмо: Ливия — Октавию Цезарю на Самос (21 год до Р.Х.)

Я всегда и во всем была послушна твоей воле. Я была тебе женой, верной своему долгу, и другом, преданным твоим интересам. Насколько я понимаю, я подвела тебя только в одном отношении, но при этом

очень важном: я не сумела дать тебе сына или даже просто дитя. Если ты считаешь это за недостаток, то в том не моя вина; я неоднократно предлагала тебе развод, который ты каждый раз отвергал по причине, как мне хотелось бы думать, привязанности ко мне. Теперь же я не столь уверена в твоих чувствах, и это меня очень огорчает.

Несмотря на то что у меня были достаточно веские основания полагать, что мой Тиберий тебе ближе, чем Марцелл, который всего лишь тебе племянник, я не держу на тебя обиды за твой выбор по причине болезни и приведенного тобой довода о том, что в жилах Марцелла течет кровь как Клавдиев, так и Октавиев и Юлиев, в то время как Тиберий принадлежит к одному лишь роду Клавдиев. Я даже простила тебе то, что не могу рассматривать иначе, как оскорбление моему сыну: если в ранней молодости (когда ты вынес это свое суждение о нем) он проявил некоторую неуравновешенность характера и невоздержанность в поведении, то я позволю себе заметить, что характер мальчишки и нрав мужчины — отнюдь не одно и то же.

Но теперь я ясно вижу, к чему ты клонишь, и не могу скрыть своей горечи. Ты отверг моего сына, а значит, и часть меня. А своей дочери ты дал скорее отца, чем мужа.

Марк Агриппа — хороший человек, и я знаю, что он твой друг, и не желаю ему зла. Но он безроден, и какими бы достоинствами ни обладал, он обязан этим лишь самому себе. Может быть, многие находят забавным, что человек с таким явным отсутствием хороших манер может обладать столь огромной властью, будучи приближен к императору; но гораздо менее забавным покажется им тот факт, что теперь он официально назван преемником императора и потому почти равен ему.

Я надеюсь, ты понимаешь, в каком нетерпимом положении я оказалась: весь Рим ожидал, что Тиберий будет обручен с твоей дочерью и что при нормальном ходе вещей он должен был бы занять определенное место в твоей жизни. Но ты отказал ему в этом.

Ты опять предпочел остаться за границей вместо того, чтобы присутствовать на свадьбе твоей дочери, как это случилось во время ее первого бракосочетания,— по необходимости или намеренно, я не знаю, да и знать не хочу.

Я буду продолжать выполнять свой долг по отношению к тебе; мой дом остается твоим домом и всегда открыт для тебя и твоих друзей — нас объединяет слишком многое. Я постараюсь оставаться тебе другом; я никогда не обманывала тебя ни словом, ни делом — и не собираюсь делать этого и в будущем. Но ты должен знать, что принятое тобой решение отдалило нас друг от друга в большей степени, чем твое пребывание на Самосе, где ты по сю пору находишься. И расстояние это таким навсегда и останется.

Дочь твоя вышла замуж за Марка Агриппу и переехала к нему; она стала матерью той самой Випсании Агриппе, которая когда-то была ее подругой по играм. Твоя племянница Марцелла, недавно потерявшая мужа, пребывает с твоей сестрой в Велитрах. Юлия, похоже, довольна своим замужеством. Надеюсь, и ты тоже.

III

Стихотворение в списках: Тимаген Афинский (21 год до Р.Х.)

Кто нынче самый могучий в Цезаря доме —
Тот, кого все зовут императором Августом,
Или та, что, согласно обычаю, подругой должна быть
Послушной и любящей в опочивальне и

В зале для пиршеств? Гляди же, как правителем правят —
Мерцают светильники, гости хмельны и беспечны,
И смех, как вино, льется потоком сплошным.
Он обращается к Ливии, но не слышит она его слов;
И снова он говорит — в ответ лишь холод улыбки.
Судачат, он отказал ей в простой безделушке —
Можно подумать, что Тибр лед нежданно сковал.

Правитель или правимый — то не имеет значенья;
Вот из угла Лесбия некая смотрит взглядом таким, что
Факелы чуть ли не гаснут; веселые Делии нежатся,
Возлегая на ложах, обнажив прекрасные плечи
В тусклом сиянье огней, но он презирает их всех;
Смело подходит к нему жена его верного друга
(Тот не видит ее, глазами прикован к подростку,
Танцующему в факельном свете).
«А почему бы и нет? —
Думает про себя наш правитель.—
Временем часто Меценат
Щедро делился со мной; ну а в таком пустяке
Вовсе без пользы ему, он не откажет ведь другу».

IV

Письмо: Квинт Гораций Флакк — Гаю Цильнию Меценату в Арецию
(21 год до Р.Х.)

Автором сего клеветнического сочинения является, как ты и подозревал, тот самый Тимаген, коего ты, опрометчиво одарив своей дружбой, неустанно поощрял и поддерживал и даже ввел в дом нашего друга. Помимо того что он неблагодарный гость и довольно слабый поэт, он еще и до глупости нескромен — он козыряет своими деяниями перед теми, кто, как ему представляется, станет восхищаться им, в то же время пытаясь скрыть таковые от тех, кому они не покажутся столь уж достойными похвалы. С одной стороны, он жаждет славы со всеми ее выгодами, а с другой — хочет наслаждаться преимуществами анонимности. Стремления несовместимые.

Октавию известно обо всем этом. Он не собирается

предпринимать никаких действий против Тимагена, хотя, само собой разумеется, ему навсегда отказано от его дома. Он также просил принести тебе заверения в том, что никоим образом не винит тебя за все происшедшее; более того, он переживает за тебя не меньше, чем за себя самого, и надеется, что твое самолюбие не сильно пострадало. Его отношение к тебе остается таким же теплым, как и прежде, и он сожалеет, что ты находишься вдали от Рима, и в то же время по-хорошему завидует тому, что у тебя хватает времени наслаждаться обществом муз.

Мне тоже жаль, что я не могу видеть тебя чаще, но, думаю, я даже лучше, чем наш с тобой друг, понимаю то чувство душевного покоя, которое, должно быть, навевает пребывание в прекрасной тиши твоей Ареции, вдали от суеты и смрада этого удивительного города. Завтра я возвращаюсь в мое скромное пристанище над Дигенцией, чей нежный плеск станет услаждать мой слух и в конце концов перенесет меня из мира хаотичных звуков в стройный мир языка. Насколько мелкими и незначительными покажутся тогда мне все эти события, какими они, должно быть, уже представляются тебе в твоей благословенной глуши.

V

Письмо: Николай Дамаскин — Страбону Амасийскому из Рима (21 год до Р.Х.)

Дорогой мой друг, все эти годы ты был предельно точен в своих описаниях и в высшей степени прав в своих восторгах — это действительно самый необычный город на земле, и ныне он переживает самую удивительную эпоху. Находясь здесь, мне кажется, что именно сюда всегда направляла меня судьба, и я не могу не

сокрушаться о том, что целый ряд жизненных обстоятельств отсрочил для меня это замечательное открытие.

Как тебе, должно быть, известно, в последнее время Ирод все больше и больше полагается на меня, ибо хорошо сознает, что остается у власти в Иудее лишь благодаря покровительству Октавия Цезаря; в данный момент я попал в Рим по воле Ирода, давшего мне очередное поручение, неординарное свойство которого я раскрою тебе своим чередом. А сейчас лишь замечу, что для выполнения этого поручения я столкнулся с достаточно пугающей возможностью лично предстать перед самим Октавием Цезарем, ибо, несмотря на то что ты так часто писал мне о твоем коротком знакомстве с ним, его слава и могущество настолько огромны, что даже твои заверения меня не успокаивают. К тому же я когда-то был учителем детей его врага — царицы Египта Клеопатры.

Но и в этом, как и во всем остальном, ты оказался прав: он тут же избавил меня от смущения, оказав мне еще более теплый прием, чем я мог бы ожидать как посланник царя Ирода; затем упомянул о своей дружбе с тобой, отметив, как часто в беседах ты называл мое имя. Я не решился при первом же знакомстве заговорить с ним о деле, с которым я приехал в Рим, и потому был особенно польщен, когда он пригласил меня следующим вечером отобедать у него в доме,— аудиенция конечно же происходила в императорском дворце, в котором, как я понимаю, он бывает лишь по казенной надобности.

По всей видимости, я так до конца и не поверил тебе, когда ты писал мне о скромности его жилья. Непритязательная роскошь моего обиталища в Иерусалиме легко затмит его императорские покои; торговцы — причем не из самых богатых — и те порой живут более вальяжно! Как мне кажется, он руководствуется не просто стремлением к строгой простоте, к которой

призывает и других,— нет, в этом чудесном и уютном небольшом доме он производит впечатление скорее радушного хозяина, всячески старающегося угодить гостю, чем повелителя вселенной.

А теперь позволь мне начать свой рассказ с описания обстановки, дабы воссоздать для тебя атмосферу того вечера на манер «Бесед» нашего учителя Аристотеля, над которыми мы когда-то с тобой корпели.

Обед, состоявший из трех отличных блюд, одновременно простых и изысканных, завершен. Вино смешано и разлито по бокалам беззвучно снующими среди гостей слугами. Самих гостей немного — лишь родственники да близкие друзья Октавия Цезаря; рядом с Октавием, откинувшись на подушки, сидит Теренция, жена Мецената, который (к моему вящему сожалению, ибо я очень хотел бы познакомиться с ним) покинул город и уехал на лето на север, дабы целиком посвятить себя своим литературным трудам; на соседнем ложе — дочь императора Юлия, молодая, красивая и полная жизни дама со своим новым мужем, Марком Агриппой — крупным, крепко сбитым человеком, который, несмотря на всю свою известность и высокое положение, как-то не вполне вписывается в это окружение; великий Гораций — небольшого роста, несколько полноватый, с седеющими волосами, обрамляющими его молодое лицо; он усадил рядом с собой сирийскую танцовщицу, развлекавшую нас во время обеда, и (к ее робкому, но вместе с тем ликующему восторгу) шутливо заигрывает с ней; молодой Тибулл (чахнущий в отсутствие своей любовницы) сидит, зажав в руке бокал с вином, и со снисходительной печалью обозревает собравшихся; рядом с ним его патрон Мессалла (который, говорят, был подвергнут проскрипциям при триумвирате и сражался на стороне Марка Антония против Октавия Цезаря, а теперь на друже-

ской ноге со своим когда-то врагом, а нынче хозяином), и, наконец, тот самый, столь часто поминаемый тобой Ливий, что взялся за написание монументального труда по истории Рима, начальные разделы которого стали регулярно появляться в книжных лавках. Мессалла предлагает тост за Октавия Цезаря, который, в свою очередь, поднимает бокал за Теренцию, за коей он ухаживает с большой обходительностью и вниманием. Мы отпиваем вино, и беседа начинается. Первым начинает наш хозяин.

Октавий Цезарь: Дорогие друзья, позвольте воспользоваться случаем и представить вам нашего гостя, прибывшего от друга и союзника Рима на Востоке, иудейского царя Ирода — его личный посланник Николай Дамаскин, который также известен как ученый и философ и потому является вдвойне желанным гостем в сей компании, почтившей своим присутствием мой дом по этому счастливому случаю. Я не сомневаюсь, что он желал бы сам передать вам приветствия от царя Ирода.

Николай: Великий Цезарь! Я не могу найти слов, чтобы выразить свою благодарность за твое гостеприимство и принимаю как не заслуженную мною честь мое присутствие в обществе твоих прославленных друзей. Ирод действительно поручил мне передать тебе и твоим соратникам в Риме свой низкий поклон. Доброта и взаимная приязнь, которые я имел возможность наблюдать нынче вечером, убеждают меня в том, что я могу откровенно говорить с тобой о поручении, с которым я прибыл сюда из древней земли Иудеи. В знак беспредельного уважения, которое он питает к Октавию Цезарю, мой друг и господин Ирод отправил меня в Рим, чтобы я переговорил с человеком, принесшим Риму свет порядка и процветания и объединив-

шим весь мир под своим началом. В ознаменование заслуг этого правителя, гостем которого я имею честь быть, я предлагаю написать «Жизнеописание», чтобы слава его стала достоянием всех.

Октавий Цезарь: Я чрезвычайно польщен щедрым жестом моего доброго друга Ирода, но должен заметить, что мои свершения ничуть не заслуживают подобного славословия. Я более чем уверен, что твои немалые способности, наш новый друг Николай, не должны попусту расточаться на такое незначительное предприятие. Посему ради тех важных ученых занятий, которым ты мог бы тем временем посвятить себя, а также на основании собственного представления о приличиях я с огромным чувством благодарности вынужден по-дружески просить тебя отказаться от этой затеи, недостойной твоих талантов.

Николай: Твоя скромность, великий Цезарь, делает тебе честь. Однако мой господин Ирод непременно настоял бы, чтобы я оспорил ее и напомнил тебе, что, как бы ни велика была твоя слава, в отдаленных от Рима краях есть еще много тех, кто знает о твоих славных деяниях лишь понаслышке. Даже в Иудее, где латинская речь в ходу только среди немногих образованных людей, имеются такие, кому неизвестно о твоем величии. Поэтому, появись летопись твоих свершений на греческом языке, который знают все, и тогда Иудея и весь остальной восточный мир сумеют еще глубже осознать, какую мощную опору предлагает им твоя благотворная власть, а у Ирода появится возможность еще более твердо править своей страной под твоим мудрым покровительством.

Агриппа: Великий Цезарь и дорогой друг, ты внимал моим советам и раньше, посему прошу тебя прислушаться к ним и сейчас: не отвергай красноречивой просьбы Николая и забудь о своей скромности

в интересах того, что ты любишь больше, чем самое себя,— Рима, а также порядка, который ты ему принес. Восхищение твоей личностью в тех дальних краях превратится в любовь к Риму, который ты построил.

Ливий: Осмелюсь присоединить и свой голос к мнениям твоих уважаемых друзей. Мне хорошо известно доброе имя Николая, стоящего вот тут перед тобой, и я могу заверить тебя, что не найдется на свете более достойного человека, которому ты мог бы доверить свою славу. Дай людям возможность хоть в малой мере отплатить тебе за то добро, которым ты так щедро с ними делился.

Октавий Цезарь: Хорошо, вы меня убедили. Николай, мой дом, как и мое сердце, всегда открыт для тебя, мой друг. Но об одном прошу: будь добр, ограничь свои изыскания лишь теми событиями, которые имеют отношение к моим усилиям на благо Рима, и не утомляй читателей пустяками, касающимися моей личности как таковой.

Николай: Твое желание для меня закон, великий Цезарь, и я обещаю направить все свои жалкие силы на то, чтобы воздать должное твоим великим достижениям в управлении римским миром.

...Таким образом, мой дорогой Страбон, моя миссия была успешно завершена; Ирод остался очень доволен, и я льщу себя надеждой, что Октавий (он настаивает на таком к себе обращении в домашней обстановке) целиком и полностью доверяет моим способностям в этом деле. Ты конечно же понимаешь, что мое повествование претерпело определенные изменения, коих потребовала форма диалога, в котором я представил его; в действительности наша беседа протекала в гораздо менее официальном тоне и была более продолжительной и полной добродушного подтрунивания. Так,

например, Гораций пошутил насчет данайцев, дары приносящих, и спросил, какой жанр я избрал для своего повествования — прозаический или стихотворный; жизнерадостная Юлия, которая постоянно поддразнивает своего отца, как бы по секрету сообщила мне, что я волен писать все что угодно, так как греческий ее отца так убог, что он все равно не разберет, где там оскорбление, а где похвала. Тем не менее мне кажется, я сумел в своем рассказе схватить самую сущность происшедшего, ибо, несмотря на шутки и колкости, за всем этим стоит некая серьезность — во всяком случае, мне так показалось.

Кроме того, решив получше распорядиться моим пребыванием здесь (которое обещает быть весьма продолжительным), я задумал новый труд помимо «Жизнеописания Октавия Цезаря», которое заказал мне Ирод. Он будет называться «Беседы с выдающимися римлянами», и то, что ты прочитал выше, есть часть его. Что ты думаешь об этой идее? Как ты считаешь, форма диалога подходит для такого рода повествования? Жду твоих советов, которые, как всегда, высоко ценю.

VI

Письмо: Теренция — Октавию Цезарю
в Азию
(20 год до Р.Х.)

Тавий, дорогой Тавий — повторяю я твое имя, но ты не отзываешься. Сознаешь ли ты, как нестерпима для меня наша разлука? Я проклинаю твое величие за то, что оно уводит тебя прочь от меня и держит в чужой стране, ненавистной мне только потому, что ты там, а не со мной. Да, я знаю — ты говорил мне, что гневаться на неизбежность — это ребячество, но твоя

мудрость покинула меня вместе с тобой, и я, словно малое дитя, не могу успокоиться, пока ты не вернешься.

Как могла я отпустить тебя, когда и один день разлуки с тобой, мой любимый, повергает меня в отчаяние? Ты сказал, что разразится скандал, если я последую за тобой,— но какой может быть скандал, когда всем давно все известно? Враги твои шепчутся по углам, друзья хранят молчание — но и те и другие знают, что ты выше всех тех обычаев, которые многие считают неотъемлемой принадлежностью благонравной жизни. Да и вреда от этого большого нет. Мой муж, который дружен с нами обоими, не страдает неуемной жаждой обладания, свойственной менее благородным натурам; между нами с самого начало было понимание, что он не будет возражать, если я заведу себе любовника, в то время как он сам волен во всем следовать своим собственным вкусам. Кем-кем, а лицемером он никогда не был — ни тогда, ни сейчас. Похоже, Ливия тоже удовлетворена существующим положением; я периодически встречаюсь с ней на литературных чтениях, и она всегда любезна со мной; не скажу, что мы с ней подруги, но при этом неизменно остаемся в рамках приличия в отношении друг к другу. Что касается меня, то я почти люблю ее, ибо она предпочла оставить тебя и потому ты стал моим.

Но мой ли ты? Я уверена в этом, когда мы вместе, но когда ты столь далеко от меня, мне так не хватает твоего прикосновения, которое стоит целой сотни слов. Неужто мои страдания приносят тебе радость? Надеюсь, что да. Любовь жестока — я была бы почти счастлива, если бы знала, что ты так же безутешен, как и я. Скажи, что ты страдаешь, и, может быть, это принесет мне некоторое утешение.

Ибо я не могу найти его в Риме — все мне видится таким обыденным и тривиальным. Я присутствую на празднествах, как того требует мое положение, но их ритуалы кажутся мне бессодержательными; хожу в цирк, но мне все равно, кто победит на скачках; посещаю литературные чтения, но мысли мои далеки от мира поэзии — даже стихов нашего друга Горация. Все это время я хранила тебе верность — впрочем, другого ты бы от меня и не услышал, даже если бы мне пришлось прибегнуть ко лжи. Но поверь, это чистая правда. Значит ли моя верность хоть что-нибудь для тебя?

Твоя дочь чувствует себя хорошо и довольна своей новой жизнью. Я раз или два в неделю посещаю ее и Марка Агриппу. Она, похоже, рада видеть меня; мы даже стали с ней подругами. Она уже близка к тому, чтобы разрешиться от бремени и, сдается мне, гордится своим приближающимся материнством. Хотела бы я от тебя ребенка? Не знаю. Что скажет Меценат? Это будет очередной скандал, но зато какой забавный!.. Вот видишь, я так же безостановочно болтаю с тобой воображаемым, как и с реальным.

Ничего интересного из слухов сообщить тебе не могу. Браки, о которых ты хлопотал еще до отъезда, наконец заключены: Тиберий, похоже, оставил свои честолюбивые мечты и женился на Випсании; Юл Антоний взял в жены Марцеллу. Юл счастлив тем, что он теперь официально твой племянник и член семьи Октавиев, и даже сварливый Тиберий по-своему удовлетворен — хотя он прекрасно понимает, что союз Юла с твоей племянницей ставит его самого, женатого на дочке Агриппы, в менее выгодное положение.

Думаешь ли ты вернуться ко мне этой осенью, до того, как зимние шторма сделают путешествие невозможным? Или ты задержишься в Азии до весны? Мне кажется, я не смогу так долго выдержать разлуку с тобой. Скажи, как мне жить без тебя?

VII

Письмо: Квинт Гораций Флакк — Гаю Цильнию Меценату в Арецию (19 год до Р.Х.)

Наш друг Вергилий умер.

До меня только что дошла эта печальная весть, и я спешу отписать тебе, прежде чем скорбь придет на смену оцепенению, в коем я пребываю в настоящий момент. Это оцепенение есть не что иное, как предчувствие неумолимого рока, настигшего нашего друга и подстерегающего нас всех. Его тело находится в Брундизии с Октавием. Сведения мои отрывочны, но я все равно хочу рассказать тебе, что знаю, ибо не сомневаюсь, что состояние, в котором находится сейчас Октавий, не позволит ему скоро написать тебе.

По всей видимости, Вергилий столкнулся с определенными трудностями в работе над завершением своей поэмы, ради чего он, собственно, и уехал из Италии. Поэтому когда Октавий, возвращаясь в Рим из Азии, остановился в Афинах, ему без особого труда удалось уговорить Вергилия, который за полгода, проведенных на чужбине, уже успел соскучиться по Италии, составить ему компанию. А может быть, он смутно чувствовал приближение смерти и не хотел, чтобы его тело покоилось в чужой земле. Как бы то ни было, в пути по его просьбе они с Октавием посетили Мегару; возможно, он хотел своими глазами увидеть каменистую долину, где, как говорят, молодой Тезей* насмерть поразил убийцу Скирона*. Случилось так, что Вергилий слишком долго оставался на солнце, после чего заболел. Тем не менее он настоял на продолжении путешествия; на корабле ему стало хуже — его поразил приступ застарелой малярии. Через три дня после прибытия в Брундизий он умер. Октавий не отходил от него

ни на минуту и, насколько это возможно для простого смертного, оставался верным спутником своему другу по дороге туда, откуда нет возврата.

Как я понимаю, Вергилий почти все время в эти последние свои дни находился в бреду — хотя я не сомневаюсь, что даже в горячке он оставался более рассудительным, чем многие другие в полном здравии. В конце он упомянул твое имя, а также мое и Вария. Он вырвал у Октавия обещание уничтожить недоработанную рукопись «Энеиды», но я верю, что оно не будет выполнено.

Я как-то написал, что Вергилию принадлежала половина моей души. Сейчас я чувствую, что преуменьшил то, что казалось мне тогда преувеличением, ибо в Брундизии осталась половина души не просто моей, а всего Рима. Мы потеряли больше, чем нам дано понять.

Но память моя почему-то упорно возвращается к более прозаическим вещам, которые одним лишь нам с тобой понятны. Он нашел свое последнее пристанище в Брундизии; а помнишь, сколько лет прошло с тех счастливых дней, когда мы втроем путешествовали через всю Италию из Рима в Брундизий? Двадцать лет... А кажется, что это было только вчера: я до сих пор явственно ощущаю, как режет глаза едучий дым от свежих веток, которые владельцы постоялых дворов подкладывали в очаг, и слышу, как мы звонко смеемся, словно мальчишки, до срока отпущенные из школы; я вижу сельскую девушку, что мы подобрали в Тривике,— она обещала прийти ко мне в комнату, но так больше и не появилась; слышу, как Вергилий поддразнивает меня; помню шумную возню и тихий разговор; и роскошь Брундизия после аскетизма провинции.

Я никогда больше не вернусь в Брундизий. Тяжкий груз печали заставляет меня отложить перо...

VIII

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

В молодости, когда я только познакомилась с ней, я считала Теренцию пустой и глупой, хотя и занятной женщиной, и не могла понять, что́ мой отец нашел в ней. Она была болтлива как сорока, отчаянно заигрывала со всеми подряд, и, как мне тогда казалось, ее ум ни разу не омрачался ни одной серьезной мыслью. Муж Теренции, Гай Меценат, мне никогда не нравился, хоть он и был другом моего отца, и я никак не могла взять в толк, почему она согласилась на брак с ним. Оглядываясь назад, я должна заметить, что мой союз с Агриппой был не менее странен, но я тогда была молода и неопытна и так поглощена собой, что ничего вокруг не замечала.

Со временем я научилась понимать Теренцию. Не исключено, что по-своему она была мудрее нас всех. Я не знаю, что с ней сталось. Что случается с людьми, которые незаметно исчезают из нашей жизни?

Я полагаю, она любила моего отца, хотя даже он сам не до конца понимал ее. А может быть, и наоборот, очень хорошо понимал. Она была более или менее верна ему, заводя себе любовников только в период его особенно долгого отсутствия. Возможно даже, что его привязанность к ней была гораздо глубже, чем предполагал напускаемый им вид снисходительной терпимости. Они оставались вместе более десяти лет и были, как мне представляется, счастливы. Теперь-то я вижу — и не исключено, что смутно видела уже тогда,— что мои суждения о людях были обусловлены моей молодостью и высоким положением. Мой муж, по возрасту годящийся мне в отцы, являлся самой важной фигурой в Риме и провинциях в отсутствие моего отца, и по-

сему я воображала себя некой Ливией — такой же гордой и величавой, как и она, с высоко поднятой головой стоящей рядом с тем, кто и сам мог бы быть императором. Поэтому мне казалось в высшей степени неуместным, что мой отец увлекся такой непохожей на Ливию (и на меня, как я по глупости думала) женщиной, как Теренция. Но теперь я знаю то, что не замечала тогда.

Я помню, что, когда мой отец один вернулся из Азии всего через несколько дней после того, как в Брундизии у него на руках испустил свой последний вздох его друг Вергилий, Теренция оказалась единственной, кто сумел принести ему утешение. Ни Ливия, ни я оказались на это не способны. Мне была знакома идея утраты, но не сама она; Ливия, со своей стороны, исправно произнесла все положенные в этом случае слова — что Вергилий выполнил свой долг перед родиной и навсегда останется жить в памяти соотечественников и что боги примут его в свое лоно как одного из самых любимых сыновей. И еще она дала ему понять, что чрезмерное проявление скорби не к лицу императору.

Отец мрачно взглянул на нее и сказал:

— В таком случае император выкажет свою скорбь так, как приличествует императору. Но скажи, как пристало выразить свою скорбь человеку?

Лишь Теренция сумела по-настоящему утешить его — она горько оплакивала смерть общего друга и вспоминала добрые старые времена, пока наконец мой отец не забыл о своем величии и тоже не разрыдался. В конце концов ему пришлось самому успокаивать Теренцию, и в этом он нашел утешение и для себя.

...Не знаю даже, почему именно сегодня я вдруг вспомнила о Теренции и о смерти Вергилия? Сегодня, когда утро выдалось ясное, на небе ни облачка, и

вдали за моим окном, на востоке, мне хорошо виден мыс, выступающий в море далеко за Неаполисом? Может быть, потому, что Вергилий иногда жил там, когда покидал Рим, или потому, что он любил Теренцию в столь характерной для него угрюмой манере, за которой скрывалось так много истинного чувства. А Теренция — настоящая женщина, какой и я когда-то была.

Когда-то была... Может ли быть так, что Теренцию вполне удовлетворяла отведенная ей роль, в то время как меня она тяготила? Когда я жила в том мире, мне казалось, что ее устраивало такое положение вещей, за что я втайне презирала ее. Теперь я даже и не знаю: чужая душа — потемки, а я и в своей-то не разберусь.

IX

Письмо: Николай Дамаскин — Страбону Амасийскому (18 год до Р.Х.)

Ирод в Риме. Он весьма доволен моим «Жизнеописанием», которое опубликовано за границей, и выразил пожелание, чтобы я по-прежнему оставался в столице, дабы у него имелась надежная связь с императором. Как ты сам догадываешься, положение мое довольно деликатное, но я уверен, что справлюсь с возложенными на меня обязанностями. Ироду известно, что я пользуюсь расположением и доверием императора, и я надеюсь, он достаточно мудр, чтобы понимать, что я не стану ими злоупотреблять, и в то же время достаточно практичен, чтобы по меньшей мере знать, что если я и решусь на это, то уже буду без пользы как Октавию Цезарю, так и ему самому.

Несмотря на твои любезные похвалы, я пришел к выводу, что мне не стоит продолжать задуманное мной

сочинение, которое я назвал «Беседы с выдающимися римлянами». После более короткого знакомства с этими людьми я вынужден признать, что они не поддаются описанию в рамках Аристотелева метода, на котором мы с тобой выросли. Это непростое для меня решение, ибо оно может обозначать только две вещи: либо то, что данный метод несовершенен, либо то, что я вовсе не такой уж хороший ученик великого грека, каким я себя мнил. Первое из этих предположений почти немыслимо, а второе — слишком унизительно, чтобы его рассматривать. Посему я делаю это признание только тебе, другу моей юности.

Позволь мне продемонстрировать свои слова на таком примере.

Весь Рим до сих пор гудит как растревоженный улей по случаю последнего закона, принятого сенатом, который недавним эдиктом Октавия Цезаря был сокращен до шестисот членов. Скажу вкратце — это попытка упорядочить обычаи, регулирующие вступление в брак в этой непонятной стране, те самые обычаи, существование которых в последнее время признается скорее посредством их нарушения, чем строгого им следования. Среди прочего новый закон дает рабам больше прав для вступления в брак и владения собственностью, чем они имели до сих пор, что вызвало некоторое неудовольствие в определенных кругах; но оно без следа потонуло среди отчаянных воплей возмущения по поводу двух других, гораздо более поразительных разделов закона, из которых первый запрещает любому гражданину, уже имеющему или могущему в будущем иметь, согласно своему имущественному цензу, право быть избранным в сенат, жениться на вольноотпущеннице, актрисе или дочери актера или актрисы. Дочери или внучке сенатора запрещается выходить замуж за вольноотпущенника, актера или сына представителей ак-

терской профессии. Ни один свободнорожденный гражданин независимо от общественного положения не может жениться на куртизанке, своднице, на женщине, имевшей судимость или бывшей актрисе, а также на любой женщине вне зависимости от ее положения, задержанной и осужденной по суду за акт прелюбодеяния.

Второй раздел закона еще более радикальный, чем первый: он разрешает (хотя и не вменяет в обязанность) отцу, заставшему соблазнителя своей дочери в своем собственном доме или доме зятя, безнаказанно убить такового соблазнителя; точно так же он волен поступить и с дочерью. Муж имеет право самолично разделаться с обидчиком, но не с женой, преступные действия которой он обязан осудить и немедленно с ней развестись; в противном случае ему самому грозит наказание за сводничество.

Как я уже заметил выше, весь Рим взбудоражен: повсюду распространяются злые памфлеты; город полон слухов, и у каждого жителя имеется особое мнение о том, как это все понимать. Некоторые принимают это всерьез, другие — нет; одни говорят, что новому закону более пристало называться ливийским, чем юлианским, подозревая, что Ливия каким-то неведомым образом сумела протащить его за спиной Октавия Цезаря в отместку за его любовную связь с некой дамой, являющейся помимо всего прочего женой его друга; другие же относят закон на счет самого Октавия, при этом враги императора разыгрывают возмущение его двуличием, а друзья воспринимают как попытку возврата к «традиционной римской добродетели»; есть и такие, которые видят в этом некий заговор со стороны либо самого Октавия Цезаря, либо его врагов.

Среди царящей вокруг сумятицы сам император остается предельно спокоен, как будто и понятия не

имеет, что говорят или думают другие. Но это не так — он всегда и все знает.

Вот тебе одна сторона этого человека.

А вот и другая, о которой известно лишь мне и некоторым из его друзей. Она совсем не похожа на ту, о которой я говорил выше.

Я не раз присутствовал на официальных приемах в его доме на Палатине, где целиком и полностью царствует Ливия. Визиты эти я находил приятными и вовсе не утомительными; при этом Октавий и Ливия держались друг с другом необыкновенно любезно, если не сказать, сердечно. Кроме того, я бывал в гостях у Марка Агриппы и Юлии, где встречал Октавия, обычно в компании с Теренцией, женой Гая Мецената, а также у самого Мецената, где мы проводили время в самой задушевной и интимной обстановке, опять же в обществе Октавия и Теренции. При этом все трое вели себя с непосредственностью старых друзей.

О его связи с Теренцией известно всем, и не первый год.

Еще один штрих: он, подобно философу, не верит в старых богов своей страны, но, словно простой крестьянин, чрезвычайно суеверен. Он прибегает к предсказаниям всякий раз, когда берется за какое-нибудь дело, и убежден в их истинности благодаря своему умелому пользованию ими; он смеется (но по-доброму) над тем, что он называет «трансцендентной напыщенностью» бога моих соотечественников, и не перестает удивляться лености народа, не потрудившегося придумать себе больше чем одного бога. Он как-то сказал: «Богам надлежит быть во множестве, дабы они могли бороться друг с другом, как люди... Нет, я не думаю, что этот ваш странный иудейский бог подойдет нам, римлянам». Помнится, когда я журил его (к тому времени мы стали очень близки) за то, что он при-

давал такое большое значение знамениям и вещим снам, он ответил: «Не раз и не два мне удалось спастись лишь благодаря моей вере в вещие сны. Стоит им однажды подвести меня, и я тут же перестану в них верить».

За что бы он ни брался, он ко всему подходит с величайшей осторожностью и осмотрительностью и никогда не оставляет на волю случая то, чего можно добиться тщательной подготовкой; и в то же самое время ничто не увлекает его больше, чем игра в кости, которой он может предаваться часами. Бывало, он отряжал ко мне гонца и, узнав, что я располагаю временем, приглашал составить ему компанию, что я и делал, хотя, признаться, получаю большее удовольствие от наблюдения за ним, чем от самой глупой игры в случай, к которой он подходит со всей серьезностью, как если бы от ее исхода зависела судьба империи; и когда после двух или трех часов игры он оказывался в выигрыше, пусть даже всего нескольких серебреников, то радовался так, как будто покорил Германию.

Однажды он признался мне, что в молодости мечтал стать литератором и даже писал стихи, составляя конкуренцию своему другу Меценату.

— Где они сейчас, твои стихи? — спросил я.

— Утеряны,— ответил он с грустью,— пропали при Филиппах. Я даже как-то написал трагедию в греческом стиле.

Я не удержался, чтобы не поддеть его:

— Об одном из ваших странных богов?

— Нет-нет,— рассмеялся он.— О смертном. О глупце, обуянном гордыней,— греке Аяксе*, лишившем себя жизни, бросившись на меч.

— И что, она тоже утрачена?

Он кивнул:

— Я из скромности снова лишил его жизни — на этот раз с помощью ножа для соскабливания текста... То была не очень удачная попытка в сочинении трагедии — мой друг Вергилий заверил меня в этом.

Мы оба замолчали. Лицо Октавия помрачнело, и он сказал чуть ли не грубо, бросив на стол кости:

— Пойдем сыграем еще.

Понимаешь теперь, что я имею в виду, мой дорогой друг Страбон? Как много всего осталось за пределами моего рассказа! Я почти готов поверить, что не существует такой формы, которая позволила бы мне сказать то, что я хочу сказать.

X

Письмо: Квинт Гораций Флакк — Октавию Цезарю (17 год до Р.Х.)

Прости меня за то, что я отослал обратно гонца, не ответив на твое приглашение. Он сообщил мне, что ты приказал ему дождаться меня, но я отпустил его под свою ответственность.

Ты просишь меня сочинить хорал для празднеств по случаю столетия основания города, которые ты назначил на май. Я чрезвычайно польщен твоим доверием, хотя мы оба прекрасно понимаем, что того, кто действительно заслуживает этой чести, уже нет в живых; мне также известно, какое исключительно большое значение ты придаешь этим торжествам.

Посему ты не можешь не удивляться моим колебаниям по поводу твоего заказа, из-за которых я всю ночь не сомкнул глаз. В конце концов я пришел к выводу, что почту за долг и высокую честь принять твое предложение; однако предварительно должен поставить тебя

в известность относительно того, что вызвало мои сомнения.

Я отлично понимаю всю сложность стоящей перед тобой задачи по управлению тем удивительным народом, который я одновременно люблю и ненавижу, и еще более удивительной империей, наводящей на меня страх и заставляющей испытывать гордость за то, что я именуюсь римлянином. Я знаю, может быть, даже лучше, чем многие другие, сколь многим ты пожертвовал ради спасения нашего государства; и мне известно, с каким презрением ты всегда относился к той власти, что против твоей воли была возложена на тебя, ибо только тот, кто презирает власть, мог так умело ею распорядиться. Все это — и многое другое — мне хорошо известно. Поэтому, когда я решаюсь поспорить с тобой, я прекрасно понимаю, какой незаурядный ум мне противостоит.

И все же я никак не могу убедить себя, что твои новые законы способны принести что-либо иное, кроме горя,— как для тебя, так и для всей страны.

Мне хорошо известно, сколь низко пали нравы в нашем городе и что ты хочешь остановить это разложение — в чем, как я понимаю, и заключается идея твоих законов. В тех кругах, в которых ты вращаешься и которые я имею возможность наблюдать, совокупление стало действием, направленным на достижение власти — либо политической, либо светской; прелюбодей может представлять собой бóльшую угрозу — как тебе лично, так и государству,— чем даже заговорщик; естественный акт, единственная цель которого есть чувственное наслаждение, превратился в опасное средство осуществления честолюбивых устремлений. Так, раб может получить власть над сенатором, а через него — над рядовыми гражданами, что неизбежно приведет к крушению всего заведенного порядка. Как видишь, я

догадываюсь, что́ ты стремишься предотвратить своими законами.

Однако ты и сам не захотел бы, чтобы они проводились в жизнь без разбора, с положенной закону неукоснительностью, ибо это окажется гибельным и для тебя, и для твоих ближайших друзей. И хотя те, кто знает твои намерения, понимают, что ты просто хочешь обозначить тенденцию, дать некий идеал, основная масса твоих врагов не станет вдаваться в такие тонкости; и может случиться так, что твои законы против прелюбодеяния обернутся еще большим злом, чем то, против которого они направлены.

Ибо нет такого закона, который мог бы регулировать душевные порывы или обусловливать стремление к добродетели. Это область поэтов или философов, которые обладают даром убеждения, поскольку не имеют реальной власти; та же власть, коей обладаешь ты (и которой, как я уже отмечал, ты так мудро пользовался в прошлом), бессильна против страстей человеческих, какими бы разрушительными они ни были.

Тем не менее я напишу ораторию, о которой ты меня просишь, и приложу все усилия для того, чтобы оправдать оказанную мне честь. Я разделяю твои чаяния и надежды, но боюсь мер, которыми ты намерен осуществить их. Я ошибался относительно тебя в прошлом; надеюсь, ошибаюсь и сейчас.

XI

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Доживая свои дни на этом острове-тюрьме, я отстраненно размышляю о том, что мне, пожалуй, и не пришло бы в голову раньше, когда впереди была вся жизнь.

Внизу в своей маленькой спальне крепко спит мать; служанка тоже не подает признаков жизни; даже море, обычно с шумом накатывающееся на прибрежный песок, неподвижно. Полуденное солнце плавит темные скалы, которые жадно вбирают в себя его жар лишь затем, чтобы снова испустить его в неподвижный воздух; в тяжелом зыбком мареве нет ни малейшего движения — даже случайная чайка не тревожит его. И среди этого покоя и безразличия я покорно жду своего конца.

Да, я живу в мире безвластия, где все незначительно, в отличие от того мира, из которого я вышла, где все было власть и все имело значение; где даже любят ради власти и конечная цель любви не радость, приносимая ею, а бесчисленные утехи власти.

Девять лет я была замужем за Марком Агриппой, и в глазах всего света я была ему примерной женой; я принесла ему четверых детей при его жизни и еще одного — после смерти. Все они принадлежали ему, и трое из них, поскольку были мальчиками, могли бы что-то значить в этом мире. Однако судьба распорядилась иначе.

Как мне кажется, именно после рождения моих сыновей Гая и Луция я впервые по-настоящему познала ту самую неудержимую из всех страстей — жажду власти. Мой отец немедленно усыновил их, давая, таким образом, понять, что в случае его смерти в первую очередь мой муж, а за ним тот или другой из моих сыновей унаследует титул императора и звание первого гражданина Римской империи. И вот на двадцать втором году жизни я узнала, что, не считая Ливии, я самая могущественная женщина в мире.

По мнению философов, власть — ничто, но откуда им знать, не изведавши ее? Как может евнух, никогда не знавший женщины, вожделеть к ней? Всю свою

жизнь я не могла взять в толк, почему мой отец не умел постичь радости обладания властью, которой жила я; именно благодаря ей я была столь счастлива с Марком Агриппой, который (как часто в сердцах говорила Ливия) годился мне в отцы.

Я часто думала, что я могла бы сделать с этой властью, если бы не была женщиной. По заведенному обычаю, даже наиболее влиятельные женщины, такие, как Ливия, и те обязаны были держаться в тени и напускать на себя покорность, зачастую им вовсе несвойственную. Я рано поняла, что такой путь не для меня.

Я помню, как однажды, когда отец укорял меня тем, что я говорила в неподобающей (как он полагал) для женщины заносчивой менере с одним из его друзей, я ответила, что даже если он порой забывает, кто он есть, то я всегда помню, что я — дочь императора. Эта моя колкость в дальнейшем получила широкое хождение в Риме. Отец, похоже, находил ее забавной, ибо не раз потом повторял мои слова. Мне кажется, он не понял, что я имела в виду.

Я была дочерью императора и женой Марка Агриппы, друга моего отца, но прежде и помимо всего — дочерью Октавия Цезаря, и мой первейший долг был — перед Римом.

И все же что-то внутри меня отчаянно сопротивлялось такому порядку вещей, который, как я прекрасно знала, так много требовал от человека и так мало давал взамен. И с каждым проходящим годом это чувство во мне росло все сильнее...

Только что, несколькими строчками выше, я говорила о власти и радости обладания ею. И вот теперь я размышляю о тех окольных путях, которые приходится выбирать женщине, чтобы познать утехи власти, суметь добиться ее и затем наслаждаться ею. В отли-

чие от мужчины, она не может захватить ее простой силой, ловкостью ума или напором страсти, как не может она и открыто упиваться ею — а в этом-то и есть высшее наслаждение обладания властью и то, что питает ее. Посему женщина всегда должна иметь под рукой маску, за которой она может спрятать от мира свое сокровище. Так, у меня на протяжении жизни было несколько личин, за которыми я скрывалась от чересчур пытливых взглядов: личина невинной девочки, не знавшей жизни, на которую души в ней не чаявший отец расточал свою невостребованную любовь; добродетельной жены, единственной радостью которой был ее долг перед мужем; властной молодой матроны, малейший каприз которой тут же становился волею народа; не обремененного заботами ученого, мечтающего о добродетели более высокого свойства, чем просто служение Риму, и наивно делающего вид, что верит в правоту философии; женщины, лишь в зрелые годы познавшей вкус плотских наслаждений и жадно вкушавшей их, как если бы они были амброзией со стола богов, женщины, в конце концов самой ставшей орудием в руках других, что принесло ей величайшее из когда-либо изведанных наслаждений...

Мне было двадцать один год, когда мой отец устроил празднования в честь столетия основания Рима; в этот же год я родила своего второго сына. Отец с моим мужем были главными действующими лицами во всех церемониях, где они приносили жертвы тем самым богам, потомки которых, как говорят, основали наш город. Мне и Ливии выпало делить обязанности хозяек на пиру, устроенном для ста самых знатных замужних дам города: я восседала на троне Дианы, а Ливия напротив меня — на троне Юноны, принимая ритуальное поклонение. Я видела лица наиболее богатых и

влиятельных дам в Риме, смотревших на меня снизу вверх; я знала, что многие из них были замужем за врагами моего отца, которые с готовностью расправились бы с ним, не удерживай их страх. И вот теперь все эти могущественные матроны глядели на меня со странным выражением, которое сопутствует признанию власти; на их лицах я читала не любовь или уважение, не ненависть и даже не страх — нет, это было что-то такое, с чем я никогда не сталкивалась раньше, и на мгновение я почувствовала себя так, как будто заново родилась.

Через несколько недель после завершения празднеств мой муж отбывал на Восток — в провинции Малая Азия, Македония, где мой отец провел свое отрочество, Греция, Понт и Сирия, в общем, туда, куда его звали дела. Действительно, мое желание сопровождать его в этой поездке шло вразрез со всеми принятыми нормами, и прежде мне и в голову не пришло бы бросить им вызов.

Тем не менее я поехала с ним, несмотря на гнев отца и его безуспешные попытки переубедить меня. Я помню, как он сказал: «Никогда за всю историю Рима жена проконсула не сопровождала его и его солдат в чужеземные края — это дело вольноотпущенниц и куртизанок».

На что я ответила: «Вот и посмотрим, кого ты предпочитаешь: куртизанку мужа или любовницу всего Рима».

Мой ответ был довольно легкомысленным, каким отец и воспринял его, и, хотя тогда я и не имела ничего такого в виду, позже мне пришло в голову, что я не шутила и, возможно, была гораздо серьезнее, чем сама думала. В любом случае отец в конце концов уступил, и я присоединилась к свите моего мужа и впервые за

всю свою жизнь вместе с детьми и слугами пересекла границу Италии.

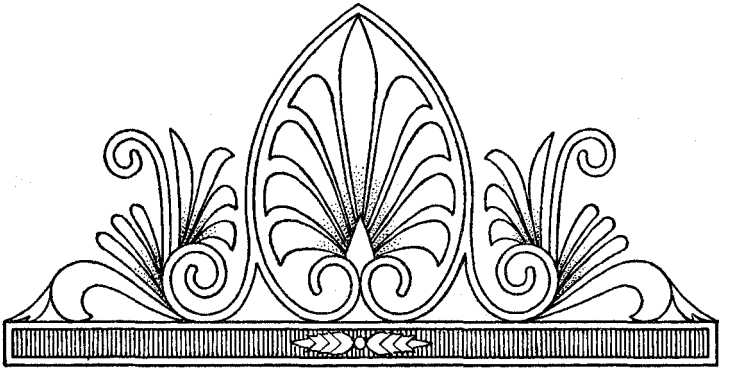
Из Брундизия через узкий пролив, где Адриатическое море сливается со Средиземным, мы прибыли в Аполлонию; здесь мы посетили места, где мой муж с моим отцом провели столько времени вместе, будучи еще совсем мальчишками. Наше пребывание там было приятным и необременительным, но мне не терпелось двинуться дальше и увидеть места более необычные, где не ступала нога римлянина. Из Аполлонии мы проехали через всю Македонию в новые земли Мезии вплоть до реки Данувий; я видела странных людей, которые, едва завидя наши повозки, запряженные лошадьми, бросались обратно в лес, из которого их выгнало любопытство, и ни за что не желали из него выходить; они говорили на незнакомых языках, и многие из них были одеты в шкуры диких животных. Я также могла наблюдать невеселую жизнь солдат, имевших несчастье служить на этом далеком краю империи. Они, как ни удивительно, не роптали, а мой муж говорил с ними так, как будто естественней их жизни ничего и быть не может. Я сама уже почти не помнила, что большую часть своей собственной жизни, еще до того, как я родилась, он провел именно так.

Закончив ранней осенью инспекцию данувийских гарнизонов, мы поспешили повернуть на юг, пока нас не застала суровая северная зима. Я уже чуть не пожалела о моем решении сопровождать Марка Агриппу в его путешествиях и стала скучать по удобствам римской жизни.

Но после отдыха в Филиппах я снова воспрянула духом. Мой муж провел меня по местам, где он сражался против Брута и Кассия, и рассказал множество

историй о тех далеких днях; а потом мы не торопясь вернулись на берега Эгейского моря, от которых по его голубым водам поплыли среди скоплений островов; по мере того как мы продвигались к югу, климат становился все теплее.

И я начала понимать, зачем боги увели меня так далеко от города, в котором я родилась.



Глава 4

I

Письмо: Николай Дамаскин — Гаю Цильнию Меценату из Иерусалима (14 год до Р.Х.)

За последние три года в своих письмах к тебе я не раз выражал удивление, почему наш друг Октавий Цезарь настоял на том, чтобы я сопровождал Марка Агриппу и его жену в их длительной поездке по Востоку, ибо мне всегда было ясно, что самого факта моего пребывания на службе у Ирода было явно недостаточно, чтобы обосновать столь долгое мое отсутствие в Риме. Только теперь я мало-помалу начинаю понимать, чем это было вызвано. Ты наверняка недоумеваешь, отчего я пишу тебе, зная, что ты удалился от дел, вместо того чтобы обратиться к самому Октавию Цезарю. Но если ты соизволишь меня выслушать, то постепенно поймешь, чем я руководствовался.

Я пишу тебе из Иерусалима, куда несколько месяцев назад Марк Агриппа и Юлия прибыли вместе со мной по приглашению Ирода, предложившего нам остановиться

передохнуть в его столице. Однако пребывание Агриппы в Иерусалиме было недолгим, ибо не успели мы туда приехать, как до него дошли вести о волнениях в Боспоре: старый царь, преданный Риму, умер, и его молодая жена Динамис, возомнив себя не меньше чем северной Клеопатрой (но, похоже, забыв о ее печальной судьбе), вступила в союз с варваром по имени Скрибоний и, не считаясь с интересами Рима, объявила себя и своего любовника правителями царства ее покойного супруга. Более того, говорят, что она, подстрекаемая вышеуказанным Скрибонием, была сама замешана в смерти мужа. Одним словом, Марк Агриппа, хорошо понимая, что это царство — последний бастион на пути северных варваров, решил тут же выехать на место и подавить мятеж, чем он в настоящий момент и занимается с помощью судов и войск, предоставленных ему Иродом.

Естественно, Юлия не могла поехать с ним; впрочем, она и сама не выразила особого желания, но в то же время не захотела принять приглашение Ирода дождаться возвращения мужа в Иерусалиме, как и не выказала ни малейшего намерения вернуться обратно в Рим. Вместо этого, несмотря на наши призывы, она собрала свою свиту и сразу после отъезда мужа выехала в Грецию и на северные острова, откуда они с Агриппой только что прибыли. До меня дошли тревожные вести из тех краев, где она сейчас находится, и именно это заставило меня взяться за перо.

В последние два года, во время их неспешного путешествия на юг среди островов Эгейского моря и прибрежных городов Греции и Азии, оба они — и Марк Агриппа, и Юлия — получали почести, достойные представителей Октавия Цезаря, императора Рима, но в особенности Юлия — как дочь императора, она заслужила такое восторженное поклонение, на которое способны лишь островные и восточные греки.

Это поклонение началось довольно обычным порядком: на острове Андрос в честь прибытия Юлии было установлено ее скульптурное изображение; жители Метилен, что на острове Лесбос, прослышав о приеме, оказанном ей на Андросе, соорудили еще более внушительную статую богини Афродиты с ликом Юлии, после чего по мере того, как на островах и в прибрежных городах узнавали о приближении Юлии и Агриппы, почести становились все более и более непомерными, пока наконец Юлию не признали за саму Афродиту, сошедшую на землю, и не стали (по крайней мере, чисто ритуально) ей поклоняться.

Я уверен, ты со мной согласишься, что во всех этих крайностях, какими бы нелепыми они ни казались цивилизованному человеку, ничего такого ужасного нет, ибо грекам хватило ума смягчить общий тон своих церемоний, чтобы никого ненароком не обидеть и сделать их почти похожими на римские.

Но в разгар этих событий нечто необычное стало происходить с Юлией, к которой, как тебе известно, я был весьма привязан. У меня сложилось впечатление, что она как бы вдруг переняла свойства богини, к которой ее ритуально приравняли; она превратилась в некое надменно-бесстрастное существо, как если бы и вправду стала бессмертной.

Во всяком случае, такое у меня о ней сложилось впечатление; и вот только что я получил известия из Азии, которые, как это ни грустно, подтверждают мои опасения.

Согласно полученным мною сведениям, Юлия, проведя целый день в Илии среди руин древней Трои, тем же вечером предприняла попытку пересечь реку Скамандр. По причинам, не совсем сейчас ясным, плот, на котором она находилась, перевернулся, в результате чего и она, и все члены ее свиты оказались в воде, увлекаемые

прочь сильным течением. Они были буквально на волосок от гибели. В конце концов Юлии все-таки удалось спастись (с чьей помощью, неизвестно), но в гневе на местных жителей, которых она обвинила в том, что они даже и не пытались прийти ей на помощь, она от имени своего мужа Марка Агриппы наложила на деревню, возле которой это случилось, контрибуцию в сто тысяч драхм, то есть почти по тысяче драхм с человека. Это огромная сумма для бедных селян, многие из которых и за всю свою жизнь не заработают таких денег.

Говорят, что жители деревни, заслышав крики о помощи, высыпали на берег, откуда безучастно наблюдали за происходящим. Я полагаю, что так оно наверняка и было; тем не менее, несмотря на, казалось бы, неопровержимую вину селян, я хочу вступиться за них. Я собираюсь попросить Ирода (который у меня в долгу), чтобы тот уговорил Агриппу освободить провинившихся от уплаты. Я делаю это не из жалости к обитателям деревни, а из опасений за благополучие дома Октавия Цезаря. Ибо Юлия провела тот день в Илии не как простой путешественник, привлеченный развалинами древнего города, и ее неудачная попытка пересечь Скамандр была не просто безобидным возвращением с прогулки.

Выше я упомянул о публичных церемониях — частью религиозных, частью политических и частью светских,— во время которых Юлию вознесли до небес и воссадили на престол Афродиты. Столь подробно останавливаясь на них, я старался отдалить тот момент в моем повествовании, когда мне придется рассказать о другого рода церемонии, уже не публичной, а тайной и оттого мало кому известной и даже пугающей в наш просвещенный век.

Среди восточных греков и на островах в Эгейском море бытует загадочный культ некой богини, имя ко-

торой (во всяком случае, для непосвященных) остается неизвестным. Говорят, она богиня всех богов и богинь, затмевающая своим могуществом все другие божества, когда-либо придуманные человеком. Время от времени в честь богини устраиваются празднества, сопровождаемые определенными ритуалами — какими, никто не знает, поскольку культ окружен завесой таинственности по причине то ли особого религиозного пыла, то ли его постыдной неприглядности. Но абсолютных тайн на свете не бывает, и в своих путешествиях я был достаточно наслышан об этом культе, чтобы он вызвал у меня чувство отвращения перед его природой и опасение по поводу его последствий.

Это женский культ, и хотя в нем имеются жрецы, все они — кастраты, когда-то принесшие себя в жертву своей богине. Жертвы, в свою очередь, выбираются жрицами из невинных юношей до двадцати лет, добровольно согласившихся участвовать в ритуале,— говорят, порой даже из собственных сыновей, ибо, согласно их своеобразным взглядам, это делает их самыми почитаемыми и счастливыми из людей.

Я точно не знаю всех деталей обряда, но своими собственными ушами слышал доносившиеся из священных рощ, где он проводится, звуки флейты и ритуальных песнопений. По слухам, в течение трех дней вновь обращенные и другие члены культа «очищаются» воздержанием от всего плотского, а затем возбуждают себя до неистовства танцами, пением и возлияниями — вином ли или каким-то другим загадочным напитком, никто не знает. После того как участники входят в транс, навеянный музыкой, танцами и странным питием, начинается сам ритуал. Одного из нескольких жертвенных юношей выводят перед женщиной, избранной ритуальным воплощением великой богини. Не считая повязки из меха дикого зверя, обвязанной вокруг его чресел, он

совершенно наг; путами из лавровых веток его руки и ноги привязывают к кресту, сделанному из срубленного в священной роще дерева, и участники церемонии начинают кружить вокруг него в танце, порой входя в такой экстаз, что начинают срывать с себя одежды. Затем к юношам подходит богиня и священным ножом распускает бечеву, которой удерживается узкая полоска из меха, скрывающая их наготу; найдя жертву, удовлетворяющую ее вкусам, она разрезает его путы и уводит с собой в пещеру в священной роще, специально отведенную для «бракосочетания» богини и смертного.

Это «бракосочетание» предполагается как чисто ритуальное, но надо помнить, что речь идет о культе женщины, и притом тайном, не подвластном ни законам, ни общепринятым нормам. Три дня богиня и ее жертва проводят в пещере, у входа в которую им оставляют еду и питье, в течение которых она, как говорят, вольна делать с несчастным юношей все, что захочет; тем временем все остальные, охваченные безумным неистовством, предаются сладострастным и извращенным наслаждениям.

По истечении трех дней богиня и ее смертный любовник покидают пещеру и, преодолев водное пространство, вступают в другую священную рощу, которая становится Островом Блаженных; здесь смертный любовник приобретает бессмертие — по крайней мере, в варварском воображении участников ритуала.

Всем известно, что данный культ широко распространен в Восточной Греции от Илия до Лесбоса и что к нему принадлежит немало представителей самых богатых и образованных семейств этой части мира. Когда плот, несший Юлию и ее свиту, перевернулся, она как раз возвращалась с одной из описанных церемоний по завершении положенного ритуала на Острове Блаженных. Она была воплощением богини.

Местные жители, питающие отвращение к подобным порочным обрядам, не могли преодолеть своего страха перед этими странными существами, которые (как они полагают) живут в мире, недоступном их пониманию и далеком от их образа жизни. Я не могу допустить, чтобы наложенное на них наказание оставалось в силе, ибо тогда тайна (ограждающая Юлию, а также ничего о том не ведающих Марка Агриппу, Октавия Цезаря и даже сам Рим) может оказаться нарушенной.

Помимо неприглядных ритуалов, о которых известно по слухам, есть еще одно обстоятельство, связанное с культом, которое куда как серьезнее варварских обрядов: члены культа обязаны отвергнуть все, что лежит за пределами их собственного вожделения, и не признавать власти ни человека, ни закона, ни обычаев простых смертных, что не только поощряет распущенность нравов, но и открывает дорогу убийству, измене и всем другим мыслимым порокам.

Дорогой Меценат, я надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я не мог обратиться к императору или Марку Агриппе, а вынужден взвалить на твои слабые плечи непосильный груз этого печального знания, притом что ты уже отошел от общественной жизни. Ты должен найти способ убедить твоего друга и господина заставить Юлию вернуться в Рим. Если она еще не погубила себя безвозвратно, то ждать этого недолго, останься она в том странном мире, который для себя обнаружила на собственную беду.

II

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Я так никогда и не узнала, почему мой отец потребовал от меня в не терпящем возражения тоне немедленно вернуться в Рим, не оставив мне ничего другого,

как только повиноваться его воле. Я так и не смогла добиться от него достаточно веской причины, обусловившей столь бескомпромиссную суровость его приказа,— он просто заявил, что жене второго гражданина империи не пристало так долго находиться вдали от любящего ее народа и что имеются некоторые светские и религиозные обязанности, целиком лежащие на мне и Ливии. Я не поверила, что то было истинной причиной моего возвращения, но он пресек мои дальнейшие расспросы. Однако он не мог не заметить, как огорчило меня это обстоятельство; мне представлялось, что я оказалась вырвана из той жизни, где я впервые почувствовала себя самой собой, чтобы провести остаток своих дней, исполняя долг, в котором я не видела ни малейшего смысла.

Как ни странно, то был Николай — маленький сирийский иудей, к которому мой отец питает необъяснимую привязанность и доверие,— кто доставил мне его послание, проделав для этого весь неблизкий путь из Иерусалима в Метилены на острове Лесбос, где он меня и нашел.

— Я не поеду! — в гневе воскликнула я.— Он не может заставить меня вернуться против моей воли.

— Он твой отец,— сказал, пожав плечами, Николай.

— Но я здесь с мужем,— возразила я.

— С мужем? — сказал Николай.— Твой муж в Боспоре. Он друг твоему отцу, императору, который, как я полагаю, соскучился по тебе. Подумай о Риме — когда мы вернемся, там уже будет весна.

И вот мы отплыли с Лесбоса. Я стояла на палубе и провожала взглядом острова, один за другим исчезающие за кормой, словно облака во сне. То моя жизнь, думала я про себя, что остается позади; жизнь, в которой я была царицей, и даже больше чем царицей. День проходил за днем, и по мере того, как мы при-

ближались к Риму, мне становилось все яснее, что я возвращаюсь уже другой женщиной, не той, что покинула его три года назад.

И я также знала, что жизнь, к которой я возвращаюсь, будет совсем иной. Я не могла сказать какой, но определенно не такой, как раньше. Даже Рим не сможет меня теперь запугать. «Но неужели я по-прежнему буду чувствовать себя словно маленькая девочка при встрече с отцом?» — помнится, спрашивала себя я.

Я вернулась в Рим в год консульства Тиберия Клавдия Нерона, сына Ливии и мужа дочери моего супруга, Випсании. Мне было двадцать пять лет. Та, что была богиней, вернулась в Рим обычной женщиной, полной горького разочарования.

III

Письмо: Публий Овидий Назон — Сексту Проперцию в Ассизий (13 год до Р.Х.)*

Дорогой Секст, мой друг и наставник — как живется тебе в твоей добровольной ссылке? Твой Овидий умоляет тебя покинуть сие место печали и уединения и вернуться в Рим, где тебя так не хватает. Все здесь не так мрачно, как ты склонен полагать; на римском небосклоне загорелась новая звезда, и вновь те, у кого хватает на то мозгов, могут жить в радости и наслаждении. Более того, за последние несколько месяцев я пришел к выводу, что нет для меня лучшего места и времени, чем нынешний Рим.

Ты большой мастер в том искусстве, которое избрал себе поприщем и я, да и старше меня — однако можешь ли ты с уверенностью сказать, что мудрее? Не исключено, что причина твоей меланхолии кроется скорее в

тебе самом, нежели в том, что происходит в столице. Возвращайся к нам — у нас еще достаточно времени для удовольствий, прежде чем нас поглотит мрак ночи.

Но прости меня, дорогой Секст,— ты ведь знаешь, что я не большой любитель серьезных разговоров и, раз начав в этом ключе, не могу долго в нем продолжать. С самого начала в мои намерения входило просто рассказать тебе о выпавшем на мою долю восхитительном дне, в надежде убедить тебя вернуться в Рим.

Вчера был день рождения императора Октавия Цезаря и потому римский выходной, однако начало его было для меня не слишком многообещающим. На службу я прибыл непристойно рано — еще до зари, когда солнце только-только начало пробиваться сквозь частокол домов, называемый Римом, пробуждая огромный город ото сна. И хотя вряд ли кому в голову могло прийти подавать в суд в такой день, но на следующий — очень даже возможно; кроме того, я должен был особенно искусно подготовить изложение одного дела. Некий Корнелий Апроний, из-за которого мне и пришлось с утра пораньше засесть за работу, подает иск на Фабия Кретика, обвиняя его в неуплате за пользование неким земельным участком, в то время как вышеозначенный Кретик выдвигает ответный иск, утверждая, что права на землю не принадлежат Апронию. Оба мошенники, и ни у того, ни у другого нет доказательств; посему искусное изложение дела и удачно представленные доводы истца играют очень большую роль — как, впрочем, и то, к какому магистрату оно попадет в руки.

Одним словом, все утро я провел в трудах; в моей голове то и дело возникали изумительные строки, как оно всегда случается, когда я занимаюсь каким-нибудь чрезвычайно занудным делом; мой писец был особенно медлителен и бестолков; а шум, доносившийся с форума, особенно нестерпимо терзал мой слух. Все это

мне начинало действовать на нервы, и я в который раз пенял себе на то, что до сих пор не бросил это дурацкое занятие, которое в конечном счете не принесет мне ничего, кроме богатства, в котором я не нуждаюсь, да незавидной награды в виде сенаторского звания.

И вот в тот момент, когда я совершенно помирал от скуки, произошло некое замечательное событие: я заслышал под моей дверью сначала топот ног, потом приглушенный смех; после этого дверь широко распахнулась, и передо мной предстал самый удивительный евнух, какого я когда-либо имел возможность наблюдать,— весь завитой и надушенный, одетый в изысканные шелковые одежды, с изумрудами и рубинами на пальцах. Он стоял с таким видом, будто был не рабом, а вольноотпущенником или даже полноправным гражданином.

— Здесь тебе не сатурналии*,— сказал я сердито.— Кто позволил тебе врываться ко мне без стука?

— Моя госпожа,— ответил он высоким женским голосом.— Моя госпожа просит тебя проследовать со мной.

— Твоя госпожа,— воскликнул я,— может хоть сквозь землю провалиться — мне-то что... Кто она, кстати?

Он изобразил на лице надменную улыбку, как будто я был жалкий червяк у него под ногами.

— Моя госпожа — Юлия, дочь Октавия Цезаря Августа, императора Рима и первого гражданина Римской империи. Есть еще вопросы, законник?

Я уставился на него, открыв рот и не произнося ни слова.

— Ты пойдешь со мной, я полагаю? — высокомерно произнес он.

Мое раздражение тут же как рукой сняло; я рассмеялся и бросил на стол своему писцу связку бумаг, над которыми до этого момента корпел.

— Постарайся что-нибудь состряпать из них,— сказал я. Затем я повернулся к рабу-евнуху, ожидающему меня.— Я последую за тобой, куда бы твоя госпожа ни позвала меня,— сказал я, после чего мы вышли на улицу.

По своему обыкновению, мой дорогой Секст, я отвлекусь на минутку от моего повествования, чтобы сообщить тебе следующее: по чистой случайности я всего за несколько недель до описываемых событий встречался с вышеупомянутой дамой на пышном пиру, который закатил наш общий знакомый Семпроний Гракх. Дочь императора всего как с месяц вернулась из продолжительной поездки по Востоку, где она сопровождала своего мужа Марка Агриппу, бывшего там по государственным делам, и где он и остается по сей день. Я конечно же сгорал от нетерпения встретиться с ней, ибо с тех пор, как она вернулась в Рим, весь высший свет только о ней и говорит. Поэтому когда Гракх, который, как мне сдается, с ней в довольно дружеских отношениях, прислал мне приглашение, я, естественно, тут же его принял.

В тот вечер на вилле Семпрония Гракха собрались буквально сотни людей — слишком многочисленное сборище, чтобы быть по-настоящему интересным, но не без своих положительных сторон. Несмотря на огромное скопление народу, мне посчастливилось познакомиться с Юлией, с которой мы успели переброситься парой шутливых замечаний. Это необычайно обаятельная женщина — изысканной красоты и действительно весьма образованная и начитанная. Она даже любезно дала мне понять, что знакома с некоторыми из моих стихов. Будучи наслышан о репутации ее отца как человека высоких моральных устоев (о чем тебе более чем хорошо известно, мой бедный друг Секст), я тут же предпринял жалкую попытку извиниться за чрезмер-

ную «фривольность» отдельных моих творений, но она лишь улыбнулась в свойственной ей обезоруживающей манере и сказала:

— Мой дорогой Овидий, если ты намерен попытаться убедить меня в том, что, хотя стихи твои игривы, жизнь твоя целомудренна, я больше никогда не заговорю с тобой.

— Моя владычица, если таковы твои условия, то я постараюсь убедить тебя в обратном!

Она рассмеялась, и засим мы и расстались. И, хотя то был достаточно приятный эпизод, мне и в голову не могло прийти, что наша встреча оставит малейший след в ее памяти, не говоря уже о том, чтобы вспомнить о моем существовании по прошествии двух недель. Но тем не менее она вспомнила — вчера я снова оказался в ее обществе после событий, о которых я упомянул в начале письма.

За дверью я обнаружил полдюжины носилок с пурпурно-золотыми шелковыми балдахинами, за которыми слышались возня и громкий смех, разносившиеся по всей улице. Я остановился, не зная, что делать дальше; мой провожатый евнух стоял в стороне и ораторствовал перед нижестоящими рабами, не обращая на меня внимания. Но вот какая-то женщина сошла с носилок; я сразу же узнал в ней ту самую Юлию, которая так вовремя нарушила монотонное течение моего утра. Затем к ней присоединился еще один человек, который оказался Семпронием Гракхом. Он приветливо улыбнулся мне, и я подошел к ним.

— Ты спасла меня от смерти, вызванной скукой,— сказал я, обращаясь к Юлии.— Что ты намерена делать с моей жизнью, которая теперь полностью принадлежит тебе?

— Я распоряжусь ею весьма легкомысленно,— ответила она.— Сегодня день рождения моего отца, и он

дал мне свое позволение пригласить моих друзей в его ложу в цирке. Мы будем смотреть игры и играть на деньги.

— Игры,— сказал я.— Как мило.

Я не вкладывал никакого особого смысла в это свое замечание, но Юлия увидела в нем иронию.

— Интересны не сами по себе игры,— со смехом сказала она.— Туда приходят для того, чтобы себя показать и других посмотреть, а также в поисках менее тривиальных развлечений.— И, бросив взгляд на Семпрония, добавила: — Ничего, скоро узнаешь.

Затем она отвернулась от меня и обратилась к своим спутникам, некоторые из которых вышли из носилок поразмять ноги:

— Кто хочет разделить компанию с Овидием, поэтом любви, который пишет о том, чему вы посвятили свою жизнь?

Из-за цветных пологов показались руки, делающие зазывающие жесты, и послышались голоса, выкрикивающие мое имя:

— Сюда, к нам, Овидий,— моей подруге нужен твой совет!

— Нет, мне нужен совет!

Все это сопровождалось взрывами хохота. В конце концов я выбрал носилки, где для меня было достаточно места; носильщики подняли их на плечи и медленно двинулись через заполненные народом улицы к цирку Максима.

Мы прибыли туда в полдень, когда толпы зрителей покидали трибуны, чтобы на скорую руку перекусить перед тем, как зрелище возобновится. Признаться, мне было непривычно видеть, как люди, узнав цвета наших носилок, расступались перед ними, будто земля под плугом. При этом они радостно махали нам руками и выкрикивали в наш адрес дружеские приветствия.

Наконец мы оставили носилки и с Юлией, Семпронием Гракхом и еще одним незнакомым мне человеком во главе через сводчатые галереи, что пчелиными сотами изрезали весь цирк, проследовали к лестнице. Время от времени из проемов галерей манил нас к себе бродячий астролог, на что кто-нибудь из нашей компании кричал ему: «Мы знаем свое будущее, старик!» — и бросал ему монету. А то вдруг покажется куртизанка и поманит какого-нибудь мужчину, оставшегося без спутницы. В ответ на это кто-либо из дам говорил ей с напускным ужасом: «Нет-нет, не похищай его у нас — он может навечно остаться с тобой!»

Мы поднялись по лестнице и, подойдя к императорской ложе, зашикали, призывая друг друга соблюдать тишину в знак почтения к Октавию Цезарю. Но его в ложе не было, и, должен признаться, несмотря на все удовольствие, которое я получал от пребывания в компании таких очаровательных людей, я был несколько разочарован.

В отличие от тебя, друг мой Секст, не будучи закадычным другом Мецената (да и не испытывая нужды в столь интимных отношениях), я никогда не встречался с Октавием Цезарем. Конечно, я видел его издалека, как и все в Риме, но знаю о нем лишь с твоих слов.

— Императора не будет? — спросил я.

— Пустого рода кровопролитие не доставляет ему удовольствия,— ответила Юлия, указывая на пустую арену.— Он обычно появляется позже, после завершения звериной охоты.

Я взглянул вниз и увидел, как служители разгребали землю, залитую кровью, и оттаскивали трупы убитых животных, среди которых я заметил нескольких тигров, льва и даже слона. Я как-то раз был на одном из таких зрелищ, когда впервые приехал в Рим, и нашел его

чрезвычайно скучным и вульгарным, о чем и поспешил поделиться с Юлией.

— Как говорит мой отец, тут погибает либо глупец охотник, либо бессловесная тварь, и его не волнует судьба ни того, ни другого,— сказала Юлия с улыбкой.— К тому же в этих поединках между человеком и зверем не принято биться об заклад. Мой отец обожает играть на деньги.

— Уже поздно,— заметил я.— Но он все равно придет, да?

— Должен прийти,— ответила Юлия.— Это зрелище приурочено к его дню рождения; он не может позволить себе проявить неблагодарность по отношению к тем, кто оказал ему такую честь.

Я кивнул, вспомнив, что устроителем игр был один из новых преторов, Юл Антоний. Я хотел было сделать какое-то замечание по этому поводу, но, вспомнив, кто он был такой, поспешно прикусил язык.

Но Юлия, должно быть, заметила мое намерение, ибо произнесла с улыбкой:

— Да-да, в особенности он не хочет выглядеть неучтивым в глазах сына своего старого врага, которого он давно простил и чьего отпрыска предпочел даже некоторым из своих собственных близких родственников.

Я глубокомысленно (как мне кажется) кивнул и больше этого вопроса не касался, хотя про себя не переставал думать о сыне Марка Антония, имя которого, даже через столько лет после его смерти, по-прежнему почитаемо жителями Рима.

Впрочем, в такой замечательной компании времени на размышления почти не остается. Вскоре слуги стали разносить на золотых блюдах закуски и разливать по бокалам вино; мы поели, выпили вина и, непринужденно болтая между собой, понаблюдали за народом, тяну-

шимся обратно на свои места к началу полуденных развлечений.

К шестому часу пополудни трибуны были полны, я бы даже сказал, переполнены, вместив в себя большую часть населения Рима. И вдруг, перекрывая обычный гомон толпы, по цирку прокатился мощный рев, исходящий из тысячи глоток; многие из сидящих под нами плебеев вскочили на ноги, указывая на ложу, где мы возлежали. Я обернулся и посмотрел через плечо. В дальнем конце ложи, в глубокой тени, я заметил две фигуры: одна довольно рослая, другая — нет. Высокий человек был одет в богато расшитую тунику и белую тогу с пурпурной каймой, указывающую, что он консул; другой же носил простую белую тунику и тогу обычного римлянина.

Первый был Тиберий, пасынок императора и римский консул, а второй — император Октавий Цезарь собственной персоной.

Когда они вошли в ложу, все присутствующие поднялись; император улыбнулся, кивком поприветствовал нас и пригласил занять свои места. Сам он уселся рядом с дочерью, в то время как Тиберий (молодой человек с мрачным лицом, на котором читалось неудовольствие его вынужденным присутствием здесь) сел поодаль от всех остальных и за все время ни с кем не перемолвился ни словом. Некоторое время император и Юлия тихо беседовали, сдвинув головы; затем он бросил на меня быстрый взгляд и сказал что-то Юлии, которая, улыбнувшись, согласно кивнула головой и подозвала меня к себе.

Я подошел, Юлия представила меня своему отцу.

— Очень рад познакомиться с тобой,— сказал император. Лицо у него было усталое и все изборождено морщинами, светлые волосы тронуты сединой, но при этом взгляд ясный, проницательный и живой.

— Мой друг Гораций упоминал о твоих сочинениях.

— Я надеюсь, благосклонно,— сказал я.— Ведь я не могу претендовать на его лавры. Боюсь, моя муза гораздо скромнее и обыденнее.

Он кивнул:

— Мы все подчиняемся той музе, что выбрала нас... Кто твои фавориты на сегодня?

— Кто-кто? — переспросил я тупо.

— В соревнованиях колесниц кто твой любимый возница?

— Господин,— ответил я,— должен признаться, я хожу на скачки скорее ради приятного общества, чем ради лошадей, посему я в них совершенно несведущ.

— А, тогда ставки тебя не интересуют,— сказал он, как мне показалось, несколько разочарованно.

— Ну почему же, интересуют — на все, кроме лошадей,— ответил я.

Он снова кивнул и, чуть заметно улыбнувшись, повернулся к кому-то у себя за спиной:

— На кого ты ставишь в первую очередь?

Но тот, к кому он обратился, не успел ему ответить: в дальнем конце скакового круга открылись ворота, и под звуки труб на арене появилась процессия, возглавляемая Юлом Антонием — претором, на средства которого и были устроены игры. Он был облачен в алую тунику, поверх которой была надета тога с пурпурной каймой; в правой руке он держал жезл из слоновой кости с сидящим на нем золотым орлом, готовым, казалось, в любую минуту с него сорваться; голову претора венчал золотой лавровый венок. Должен признаться, что восседая на своей колеснице, запряженной великолепной белой лошадью, он производил весьма внушительное впечатление, даже при взгляде издалека, оттуда, где я сидел.

Процессия медленно двинулась по кругу. Вслед за Юлом Антонием двигались церемониальные жрецы, которые сопровождали статуи, представлявшиеся несведущим людям буквальным воплощением богов; за ними появились участники состязаний во всем великолепии своих белых, красных, зеленых и голубых одежд; и замыкала процессию шумная ватага танцоров, мимов и шутов, которые скакали и кувыркались на арене, пока жрецы переносили статуи на возвышение в центре, вокруг которого должны были происходить гонки.

И вот наконец вся кавалькада приблизилась к императорской ложе. Юл Антоний остановил колесницу, поприветствовал императора и объявил, что игры посвящаются его дню рождению. Должен сказать, я не без любопытства приглядывался к Юлу. Он необычайно хорош собой — мускулистые загорелые руки, смуглое, с несколько крупноватыми чертами лицо, ослепительно белые зубы и вьющиеся черные волосы. Говорят, он вылитый отец, только менее склонный к полноте.

После завершения ритуала посвящения Юл Антоний подошел вплотную к ложе и сказал, обращаясь к императору:

— Я присоединюсь к вам позже, как только разделаюсь с делами на старте.

Император согласно кивнул; на лице его было написано удовольствие.

— Антоний хорошо знает и лошадей и возниц. К нему стоит прислушаться, если хочешь хоть немного разбираться в гонках на колесницах,— сказал он, обернувшись ко мне.

Вынужден тебе признаться, мой дорогой Секст, что нравы великих мира сего вне моего понимания: самый могущественный человек на свете император Октавий Цезарь в этот момент, казалось бы, ничем, кроме

предстоящего развлечения, больше не интересовался; с сыном человека, которого он победил в войне и заставил покончить с собой, он держался очень естественно, тепло и дружелюбно; со мной говорил так, как будто мы оба были самыми обычными гражданами. Помнится, у меня даже было промелькнула мысль о поэме, но так же быстро я отринул ее. Гораций, без сомнения, написал бы что-нибудь в подобном роде, но мне (нам) это как-то не с руки.

Юл Антоний ушел в дальний конец арены и скоро появился за загородкой над стартовым барьером. Толпа взревела, Юл Антоний сделал знак рукой и, взглянув вниз на выстроившиеся в ряд колесницы, взмахнул белым платком; служители опустили барьер, и окутанные облаком пыли колесницы сорвались с места.

Я украдкой бросил взгляд на императора и с удивлением обнаружил, что он, похоже, потерял всякий интерес к развертывающемуся зрелищу, не успело оно начаться. Он, заметив мой вопросительный взгляд, объяснил:

— На первый заезд умные люди не ставят. Участие в процессии делает лошадей слишком нервными, чтобы они могли проявить себя по-настоящему.

Я согласно кивнул, как будто его слова для меня что-то значили.

Не успели колесницы закончить пять из семи кругов первого заезда, как Юл Антоний присоединился к нам. Он, похоже, знал большинство людей в нашей ложе, ибо непринужденно кивал в ответ на их приветствия, называя некоторых по имени. Он занял место между императором и Юлией, и скоро они все трое бились друг с другом об заклад и весело смеялись.

День начал клониться к вечеру, когда слуги снова стали разносить еду и вино и раздавать влажные салфетки, которыми мы вытерли пыль, осевшую на наших

лицах. Император делал ставки в каждом заезде, порой играя против нескольких человек кряду; проигрывал он без огорчения, но когда выигрывал, то не скрывал своего ликования. Перед последним заездом Юл Антоний поднялся со своего места и, извинившись, сообщил, что вынужден нас покинуть, так как его призывают к себе обязанности распорядителя на старте. Он попрощался со мной, выразив надежду на встречу в будущем, раскланялся с императором и отвесил глубокий поклон Юлии, в котором я усмотрел некую нарочитость и скрытую иронию. В ответ она рассмеялась, закинув назад голову.

Император нахмурился, но ничего не сказал. Вскоре после этого, когда весь народ уже покинул цирк, проследовали к выходу и мы. Многие из нашей компании провели остаток вечера в доме Семпрония Гракха, где мне раскрылось значение той немой сцены между Юлом Антонием и дочерью императора, свидетелем которой я стал. Сама Юлия объяснила мне, что к чему.

Муж Юлии, Марк Агриппа, был когда-то женат на молодой Марцелле, дочери сестры императора Октавии; когда Юлия овдовела, он по настоянию императора развелся с Марцеллой и женился на Юлии, а совсем недавно Юл Антоний женился на той самой Марцелле, что была до того женой Марка Агриппы.

— Все это довольно запутанно,— сказал я, запинаясь.

— Вовсе нет,— возразила Юлия.— У моего отца все записано, так что всегда можно справиться, кто на ком женат.

Вот так, мой дорогой Секст, и прошел этот мой день. Я видел старое, был свидетелем нового и могу смело сказать, что Рим снова становится местом, где можно жить.

IV

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Мне не позволяется ни капли вина, а еда моя — грубая пища селянина, состоящая из черного хлеба, сушеных овощей и соленой рыбы. Я даже приобрела привычки бедняков: в конце дня я обмываюсь и затем сажусь за скромный ужин. Иногда мы с матерью ужинаем вместе, но обычно я предпочитаю есть в одиночестве за моим столом возле окна, откуда мне видно море, накатывающееся на берег с вечерним приливом.

Я научилась ценить простую прелесть этого грубого зернистого хлеба, кое-как выпекаемого моей немой служанкой, с его земляным привкусом, усугубляемым холодной родниковой водой, которая служит мне вместо вина. Когда я ем его, я думаю о сотнях и сотнях тысяч бедняков и рабов, живших на этом свете до меня,— сумели ли они найти удовольствие в этой незамысловатой пище, как это удалось мне? Или вкус ее был для них навсегда отравлен мечтами о яствах, которыми они могли бы наслаждаться? Пожалуй, лучше всего пройти этот путь, как я: от самых дорогих и экзотических кушаний — к предельно простым. Вчера вечером, сидя за тем самым столом, за которым я пишу эти строки, я пыталась припомнить вкус и ощущения от тех блюд — и не могла. И вот в попытке воспроизвести то, что мне никогда уже не доведется испытать, я вспомнила один вечер на вилле Семпрония Гракха.

Не знаю даже, почему мне на память пришел именно тот вечер,— в ранних сумерках, опустившихся на Пандатерию, передо мной вдруг явственно возникли те давние события, как будто разыгранные на сцене, прежде чем я успела отогнать от себя это видение.

Марк Агриппа вернулся с Востока и последние три

месяца провел в Риме; тем временем я в пятый раз забеременела. Однако вскоре — в начале следующего года — мой отец послал Агриппу в Паннонию, где племена варваров снова стали угрожать границе на Дунавии. Семпроний Гракх в ознаменование моей свободы и по случаю прихода весны закатил пир, подобного которому (как он всем обещал) Рим еще не видывал, пригласив на него всех моих друзей, с которыми я не виделась с тех пор, как мой муж вернулся в столицу.

Несмотря на измышления, распространившиеся гораздо позже, Семпроний Гракх не был тогда моим любовником. Он был вольнодумцем и вел себя со мной (как, впрочем, и со многими другими женщинами) просто и раскованно, что и могло послужить причиной сплетен, которые были весьма далеки от истины. Тогда я все еще всерьез воспринимала то положение, которое, по мнению моего отца, я должна была занимать; прекрасная пора, когда я была богиней в Илии, казалась мне мечтой, ждущей своего часа, чтобы стать реальностью. Я на некоторое время вновь забыла о своем предназначении.

В начале марта мой отец вошел в должность великого понтифика, освободившуюся после смерти Лепида, и объявил день игрищ в честь этого события, на что Семпроний Гракх заметил, что если старому Риму нужен верховный жрец, то новому не обойтись без верховной жрицы; посему Семпроний назначил свой пир на конец марта, и весь город гудел слухами о том, что ожидает на нем гостей: некоторые говорили, что их будут перевозить с места на место на слонах, другие — что специально по этому случаю с Востока доставили тысячу музыкантов и такое же количество танцоров. Предвкушение чего-то необычного давало обильную пищу воображению, которое, в свою очередь, подогревало всеобщие ожидания.

Однако за неделю до этого в Рим пришли вести, что Агриппа, скорее, чем ожидалось, управившись с беспорядками на границе, вернулся в Италию и в настоящий момент находился в Брундизии, откуда намеревался проследовать на нашу виллу в Путеолах, где я должна была встретить его.

Но я его не встретила. Несмотря на неудовольствие моего отца, я решила присоединиться к мужу через неделю после его возвращения, после того, как он хорошо отдохнет с дороги.

Когда я упомянула об этом отцу, он холодно взглянул на меня и сказал:

— Насколько я понимаю, ты желаешь быть на пиру, который устраивает Гракх.

— Да,— ответила я.— Я на нем буду почетной гостьей, да и отказываться от приглашения так поздно просто неприлично.

— Вспомни о своем долге перед мужем,— сказал он.

— И перед тобой, и перед твоим делом, и перед Римом.

— Эти молодые люди, с которыми ты проводишь время,— тебе не приходило в голову сравнить их поведение с поведением твоего мужа и его друзей? — спросил он.

— Эти молодые люди — мои друзья. И можешь не сомневаться: когда я состарюсь, они тоже не останутся молодыми.

Он слабо улыбнулся и сказал:

— Ты права — как я мог забыть. Мы все стареем, и все когда-то были молоды... Я объясню твоему мужу, что неотложные дела задерживают тебя в Риме. Но ты должна обязательно приехать к нему через неделю.

— Непременно — через неделю я буду у него.

Вот как получилось, что я не поехала к мужу на юг, а оказалась на пиру у Семпрония Гракха, который и

вправду оставался самым знаменательным событием в Риме в продолжение нескольких лет, но по причинам, которые тогда никто не мог предугадать.

На нем не было ни ручных слонов для перевозки гостей с места на место, ни каких других чудес, о которых ходили слухи по всему городу; просто это было грандиозное пиршество в присутствии более сотни гостей, которым прислуживало почти такое же количество слуг и которых развлекала несметная толпа музыкантов и танцоров. Мы ели, пили и много смеялись; мы наблюдали за танцорами и танцовщицами и даже пускались в пляс вместе с ними, к их большому удовольствию и смущению. Под нежные звуки арф, свирелей и тамбуринов мы прогуливались по саду, где им вторил плеск фонтанов, и отблески факелов плясали на поверхности воды в замысловатом танце, недоступном простым смертным.

В конце вечера должно было состояться особое представление, подготовленное музыкантами и танцорами, а поэт Овидий собирался прочитать свое новое стихотворение, специально написанное в мою честь по этому случаю. Семпроний Гракх приказал соорудить для меня специальный трон из черного дерева, который был установлен на небольшом возвышении в саду, чтобы все гости могли (как сказал Гракх с извечной своей иронией) воздать мне должное...

Я восседала на троне, сверху вниз глядя на остальных гостей; поднявшийся легкий ветерок шелестел листвой платанов и кипарисов и нежно, словно лаская, касался моей шелковой туники. Танцоры продолжали свои пляски, и их умащенные тела тускло блестели в свете факелов. Мне вспомнились Илий и Лесбос, где я была более чем смертной. На траве возле моего трона расположился Семпроний; и я была счастлива, как никогда раньше, и снова была самой собой.

Согбенная фигура человека, что стоял неподалеку и отвешивал поклоны, пытаясь привлечь мое внимание, вывела меня из этого состояния блаженства; я узнала в нем слугу из дома отца и сделала ему знак обождать, пока не закончится выступление танцоров.

После окончания танца, награжденного вялыми аплодисментами, я приказала рабу приблизиться.

— Что мой отец хочет от меня? — спросила я.

— Я Приск,— представился он.— Твой муж... он болен. Твой отец через час выезжает в Путеолы и просит тебя поехать с ним.

— Неужели это так серьезно?

Приск кивнул.

— Твой отец едет сегодня в ночь. Он очень обеспокоен.

Я отвернулась от него, ища глазами своих друзей, которые весело и беспечно бродили по газонам в саду Семпрония Гракха. Их смех, звучавший даже изысканнее и нежнее, чем музыка, под которую ритмично двигались танцоры, долетал до моих ушей вместе с дуновением теплого весеннего ветра.

— Возвращайся домой. Скажи моему отцу, что я скоро уйду отсюда и вернусь к мужу в своей повозке, так что пусть он меня не ждет.

Приск продолжал топтаться на месте и не уходил.

— Говори,— приказала я.

— Твой отец желает, чтобы ты вернулась со мной.

— Скажи моему отцу, что я всегда выполняла свой долг перед мужем. Я сейчас занята — ступай прочь. Я приеду к нему позже.

Приск удалился, а я начала было рассказывать Семпронию Гракху о полученной мной новости, но тут передо мной предстал Овидий и начал читать свое стихотворение, посвященное мне; я не могла его прерывать.

Когда-то я знала его наизусть, но теперь не могу вспомнить из него ни слова. Странно — то были замечательные стихи. Насколько мне известно, Овидий так никогда и не включил его ни в один из своих сборников; он объяснял это тем, что стихотворение принадлежит одной лишь мне, и никому более.

Я так больше никогда и не увиделась со своим мужем: к тому времени, как мой отец достиг Путеол, он уже умер; болезнь, причину которой врачи так и не нашли, была скоротечной и, надеюсь, не слишком мучительной. Он был хороший человек и всегда относился ко мне по-доброму; боюсь, он так и не узнал, что я на самом деле о нем думала. Полагаю, отец никогда не простил мне того, что я не поехала вместе с ним в Путеолы в ту ночь.

...Трюфели — в тот вечер на вилле Семпрония Гракха нас потчевали трюфелями. Земляной привкус этого черного хлеба напомнил мне о них и воссоздал в моем мозгу картину того памятного вечера, когда я во второй раз стала вдовой.

V

К Юлии — стихотворение, приписываемое Овидию (около 13 года до Р.Х.)

Беспокойный, бесцельно брожу я мимо храмов и кущ, где
Боги обитают — те самые боги, что молиться зовут к себе
Путников, вставших на отдых в древних кущах, там, где
В деревья на памяти смертных жадно топор не вгрызался.
Где задержаться бы мне? Янус недвижно следит
За моим к нему приближеньем, но мимо него прохожу
Быстрее, чем глаз замечает любой — но не его.
Дальше иду.
Вот Веста* — надежна, даже в чем-то мила, полагаю.
К ней я взываю, но нет мне ответа — Веста разводит огонь,
Пищу готовит кому-то.
Машет небрежно рукой, все так же
Склонясь над огнем.
В печали качаю я головой и дальше иду.

Вот слышу Юпитера гром.
Сверкая глазами, что требует он?
Чтоб я побожился оставить беспутную жизнь навсегда?
«Овидий,— гремит он,— где, скажи мне, конец
Твоим похожденьям любовным? стихоплетству пустому?
Позерству тщеславному?» Пытаюсь ответить, но гром
Греметь продолжает:
«Бедный поэт, твои годы уходят; тогу
Сенатора пора бы надеть; подумай о государстве иль
Попытайся хотя бы».
Оглушенный, слов больше не разбираю
И грустно следую дальше по дороге к Марсову храму.
Усталый, замираю перед очами самого грозного бога — левой
Рукой засевает он поле, а правой воздух рубит мечом.
О Марс беспредельный!
Отец всех живущих и умирающих!
Взываю с надеждой, что хоть он меня примет.
Но нет.
Могучий воитель,
Что имя дал марту — месяцу, в коем сам я родился, отринул
Меня.
Я вздыхаю: неужто нет мне места средь вас, о великие боги?
Безутешный, отторгнут почти всеми богами моей древней
Страны, прочь ухожу, отдаваясь на волю ветров — пусть
Несут меня, куда захотят.
Но чу! слышу сладкие, нежные звуки свирели,
Тамбура и флейты, музыки смеха и ветра, пение птичье
И листов трепетанье в меркнущем свете.
По слуху иду
Туда, где волшебные звуки, чтоб своими глазами увидеть
То, что в музыке слышу.
Но вот предо мною, питаемый
Родниками, что населяют грот и пещеру, быстрый поток
Лениво петляет меж трепетных лилий, в воздухе будто парящих.
Вот, говорю себе, здесь божество обитает, то, что не знал я доныне.
Нимфы в прозрачных легких одеждах справляют ночь и весну;
И надо всеми, сияя красой,—
Богиня, к которой все взоры
Обращены.
Ей преклоняются с радостью и молятся весело;
Улыбкой своей, нежней, чем у нашей Авроры*, сумрак она
Разгоняет, красотой затмевая Юнону*.
Думаю я про себя: Венера то новая с небесных высот к нам
Сошла, не видана прежде никем.
Но все знают, что ей должны поклоняться.
Привет, о богиня!
Мы оставляем старых богов почивать
В их девственных кущах.

Пусть они хмуро взирают на мир,
Пусть бранят даже тех, кто слушать их хочет.
Здесь же
Новое время настало, новая истина найдена, что спрятана
Глубоко в душе того Рима, что раньше любили мы.
Так обнимем же новое, заживем в веселье и радости;
Скоро, скоро опустится ночь, скоро все отдохнем.
Но сейчас нам дана красота, чтобы ей наслаждаться,—
Богиня,
Несущая Жизнь в эти священные кущи.

VI

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Мой муж умер в тот самый вечер, когда состоялся пир у Семпрония Гракха; даже если бы я выехала немедленно, как того желал мой отец, я все равно не застала бы его в живых. Отец ехал всю ночь без остановки, и когда прибыл в Путеолы на следующий день, его самый старый и испытанный друг был уже мертв. Говорят, отец очень долго и бесстрастно смотрел на тело моего мужа, не произнося ни слова. Наконец в сухой и деловитой манере он приказал охваченным горем слугам Марка Агриппы подготовить тело для церемониального возвращения в Рим и затем, так и не присев ни на минуту, сопровождал останки своего друга на всем протяжении их медленного и печального путешествия в Рим. Те, кому довелось видеть его, шагающего, прихрамывая, во главе траурной процессии при въезде в город, говорили, что лицо у него при этом было словно высечено из камня.

Я, естественно, присутствовала на торжественной церемонии на форуме, где мой отец выступил с надгробной речью, и сама была свидетельницей его холодности. Он ораторствовал над телом Марка Агриппы так, как будто речь шла о монументе, а не о бренных останках его друга.

Но помимо этого я могу засвидетельствовать перед миром и то, что никому не известно: после завершения траурной церемонии мой отец заперся в комнате в своем доме на Палатине и три дня не выходил из нее, даже поесть. Когда он наконец вышел, то выглядел намного старше, чем до того, и приобрел странную безразлично-кроткую манеру говорить со всеми, которой за ним прежде не водилось. Со смертью Марка Агриппы что-то умерло и в нем самом — он уже никогда не был таким, как раньше.

Жителям Рима мой муж оставил в вечное пользование сады, которые он приобрел за годы пребывания у власти, а также построенные им купальни вместе со средствами, отпущенными на их содержание; кроме того, он завещал каждому римскому гражданину по сотне сребреников; остальная часть его состояний отошла моему отцу с условием, что он распорядится ею на благо народа.

Я считала себя бесчувственной, ибо совсем не убивалась по своему мужу. За ритуальными проявлениями скорби, положенными по обычаю, я ощущала — что? — да совсем ничего. Марк Агриппа был хороший человек, и я никогда не испытывала к нему неприязни; более того, в чем-то я даже любила его. Но в душе моей не было печали.

Мне шел двадцать седьмой год; я дала жизнь четверым детям и была беременна пятым; мне во второй раз выпало стать вдовой. Я успела побывать женой, богиней и второй женщиной в Риме.

Если я и ощущала что-нибудь в связи со смертью моего мужа, то это было чувство облегчения.

Через четыре месяца после смерти Марка Агриппы я родила мальчика. Мой отец назвал его Агриппой, в честь отца. Он сказал, что усыновит его, как только он немного подрастет. Меня это мало трогало. Я была рада

избавиться от той жизни, которая стала для меня тюрьмой.

...Но мне не суждено было обрести свободу. По прошествии года и четырех месяцев после смерти Марка Агриппы мой отец обручил меня с Тиберием Клавдием Нероном. Он был единственным из всех моих мужей, которого я ненавидела.

VII

Письмо: Ливия — Тиберию Клавдию Нерону в Паннонию (12 год до Р.Х.)

Дорогой сын, ты должен последовать моему совету в этом деле.

Ты должен развестись с Випсанией, как того требует мой муж, и жениться на Юлии. Все детали давно улажены, в чем немалая заслуга принадлежит мне. Поэтому если ты непременно хочешь излить на кого-то свой гнев за такой поворот событий, то часть его должна принять на себя я.

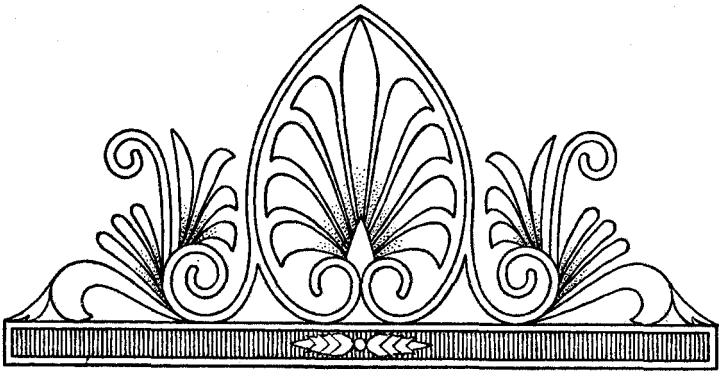
Верно, мой муж не удостоил тебя чести стать его сыном; так же верно, что он тебя не любит и послал заменить Агриппу в Паннонию только потому, что никого более подходящего под рукой не оказалось; да, в его намерения не входит сделать тебя своим наследником, и ты прав, говоря, что он использует тебя в своих целях.

Все это не имеет значения. Ибо если ты откажешься быть игрушкой в его руках, у тебя нет будущего, и все эти годы, что я провела в грезах о том, что ты когда-нибудь достигнешь величия, окажутся потрачены впустую. Ты будешь осужден доживать свою жизнь в безвестности, никому не нужный и всеми презираемый.

Мне хорошо известно, что мой муж желает для тебя лишь роли номинального отца своим внукам, в надежде, что тот или другой из них сможет заменить его, когда придет время. Однако он никогда не отличался крепким здоровьем, и никто не может знать, сколько еще лет жизни отпустили ему боги. Есть вероятность, что ты все-таки станешь его преемником, даже вопреки его желанию. Ты носишь благородное имя, и ты мой сын; и в прискорбном случае его смерти я неминуемо унаследую хотя бы часть его власти.

Тебе не нравится Юлия — неважно; Юлии не нравишься ты — тоже не имеет значения. Ты должен помнить о своем долге перед самим собой, своей страной и нашим именем.

Со временем ты поймешь, как права я была, устроив для тебя этот брак, и гнев твой постепенно сойдет на нет. Не подвергай себя излишней опасности из-за собственных непродуманных действий. Наше будущее гораздо важнее нас самих.



Глава 5

I

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Я знала силу Ливии и жесткие требования политики моего отца. Ни до, ни после в своей жизни я не встречала ничего, подобное непоколебимой вере Ливии в великое будущее ее сына; я никогда не могла понять этого и, боюсь, уже никогда и не пойму. Она принадлежала к роду Клавдиев; ее предыдущий муж, имя которого унаследовал Тиберий, тоже был из Клавдиев. Возможно, именно чувство гордости за свой старинный род склонило ее к мысли об особой судьбе Тиберия. Более того, мне даже думается, что она могла быть гораздо более привязана к своему бывшему мужу, чем старалась сделать вид, и ее сын был живым напоминанием о нем. Она была гордой женщиной; и время от времени, как мне кажется, чувствовала, что каким-то неведомым образом уронила свое достоинство, разделив ложе с моим отцом, имя которого, без сомнения, не могло сравниться с ее собственным.

Мой отец мечтал, что Марцелл, сын его сестры, станет его преемником, и потому обвенчал меня с ним. Но Марцелл вскоре умер. Затем он решил, что его заменит Агриппа, а если не он, то один из моих сыновей (которых он усыновил), когда они достаточно возмужают, чтобы принять на свои плечи бремя власти. Агриппа умер, оставив сыновей совсем детьми. Больше в роде Октавиев мужчин не было, и потому не осталось никого, кому отец мог бы по-настоящему доверять или на кого он имел бы достаточно влияния,— кроме Тиберия, которого он не выносил, хотя тот и был его пасынком.

Вскоре после смерти Марка Агриппы грозящая мне неизбежность замужества стала исподволь отравлять мою жизнь, словно незаживающая рана, существование которой я не желала признавать. При встрече со мной Ливия самодовольно улыбалась, будто мы с ней были в сговоре. И вот в самом конце года моего траура отец призвал меня к себе, чтобы уведомить о том, о чем я уже давно знала.

Он сам встретил меня в дверях, отпустив слуг, в сопровождении которых я к нему прибыла. Я помню тишину, царившую в доме; день клонился к вечеру, и в покоях, кроме отца, казалось, не было более никого.

Мы прошли с ним через внутренний дворик в маленькую комнатку рядом с его спальней, которую он использовал как кабинет. В ней не было почти никакой мебели, за исключением стола, единственного стула и небольшой кушетки. Мы присели и некоторое время говорили о том о сем: он справился о здоровье моих сыновей и пожаловался, что я редко привожу их навестить деда; затем разговор перешел на Марка Агриппу — он спросил, продолжаю ли я по-прежнему горевать о нем. Я ничего не ответила. Он тоже замолчал. Наконец я спросила:

— Это Тиберий, да?

Он посмотрел на меня, глубоко вздохнул, потом шумно выдохнул и уставился в пол.

— Да, Тиберий,— сказал он, кивнув.

Я давно знала, что этого не миновать, но тем не менее почувствовала, что меня охватывает страх.

— С тех пор как я себя помню, я всегда и во всем повиновалась тебе. Однако в данном случае я, как никогда, близка к неповиновению,— сказала я.

Отец промолчал.

— Помнится, ты как-то просил меня сравнить Марка Агриппу с некоторыми из моих друзей, которых ты не одобрял. Я тогда отшутилась, но все-таки сделала так, как ты сказал,— тебе известен вывод, к которому я пришла. И вот теперь я, в свою очередь, прошу тебя сравнить Тиберия с моим покойным мужем и спросить себя, каково мне будет жить с таким человеком.

Он поднес руки к лицу, как будто защищаясь от удара, но по-прежнему не произнес ни слова.

— Всю свою жизнь я служила интересам твоей политики, нашей семьи и Рима. Трудно предположить, кем я могла бы стать,— может быть, и никем; однако, с другой стороны...— Я запнулась, не находя слов.— Неужели это продлится до конца моих дней? Неужели я не заслужила покоя и должна по-прежнему жертвовать собой?

— Да,— твердо сказал отец, все так же смотря в пол,— это твой долг.

— Значит, Тиберий.

— Да, Тиберий.

— Ты же знаешь, насколько он безжалостен,— сказала я.

— Знаю,— ответил отец,— но я также знаю, что ты моя дочь и Тиберий не осмелится причинить тебе

зла. Ты поймешь, что жизнь не ограничивается браком. Со временем привыкнешь — мы все привыкаем к нашей жизни.

— Неужели нет другого пути?

Отец поднялся со стула, на котором сидел, и взволнованно зашагал взад и вперед по комнате. Я обратила внимание, что его хромота стала еще заметнее.

Наконец он сказал:

— Если бы был другой путь, я бы выбрал его. Со времени смерти Марка Агриппы три раза против меня замышлялись заговоры. Они были совсем не продуманы и плохо подготовлены, поэтому мне не составляло особого труда расправиться с заговорщиками. Я даже сумел сохранить это в тайне. Но будут и другие.

Он несколько раз легко ударил сжатым кулаком по раскрытой ладони своей руки.

— Но будут и другие. Старые враги не забыли, что ими правит выскочка, и они не простят ему ни его имени, ни его могущества. А Тиберий...

— А Тиберий из рода Клавдиев,— перебила его я.

— Вот именно. Твой брак не гарантирует сохранности моей власти, но может помочь этому. Патриции будут несколько менее опасны, если будут знать, что один из них, в жилах которого течет благородная кровь Клавдиев, может стать моим наследником. По крайней мере, это даст им повод сохранять терпение.

— Ты думаешь, они поверят, что ты сделаешь Тиберия своим преемником?

— Нет,— ответил он чуть слышно.— Но они поверят, что я могу сделать наследником внука из рода Клавдиев.

Вплоть до этого момента, хотя я и смирилась с самой идеей замужества как с неизбежностью, я все-таки еще до конца не осознавала реальности этого брака во всей его неприглядности.

— Значит, мне опять предстоит быть племенной свиноматкой на благо Рима,— сказала я с горечью.

— Если бы речь шла только обо мне,— глухо произнес отец, повернувшись ко мне спиной, чтобы я не могла видеть его лица.— Если бы речь шла только обо мне, я бы не стал просить. Я бы сам не позволил тебе выйти замуж за такого человека. Но я делаю это не ради себя — ты знала об этом с самого начала.

— Да,— ответила я,— я всегда знала об этом.

Он продолжал говорить, как будто обращался к самому себе:

— У тебя есть дети от хорошего человека. Это должно послужить тебе утешением. Память о твоем муже будет жить в ваших детях.

Мы еще долго беседовали тогда, но я уже не припомню о чем. Мне кажется, на меня нашло какое-то оцепенение, ибо после первоначального всплеска чувств обиды и горечи я уже ничего не ощущала. Но я не затаила на отца зла за это — он сделал то, чего не сделать не мог, и будь я на его месте, то, без сомнения, поступила бы точно так же.

Тем не менее, когда мне подошло время уходить, я задала ему последний вопрос — без гнева, или горечи, или даже того, что можно было бы описать как жалость к самой себе:

— Скажи мне, отец, какой во всем этом смысл — в твоей власти, в Риме, который ты спас, а потом заново построил? Стоило ли ради этого идти на такие жертвы?

Он пристально смотрел на меня, не произнося ни слова.

— Я должен верить, что стоило,— наконец сказал он, отведя глаза в сторону.— Мы оба должны верить в это.

Я вышла замуж за Тиберия Клавдия Нерона на двадцать восьмом году своей жизни. В течение года я выполнила свой супружеский долг и родила ребенка, в жилах которого текла кровь как Юлиев, так и Клавдиев. Долг этот оказался нелегким испытанием для нас обоих — и Тиберия и меня, и, как в дальнейшем оказалось, наши усилия пропали даром: младенец — мальчик — умер через неделю после рождения. Впоследствии мы с Тиберием жили врозь — он почти все время проводил за границей, а я снова нашла для себя жизнь в Риме.

II

Письмо: Публий Овидий Назон — Сексту Проперцию (10 год до Р.Х.)

Зачем я пишу тебе о том, что происходит в городе, в который, как ты дал ясно понять, ты возвращаться не собираешься? И который, как ты утверждаешь, тебя ничуть не интересует? Может быть, я не совсем уверен в твоей решимости? Или лелею надежду (конечно же напрасную) поколебать ее? За те пять или шесть лет, что ты не был в Риме, ты не написал ни строчки, и, несмотря на твои заявления на тот счет, что ты вполне счастлив пребывать в сельском очаровании Ассизия в обществе своих книг, мне с трудом верится, что ты навсегда покинул музу, которой когда-то верно служил. Я уверен, что она ждет тебя в Риме, и надеюсь, что ты к ней снова вернешься.

В столице все тихо, как на кладбище. Очаровательная дама (имя которой тебе известно, потому не стану его называть) вот уже целый год не появлялась в наших кругах, что тлетворно сказалось на нашей способности веселиться и наслаждаться жизнью. Рано овдовев, она снова была вынуждена выйти замуж, и

всем нам известно, как мало радости принесло ей это замужество. Будучи весьма важной персоной, ее муж тем не менее — самый угрюмый и неприветливый человек, какого только можно себе представить; он не знает, что значит быть счастливым, и не терпит этого в других. Он довольно молод (ему тридцать два — тридцать три года), но если забыть о внешности, его легко принять за старика — настолько он раздражителен и вечно всем недоволен. Мне кажется, такого склада люди преобладали в Риме пятьдесят—шестьдесят лет тому назад, и одного этого достаточно, чтобы заслужить восхищение многих из тех, кто принадлежит к так называемым древним родам. Он, без сомнения, человек принципа; однако, судя по моим наблюдениям, твердые принципы в сочетании с дурным нравом частенько оборачиваются жестокостью и человеконенавистничеством, ибо ими можно оправдать практически все, на что бы ни толкало человека его злонравие.

Но не будем терять надежды. Дама, о коей я упоминал выше, недавно родила сына, который умер в первую неделю жизни; ее муж, как я понимаю, в скором времени собирается покинуть Рим по причине неотложных дел на северных границах; и есть надежда, что снова среди нас будет та, чье остроумие, веселый нрав и умение наслаждаться жизнью помогут избавить Рим от унылого лицемерия, присущего ему в прошлом.

Не стану подвергать тебя, мой дорогой Секст, пытке одним из моих пространных рассуждений, но тем не менее замечу, что, как мне кажется, с течением времени те из традиционных «добродетелей», которыми Рим не устает гордиться и на которых, согласно официальной доктрине, покоится величие империи,— вы-

сокое положение, престиж, собственное достоинство, чувство долга, благочестие — просто-напросто убили в нас все нормальные человеческие чувства. Благодаря трудам великого Октавия Цезаря Рим превратился в самый красивый город на земле. Так почему бы и жителям его не раскрыть на досуге свою душу навстречу невиданным доныне в их городе красоте и изяществу?

III

Письмо: Гней Кальпурний Пизон — Тиберию Клавдию Нерону в Паннонию (9 год до Р.Х.)

Мой дорогой друг, при сем прилагаются сведения, которые ты просил меня собрать. Они исходят из различных источников, назвать которые я пока не могу, на тот случай (каким бы маловероятным он ни был), если они попадутся на глаза кому-нибудь другому помимо тебя. Некоторые из них я цитирую дословно, другие даю в кратком изложении, сохранив при этом всю полезную информацию. Оригиналы представленных документов хранятся у меня в надежном месте, если в будущем тебе понадобится ими воспользоваться.

Отчетный период — один месяц (ноябрь).

На третий день месяца, между десятью и одиннадцатью часами дня, к месту жительства дамы прибыли носилки, присланные Семпронием Гракхом. Их, по всей видимости, ждали, так как очень скоро после их появления указанная дама вышла из дома, после чего ее через весь город доставили на виллу Семпрония Гракха, где собралось множество гостей. Во время пира дама восседала на ложе непосредственно рядом с Гракхом; согласно полученным сведениям, они имели про-

должительную беседу интимного свойства, содержания которой установить не представлялось возможным. Гостями было потреблено изрядное количество вина, так что к концу пира многие из них стали сверх меры веселы. Поэт Овидий развлекал гостей чтением своих стихов, которые вполне соответствовали общей атмосфере данного сборища, то есть были самого оскорбительного и непристойного содержания. Затем труппа мимов разыграла сцены из «Неверной супруги», но в более развязной, чем обычно, манере. После этого настала очередь музыкантов, во время выступления коих гости, среди которых были Семпроний Гракх и упомянутая дама, стали постепенно расходиться. Дама не появлялась до самого утра, когда она была замечена садящейся в носилки, что ждали ее возле виллы Семпрония Гракха, в которых и была доставлена домой.

За два дня до ид указанного месяца дама принимала у себя группу своих друзей, среди которых из мужчин присутствовали Семпроний Гракх, Квинктий Криспин, Аппий Клавдий Пульхр и Корнелий Сципион; из менее именитых — поэт Овидий и грек Демосфен, сын актера, только недавно получивший римское гражданство. Винопитие началось рано — в десятом часу утра — и продолжалось до поздней ночи. Некоторые из гостей ушли после первой стражи, но большая часть осталась на ночь; эти последние, возглавляемые дамой, о которой идет речь, оставили дом и прилежащие к нему сады, где проходил пир, и проследовали в город. Здесь они остановили носилки среди дорожек и зданий форума, который в сей поздний час был совсем безлюден, если не считать небольшой группы горожан, торговцев и стражников, которые при этом присутствовали и могут в случае надобности быть привлечены в качестве сви-

детелей. Вино продолжало литься рекой; на забаву гулякам вышеуказанный сын актера Демосфен с трибуны у здания сената произнес речь, пародируя выступления императора, которые тот часто зачитывал с того же самого места. После речи компания распалась; дама вернулась домой вместе с Семпронием Гракхом. Начинало светать.

В течение последующих шести дней ничего предосудительного в действиях названной дамы замечено не было: она побывала на официальном приеме в доме ее родителей; вместе с матерью посетила театр, где сидела в обществе четырех немолодых весталок, и присутствовала на плебейских играх, во время которых осмотрительно оставалась в ложе со своим отцом и его друзьями, среди которых находился консул на текущий год Квинктий Криспин и проконсул Юл Антоний.

На четвертый день после ноябрьских ид она была приглашена в качестве почетного гостя на виллу Квинктия Криспина в Тиволии, куда прибыла в сопровождении Семпрония Гракха, Аппия Клавдия Пульхра и свиты из слуг. По причине теплой погоды пир был устроен на свежем воздухе и затянулся далеко за полночь. Вина было более чем достаточно; в качестве развлечения имелись танцоры обоих полов (которые, не ограничиваясь лишь сценой театра, танцевали, почти нагие, среди гостей, разбредшихся по парку) и музыканты, игравшие греческую и восточную музыку. В разгар гулянья часть гостей (включая указанную даму), как мужчин, так и женщин, бросились в бассейн, где, несмотря на тусклый свет факелов, были замечены в том, что сбросили с себя одежды, после чего продолжали непринужденно плескаться все вместе. После купания свидетели видели, как указанная дама удалилась в заросшую деревьями часть парка вместе с греком Демосфеном, где и пробыла несколько часов.

Последующие три дня дама оставалась на вилле Квинктия Криспина, в течение которых каждый вечер походил на описанный выше.

Я надеюсь, дорогой Тиберий, что эти донесения окажутся тебе полезными. Я же, со своей стороны, буду продолжать собирать интересующие тебя сведения, оставаясь при этом предельно осторожным. Что бы ни случилось, можешь всегда рассчитывать на меня.

IV

Письмо: Ливия — Тиберию Клавдию Нерону в Паннонию (9 год до Р.Х.)

Ты должен выполнить то, о чем я тебя прошу, и причем немедленно: ты должен уничтожить все столь тщательно собранные тобой «доказательства» и уведомить своего друга Кальпурния, чтобы он прекратил всякую деятельность такого рода, если ему дороги твои интересы.

Что, позволь тебя спросить, ты собирался делать с этими твоими «доказательствами»? Использовать для развода? И если так, то по какой, скажи на милость, причине — потому что твоя честь оказалась замаранной? Или ты думаешь, что окажешь большую услугу нашему делу своим разводом? Если это так, то ты ошибаешься, и притом глубоко. Твоя честь не пострадает до тех пор, пока ты остаешься за границей, ибо всем будет ясно, что ты не несешь ответственности за свою жену в данных обстоятельствах, особенно если учесть, что не просто так прохлаждаешься вдали от родных берегов, а находишься на службе у своего императора и отечества; если же, с другой стороны, выяснится, что ты собрал «улики», которые придержи-

ваешь в ожидании благоприятного момента, то тем самым только выставишь себя в глупом свете и вся твоя честь, которую ты таким образом сохранил, будет безвозвратно потеряна. И если ты полагаешь, что сможешь чего-то для себя добиться, настаивая на разводе, то в очередной раз ошибаешься. Как только это произойдет, ты оборвешь последнюю ниточку, связывающую тебя с той властью, о которой мы оба мечтали; жена твоя будет «опозорена», но тебе от этого будет мало проку; более того, ты растеряешь даже то немногое, чего мы сумели достичь.

Действительно, на данный момент положение обстоит таким образом, что ты по-прежнему весьма далек от осуществления нашей общей мечты; да, сейчас даже Юл Антоний, сын врага моего мужа, стоит выше тебя и столь же близок к вершине власти, что и ты. Но не забывай — у тебя есть имя. Мой муж немолод, и никто не знает, что ждет нас впереди. Нашим оружием должно быть терпение.

Я знаю, что твоя жена тебе неверна; скорее всего, мой муж тоже об этом знает. Но если ты попытаешься с помощью законов, введенных им, заставить его наказать свою дочь, он никогда не простит тебе этого; в этом случае ты мог бы с самого начала не приносить в жертву свою личную жизнь.

Мы должны дождаться подходящего момента. Если Юлии суждено навлечь на себя бесчестье, то пусть она это сделает сама, без твоей помощи. Ты ни в коем случае не должен ни во что вмешиваться, а это возможно только в том случае, если ты будешь достаточно осмотрителен, чтобы оставаться тем временем за границей. Я прошу тебя продлить свое пребывание в Паннонии настолько, насколько это возможно в пределах разумного. До тех пор, пока ты остаешься вдали от дома и Рима, наше дело продолжает жить.

V

Письмо: Марцелла — Юлии
(8 год до Р.Х.)

Юлия, дорогая, приходи к нам в среду на обед, после которого замышляется скромное развлечение. На нем будут некоторые из твоих друзей (которые, я должна отметить, также являются и нашими друзьями): Квинктий Криспин — непременно, а возможно, и другие. Естественно, ты можешь привести с собой кого пожелаешь.

Я так рада, что после стольких лет мы снова стали друзьями. Я часто с нежностью вспоминаю наше детство, игры, в которые мы играли, наших сверстников: тебя, и бедного Марцелла, и Друза, и — извини — Тиберия, и моих сестер — я почти совсем забыла их всех теперь... А ты помнишь, что даже Юл Антоний жил у нас некоторое время после смерти своего отца? Моя мать присматривала за ним, пока он был маленьким, хотя он был не ее ребенок. И вот теперь Юл мой муж. Как все это странно! Нам много о чем есть с тобой вспомнить.

О Юлия, я знаю — это я была причиной охлаждения между нами, но мне было так обидно, когда мой дядя (твой отец!) заставил Марка Агриппу развестись со мной, чтобы жениться на тебе. Я знаю, ты к этому не имеешь никакого отношения, но я была молода, и мне казалось, что у меня уже никогда не будет такого высокопоставленного мужа, как Марк Агриппа. И я действительно затаила на тебя обиду, хотя и понимала, что ты тут ни при чем. Но я всегда верила, что все будет к лучшему; и, возможно, дядя Октавий мудрее, чем мы думаем. Я очень довольна Юлом; сказать по правде, даже больше, чем Марком Агриппой. Он моложе и

красивее и занимает почти такое же положение, как и Марк. Или скоро, без сомнения, займет. Мой дядя, похоже, очень к нему расположен.

Ой, так мне никогда не остановиться — я все такая же болтушка, что и раньше. Мы почти не меняемся с годами, верно? Я очень надеюсь, что мои слова не обидели тебя. Может быть, я не стала умнее, но определенно постарела; я поняла, как глупо женщинам ссориться из-за своих мужей. Ведь они не имеют к нам никакого отношения, не правда ли? Во всяком случае, так мне кажется.

Дорогая Юлия, ты просто должна прийти к нам. Все будут в полном отчаянии, если тебя не будет. Желаешь ли ты, чтобы я прислала за тобой слуг, или предпочитаешь добираться сама? Непременно дай мне знать.

Можешь приводить с собой кого пожелаешь,— впрочем, у нас тоже должны быть весьма интересные люди. Мы прекрасно понимаем твое положение.

VI

Письмо: Гней Кальпурний Пизон — Тиберию Клавдию Нерону (8 год до Р.Х.)

Спешу отписать тебе, мой друг, прежде, чем до тебя дойдут вести из других источников и ты предпримешь опрометчивый шаг, не подкрепленный знанием, которое должно лежать в основе любых действий. Я говорил с твоей матерью, и, несмотря на наше недавнее расхождение во мнениях по поводу «доказательств», которые я поставлял тебе, мы, как мне кажется, полностью согласны в том, что тебе нужно сейчас делать. Ты должен понять, что она не может говорить с тобой прямо, ибо ни в коем случае не желает злоупотребить доверием своего мужа, а посему не станет советовать

тебе по секрету то, что не имеет возможности сказать открыто.

Через несколько дней ты получишь послание от отчима, в котором тебе предлагается консульство на будущий год. Тебе также будет приятно узнать, что я буду твоим соконсулом. В иные времена и в обычных обстоятельствах это могло бы рассматриваться как победа; но времена теперь не те и обстоятельства нынче нельзя назвать обычными, поэтому крайне необходимо, чтобы ты действовал с предельной осторожностью.

Ты конечно же обязан принять консульство; у тебя и в мыслях не должно быть отказаться от него — это нанесет сокрушительный удар по твоим планам на будущее, каковы бы они ни были.

Но тебе надо держаться подальше от Рима. Твой отчим конечно же хочет, чтобы ты оставался в городе, но ты ни в коем случае не должен этого делать. Перед тем как покинуть Германию и приехать сюда для вступления в должность, ты должен оставить свои дела в таком состоянии, чтобы тебе было совершенно необходимо сразу же вернуться туда. Если у тебя под рукой нет надежного человека, то ты сам намеренно поставишь свои армии под угрозу, так что тебе не останется ничего другого, как только тут же поспешить назад, чтобы поправить положение. Я уверен, ты сумеешь что-нибудь придумать.

А теперь я попытаюсь объяснить тебе причины такого, казалось бы, странного образа действий.

Поведение твоей супруги не изменилось и остается таким же, каким было в течение всего нынешнего года. Она открыто пренебрегает брачным договором и нисколько не заботится о твоей репутации. Ее отец не может не знать о ее скандальном поведении, однако ничего не предпринимает, чтобы пресечь его,— по со-

ображениям политики, по слепоте или из любви — не знаю. Несмотря на существование законов о браке (или, возможно, потому, что они были введены по инициативе самого императора), никто не осмеливается поднять голос. Всем известно, что эти законы не соблюдаются и что было бы в высшей степени неуместно пытаться настаивать на их применении сейчас, в особенности против такой могущественной и популярной личности, как твоя супруга.

Ибо она, без сомнения, могущественна и популярна. С умыслом ли или случайно (я сам склоняюсь к первому), но она собрала вокруг себя немало весьма высокопоставленных молодых людей Рима. И именно в этом и заключается главная опасность.

Те, с кем она нынче регулярно и близко общается, являются твоими самыми непримиримыми врагами, и тот факт, что они находятся в оппозиции императору, нисколько не умаляет исходящей от них угрозы. Напротив, это еще более обостряет ее.

Как тебе хорошо известно, твоя сила — в тех, кто поддерживает тебя, среди которых большинство принадлежат к семействам вроде моего, «старым республиканцам», по словам твоего отчима. Мы богаты, родовиты и держимся друг друга; но вот уже почти тридцать лет наше политическое влияние было намеренно ограничено.

Опасаюсь, что императору угодно сделать тебя своего рода «прокладкой» между фракциями — его собственной и молодых людей, среди которых Юлия пользуется особым авторитетом.

Если ты вернешься в Рим и позволишь себе оказаться между ними, ты будешь просто-напросто раздавлен, а затем отброшен в сторону, словно ненужный хлам. Таким образом твой отчим, не пошевелив, казалось бы, и пальцем, разделается с опасным сопер-

ником. И что еще важнее — этим удастся дискредитировать целую фракцию, не приложив к тому ни малейших усилий. Ибо пока фракция молодых поддерживает его дочь, он полагает, что исходящая от них опасность ничтожна.

Но ты будешь уничтожен.

Теперь давай рассмотрим имеющиеся у тебя возможности.

Первое: Клавдии и их сторонники могут под нашим руководством добиться достаточно власти, чтобы вернуть империю на тот путь, которому она когда-то следовала, и восстановить ценности и идеалы прошлого. Это весьма маловероятно, но допустим, что это возможно. Но даже если нам это удастся, мы, скорее всего, настроим против себя как новых людей твоего отца, так и новых молодых. И ты и я — мы оба не можем не содрогнуться при одной мысли о последствиях такого союза.

Второе: если ты останешься в Риме, твоя жена будет продолжать действовать в ущерб твоим интересам — по умыслу или повинуясь капризу, неважно, но она не остановится. Совершенно очевидно, что она считает императора источником своего могущества, а не твое имя и положение. Она остается дочерью императора. Ты будешь бессилен против нее и, кроме того, покажешь себя полным глупцом, если выступишь против нее и потерпишь поражение.

Третье: ее разгульный и полный излишеств образ жизни по-прежнему будет давать повод для сплетен как среди твоих друзей, так и врагов. Если ты предпримешь шаги против этой ее жизни и настоишь на разводе, то этим действительно навлечешь скандал на дом Октавиев, но также заслужишь вечное презрение императора и его сторонников. Если же ты ничего не

предпримешь против ее поведения, то выставишь себя слабовольным; тебя даже могут обвинить в потакании ее беззаконию.

Нет, мой дорогой Тиберий, ты не должен возвращаться в Рим с намерением оставаться там, пока дела обстоят таким образом, как они есть сейчас. Так удачно, что меня сделали консулом вместе с тобой. В твое отсутствие я буду защищать твои интересы, так что не беспокойся. Как странно, что мне, недостойному, безопаснее и проще сделать это, чем тебе. Какой удручающий поворот взяла наша жизнь!

Твоя мать шлет тебе привет. Она не станет писать тебе до того, как ты получишь извещение от императора. И хотя она и не упоминала об этом, у меня есть все основания полагать, что она целиком поддерживает меня во всем, что я советую тебе.

VII

Письмо: Николай Дамаскин — Страбону Амасийскому (7 год до Р.Х.)

За те четырнадцать лет, что я провел в Риме,— сначала на службе у Ирода и Октавия Цезаря, а затем у одного Октавия Цезаря, с которым к тому времени мы стали друзьями,— у меня не было повода пожаловаться на свою жизнь; как ты уже, наверное, догадался из моих писем, этот город стал для меня родным. Я разорвал почти все узы, связывающие меня с другими краями, и со смертью моих родителей уже не испытывал ни желания, ни необходимости возвращаться туда, где я родился.

Через несколько дней мне исполнится пятьдесят семь лет; но в последние несколько месяцев — может быть, даже дольше — я все менее и менее ощущаю Рим своим

домом. Я вдруг почувствовал себя чужим в этом городе, что был так добр ко мне и где мне случилось быть близким другом одному из величайших людей нашего времени.

Не исключено, что я ошибаюсь, но мне почему-то чудится некое напряжение, витающее в атмосфере; причем это не то смутное беспокойство, свидетелем которого ты был в начальные дни пребывания Октавия Цезаря у власти, ни восторженное возбуждение, охватившее меня, когда я впервые появился здесь четырнадцать лет назад.

Октавий Цезарь дал этой земле мир — со времени битвы при Акции не было случая, чтобы римлянин поднял меч на своего собрата римлянина; он принес процветание городу и деревне: в городе даже самые бедные из бедных не страдают от голода, а жители провинций в полной мере пожинают плоды милосердия Рима и Октавия Цезаря. Октавий Цезарь дал народу свободу: рабам больше не приходится жить в страхе перед своевольной жестокостью своих хозяев, беднякам — перед всевластием денег, благоразумному оратору — перед последствиями его слов.

И все же какое-то зловещее предчувствие носится в воздухе, что, боюсь, не предвещает ничего хорошего ни городу, ни империи, ни самому Октавию Цезарю. Фракция восстает против фракции; слухи множатся с каждым днем, и никого, похоже, больше уже не удовлетворяет спокойная и благополучная жизнь, ставшая возможной благодаря стараниям их императора. Я не перестаю удивляться на этих людей — они как будто не способны жить в мире, безопасности и уюте, которые им принесло правление Октавия Цезаря.

Итак, я покидаю Рим, город, бывший моим домом в течение стольких богатых событиями лет. Я возвращаюсь в Дамаск, где собираюсь доживать оставшиеся

мне годы среди книг и собственных писаний. Я оставляю Рим без гнева, упрека или чувства разочарования, но с печалью и любовью в сердце. Выводя сии строки, я понимаю, что на самом деле эти эмоции вызваны расставанием с моим дорогим другом Октавием Цезарем, ибо Октавий Цезарь и есть Рим, и в этом-то и заключается главная трагедия его жизни.

О Страбон, по правде говоря, я чувствую, что ему недолго осталось ходить по этой земле; за последние несколько лет ему довелось вынести то, что далеко не каждому по плечу. На его лице читается такое нечеловеческое самообладание, какое присуще лишь тому, кто знает, что конец его близок, и терпеливо дожидается первых признаков разложения плоти, знаменующего собой этот конец.

Я никогда не знал человека, для которого дружба значила бы так много,— я имею в виду дружбу особого рода; его истинными друзьями были те, с кем он подружился еще в молодости, задолго до того, как добился своего нынешнего могущества. Возможно, что стоящий у власти может доверять лишь тем, кого знал и кому верил до прихода к ней; впрочем, на то могли быть и другие причины... Он один теперь — никого у него нет.

Пять лет назад его друг Марк Агриппа, которого он сделал своим зятем, умер в одиночестве по возвращении в Италию из чужих земель; Октавий Цезарь не успел даже проститься с ним. На следующий год благородная Октавия, его сестра, скончалась в горьком уединении, которое сама для себя избрала, в простой обстановке Велитр, вдали от Рима и от своего брата. И вот теперь умер Меценат — последний из его старых и преданных друзей, бросив его одного в этом мире. Никого из тех, кого он знал в юности, не осталось в живых, а значит, никого, кому он мог бы доверять, с

кем мог бы поделиться тем, что тяжким грузом лежит у него на душе.

Я встречался с императором через неделю после смерти Мецената; я находился в Италии, когда это случилось, и посему, как только сия печальная новость достигла моих ушей, тут же поспешил к нему, чтобы выразить свои соболезнования.

Он поднял на меня свои ясные голубые глаза, что так поразительно молодо выглядят на его изборожденном морщинами лице.

— Ну что ж,— сказал он, чуть улыбаясь,— наша комедия почти окончена. Но даже и комедии бывают полны печали.

Я промолчал, не зная, что сказать.

— Меценат,— наконец пробормотал я,— Меценат...

— Ты хорошо знал его? — спросил Октавий.

— Я знал его, но не скажу, чтобы очень хорошо,— ответил я.

— Мало кто понимал его, и немногие любили,— задумчиво проговорил Октавий.— Но было время, когда мы были молоды — и Марк Агриппа тоже,— и были друзьями, и знали, что останемся ими до тех пор, пока живем. Агриппа, Меценат, я, Сальвидиен Руф. Сальвидиена тоже нет в живых, но он умер много лет назад. Возможно, мы все умерли еще тогда, в молодости.

Я забеспокоился, ибо никогда раньше не слышал, чтобы мой друг произносил бессвязные речи.

— Ты расстроен — это такая тяжелая утрата для тебя,— сказал я.

— Я был с ним, когда он испустил дух. И наш друг Гораций. Он отошел очень тихо и пребывал в сознании до самого последнего момента. Мы говорили о былом, о том, что мы с ним вместе пережили. Он попросил меня присматривать за Горацием; он сказал, что у поэтов голова занята более важными делами, чем забота о

собственной персоне. Гораций зарыдал и поспешно отвернулся. Потом Меценат сказал, что устал. И после этого умер.

— Может быть, он и вправду устал от жизни.

— Да-да, он устал от жизни.

Мы замолчали. Затем Октавий сказал:

— Скоро за ним последует другой, который тоже устал.

— Друг мой...— воскликнул я.

Он покачал головой, по-прежнему улыбаясь.

— Я не имею в виду себя — боги не будут столь милостивы ко мне. Я говорю о Горации. Я видел выражение его лица после этого. Вергилий, за ним Меценат, сказал он. Позже он напомнил мне, что как-то, много лет назад, в одном из своих стихотворений, где он иронизировал по поводу какого-то недомогания Мецената, он говорит, обращаясь к нему,— как же это там? «И в тот же самый день мы оба ляжем в землю. Я клятву на себя беру, словно солдат,— ты впереди, я тут же за тобой, мой неразлучный друг, готов ступить на путь, которым все пути кончаются...» Не думаю, что Гораций надолго его переживет. Да он и не желает этого.

— Гораций,— проговорил я.

— Меценат был никудышный поэт,— продолжал Октавий.— Я всегда говорил ему об этом.

...Я ничем не мог ему помочь. Через два месяца Гораций умер. Однажды утром слуга нашел его уже мертвым в его уютном маленьком домике над Дигенцией. На лице его было написано умиротворение, как будто он крепко спал. Октавий приказал захоронить его пепел рядом с прахом Мецената, в дальнем конце Эсквилинского холма.

Единственный из ныне живущих людей, кого он по-настоящему любит,— это его дочь. И я опасаюсь за эту

его любовь; более того, она повергает меня в отчаяние, ибо его дочь с каждым месяцем все менее и менее заботится о своем высоком положении. Между тем муж ее вместо того, чтобы жить с ней, все время пребывает за границей, несмотря на то что является консулом на текущий год.

Я не думаю, что Рим может пережить смерть Октавия Цезаря, и не верю, что Октавий Цезарь может пережить смерть своей души.

VIII

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

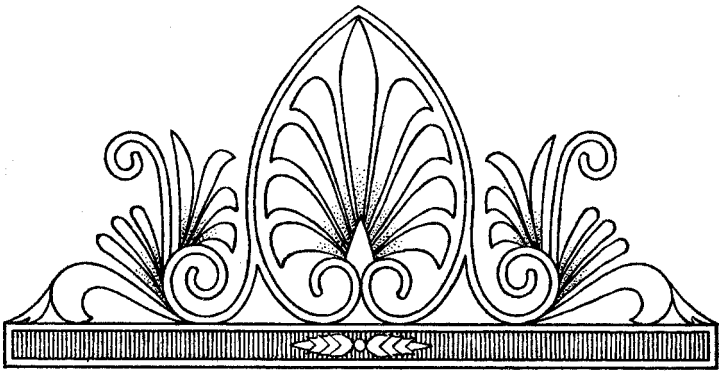
Тот образ жизни, который я вела тогда в Риме, можно назвать почти полной свободой. Тиберий оставался в Германии, практически не появляясь в Риме даже в год своего консульства, занятый созданием аванпостов для отражения набегов северных варваров. В тех редких случаях, когда он все-таки наезжал в столицу, он наносил мне ритуальный визит и тут же находил себе занятия на стороне.

На следующий год после окончания его консульства мой отец, исходя из собственных соображений, решил отозвать его с германской границы в Рим и приказал ему вернуться к исполнению его обязанностей в столице. Но Тиберий отказался ему повиноваться. Я, помнится, подумала, что то был единственный в его жизни достойный восхищения поступок; я почти зауважала его за такую смелость.

Он прислал моему отцу письмо, в котором сообщал, что отходит от государственных дел, и выражал желание удалиться на остров Родос, где его семейству при-

надлежат обширные земельные владения, чтобы посвятить остаток своей жизни уединенным занятиям литературой и философией. Мой отец изобразил гнев, но, как мне кажется, в глубине души остался доволен таким поворотом событий. Он решил, что Тиберий Клавдий Нерон выполнил свое предназначение.

Я часто задавала себе вопрос, как сложилась бы моя жизнь, если бы мой муж действительно поступил так, как говорил в письме моему отцу.



Глава 6

I

Письмо: Гней Кальпурний Пизон — Тиберию Клавдию Нерону на Родос (4 год до Р.Х.)

Мой дорогой Тиберий, друзья твои сожалеют, что тебя нет в Риме, который по-прежнему подобен стоячему болоту, чем, похоже, сам вполне доволен. Хотя в настоящий момент это, возможно, даже к лучшему. За прошедший год не произошло ничего, что могло бы в значительной мере повлиять на наше будущее, и, как мне представляется, в это неспокойное время на лучшее и надеяться нечего.

Царь Иудеи Ирод наконец умер, что, пожалуй, всем нам на руку. В последние несколько лет своей жизни он все больше и больше терял рассудок; мне известно, что император совсем перестал ему доверять и, возможно даже, подумывал о том, чтобы от него избавиться; и если бы дело дошло до войны, то это сплотило бы народ и императора, как ничто другое. Всего за несколько дней до смерти Ирод казнил одного из своих сыновей,

заподозрив его в измене, что дало императору повод для очередной остроты. «Я,— сказал он,— скорее бы согласился быть свиньей Ирода, чем его сыном». Как бы то ни было, на смену старому царю пришел его другой сын, который с открытым сердцем предложил свою дружбу Риму, и потому возможность военной кампании представляется теперь достаточно отдаленной.

Со смертью Ирода совпал, несколько предварив ее, отъезд из Рима этого противного маленького иудея Николая Дамаскина, к которому император всегда был так привязан. Сия новость может показаться мелочью, недостойной упоминания, но тем не менее его отъезд, по моему мнению, имеет некоторое касательство к нашему будущему, ибо огорчил императора сверх всякой разумной меры. Теперь у него не осталось никого из его старых и близких друзей, и с каждым месяцем он становится все более угрюмым и замкнутым, что не может не сказаться на его власти и влиянии, которые постепенно начинают ускользать из его рук.

А хватка его действительно, похоже, ослабевает, хотя и не в такой степени, чтобы дать повод для неоправданных надежд. Вот тебе типичный пример: в этом году он отклонил громкие требования сената принять тринадцатое консульство, сославшись на возраст и усталость. Когда стало совершенно ясно, что он не отступит от своего решения, сенат попросил его назвать имя своего преемника на этом посту. И кого, ты думаешь, он назвал — Гая Кальвисия Сабина! Тебе о чем-нибудь говорит это имя? Если нет, то позволю тебе напомнить, что он старый цезарианец — старше самого императора — и однажды, тридцать пять или около того лет назад, был консулом при триумвирате и принимал участие в морских битвах с Секстом Помпеем под командованием императора и Марка Агриппы. Другой — некто Луций Пассиен Руф (если ты можешь предста-

вить себе человека со столь непримечательным именем в роли консула), о котором ты мог слышать. Он один из новых людей, и я не имею ни малейшего понятия о том, насколько он предан императору, но, полагаю, он всегда будет на стороне власти, кто бы у нее ни стоял. Итак, консульство на этот год не обещает ничего, что могло бы в конечном итоге помешать твоему приходу к власти. Дряхлый старик да безымянный выскочка — вот и все!

Теперь менее приятная новость (хотя нам с самого начала было известно, что это когда-то должно произойти): император совершил ритуал посвящения над твоими пасынками Гаем и Луцием, несмотря на то что ни одному из них нет еще шестнадцати лет. Теперь они считаются гражданами Рима и могут носить тогу взрослых мужчин. Я не сомневаюсь, что, как только император наберется смелости, он поставит каждого из них во главе армии, пусть даже чисто номинально. К счастью, на большее в данный момент он не решится, и никто не знает, что принесет нам будущее. Он готов сделать все, чтобы его старинный друг Марк Агриппа по-прежнему продолжал играть важную роль в государственных делах, если не сам (ибо уже восемь лет, как умер), то через своих сыновей.

Все это, мой дорогой Тиберий, не должно нас с тобой особенно беспокоить, как мне кажется; мы более или менее ожидали нечто подобное, а то, чего мы не могли предвидеть, большого вреда нам не принесло.

Однако, боюсь, мои заключительные замечания, какими бы предварительными они ни были, дают некоторые основания для тревоги. Как ты, наверное, догадался, они касаются поведения в последнее время твоей супруги.

Скандалы, сопровождавшие ее повсюду, где бы она ни была, несколько поутихли, на что имеется ряд при-

чин: во-первых, Рим начал привыкать к ее эскападам; во-вторых, ее так часто превозносимые обаяние и заразительная веселость во многом способствовали изменению мнения о ней в лучшую сторону; в-третьих, ее популярность среди молодежи не только не идет на убыль, а, напротив, постоянно растет, и, наконец, последнее (и самое угрожающее развитие событий, причины которого я поясню чуть ниже): ее откровенное презрение к правилам приличия стало не столь заметным. На этом последнем замечании я и хочу остановиться подробнее.

Свойственная ей неразборчивость в выборе любовников, похоже, осталась в прошлом. Насколько мне известно, Семпроний Гракх больше ей не любовник, хотя они по-прежнему дружны; то же самое можно сказать и об Аппии Клавдии Пульхре и некоторых других, достойных упоминания. Все те недостойные игрушки, коими она забавлялась в прошлом (вроде этого Демосфена, который немногим лучше вольноотпущенника, хотя формально и является полноправным гражданином), ею оставлены; более того, она, как курьезно это ни покажется, стала серьезнее, при этом сохранив все свое остроумие, веселость нрава и светскую непринужденность, чтобы по-прежнему оставаться любимицей легкомысленной молодежи.

Впрочем, сие не означает, что она больше не нарушает супружескую верность — как бы не так. Но нынче ее любовником является человек гораздо более значительный, чем те отбросы общества, коих она прежде одаривала своим вниманием, и более опасный. Я имею в виду Юла Антония, жена которого (одно время бывшая близкой подругой Юлии) по счастливому совпадению вдруг зачастила за границу, чего раньше за ней не водилось.

Естественно, Юлия продолжает встречаться со своими друзьями, но теперь Юл всегда при ней, и беседы

их, как мне докладывают, носят гораздо менее фривольный характер, чем прежде,— хотя, в моих глазах, все же остаются достаточно непристойными, по крайней мере, если верить моим источникам, которые в этом отношении, как я полагаю, весьма достоверны. Предметом их разговоров обычно является философия, литература, политика, театр — ну и тому подобные вещи.

Честно признаться, я даже не знаю, что и думать,— как, впрочем, и все в Риме. Я не могу сказать, известно ли отцу об этом ее новом увлечении: если да, то он смотрит на это сквозь пальцы, если нет — то тогда он просто глупец, ибо пребывает в неведении о том, о чем знают все его сограждане. Мне трудно предугадать, как все повернется, будет ли это нам на пользу или во вред. Но в одном могу тебя заверить: я приложу все усилия для того, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, о чем регулярно буду тебя извещать. У меня имеется соглядатай в доме Юла Антония, и я намерен обзавестись еще одним — соблюдая при этом предельную осторожность, можешь не сомневаться. Заводить таковые в доме Юлии я не буду — это слишком опасно как для меня, так и для тебя, и нашего общего дела.

Я надеюсь, ты уничтожишь это письмо по прочтении; если нет, то во всяком случае, надежно спрячешь его, чтобы оно ни в коем случае не попало в чужие руки.

II

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

Мой старый друг и учитель Атенодор как-то сказал мне, что наши древние римские предки считали вредным для здоровья купаться чаще чем один или два раза в месяц и что их ежедневные омовения состояли

из ополаскивания в воде рук и ног, покрытых пылью после дневных трудов. Привычка к ежедневному принятию ванн, сказал он с некой иронической гордостью, повелась от греков, которые также раскрыли своим варварам-покорителям необъятные возможности, таящиеся в этом ритуале... И хотя я обнаружила для себя простую прелесть деревенской пищи, в этом смысле вернувшись к обычаям моих предков, я пока еще не сумела убедить себя перенять их недоверие к купанию. Я обмываюсь почти каждый день, несмотря на то, что нынче у меня нет слуг, чтобы умащивать меня душистыми маслами и благовониями, и в купальне моей лишь одна стена — высокая скала, нависающая над берегом этого мрачного острова, ставшего мне домом.

На второй год моего замужества с Марком Агриппой он построил в Риме на благо народа самые, по его словам, роскошные в истории города термы. До этого я нечасто бывала в общественных купальнях; мне кажется, что, когда я была еще девочкой, Ливия, воображавшая себя образцом старинных добродетелей, открыто выражала свое неодобрение удовольствиями, предлагаемыми в таких местах, и мне, должно быть, передалось это ее подозрительное отношение к ним. Но мой муж вычитал у одного греческого врача, что купание не следует рассматривать как роскошь, ибо на самом деле оно может способствовать предотвращению загадочных болезней, которые периодически обрушиваются на перенаселенные города. Он хотел убедить как можно больше простых людей воспользоваться этими гигиеническими мерами, для чего попросил меня время от времени жертвовать уединением своей личной купальни и бывать среди людей, дабы показать всем, что посещение общественных терм нынче в моде. Поначалу я ходила туда из чувства

долга, но, должна признаться, в дальнейшем делала это с удовольствием.

До того я никогда по-настоящему не знала простых людей. Естественно, я видела их в городе: они прислуживали мне в лавках, я говорила с ними, и они говорили со мной, но при этом они всегда помнили, что я дочь императора. И я знала (или по крайней мере думала, что знаю), что их жизнь разительно отличается от моей, как если бы они принадлежали совсем к другой породе живых существ. Но в термах, совершенно нагая, среди сотен громко разговаривающих, визжащих и смеющихся женщин дочь императора ничем не отличается от жены мясника. И дочь императора при всем своем тщеславии находила странное удовольствие в этой неотличимости. Так я стала знатоком и любителем терм и оставалась таковой всю свою жизнь. После смерти Марка Агриппы я обнаружила в Риме такие купальни, о существовании которых и вообразить не могла. Они предлагали утехи, кои я когда-то знала, но лишь во сне...

Вот и поныне я купаюсь почти каждый день, как если бы я была воином или селянином, обмывающимся в близлежащем ручье после трудового дня. Купальней мне служит море, где вместо белого мрамора бассейна — черный вулканический песок Пандатерии, тускло мерцающий в лучах полуденного солнца. При этой моей процедуре всегда присутствует стражник — я подозреваю, он приставлен следить за тем, чтобы я не утопилась,— который с отсутствующим видом стоит в стороне, безразлично наблюдая за тем, как я погружаюсь в воду. Он кастрат, и его присутствие меня ничуть не беспокоит.

В безветренные дни, когда море спокойно, вода в нем становится похожей на зеркало, в котором я могу любоваться на свое отражение. Мне так странно видеть

мои почти совсем седые волосы и морщины на лице. Я всегда тщетно боролась с сединой в волосах, которая появилась еще в ранней молодости. Я помню, как однажды ко мне вошел отец и, заметив служанку, занятую выдергиванием отдельных седых волосков из моей головы, спросил, обращаясь ко мне:

— Хочешь поскорее облысеть?

Я ответила, что нет.

— Тогда зачем ты позволяешь своей служанке ускорять этот процесс?

...Голова почти совсем седая, лицо в морщинах — однако тело, лежащее в мелкой воде, не имеет, казалось бы, никакого отношения к этому лицу: упругая кожа — такая же, как и двадцать лет назад, плоский живот, полные груди. В холодной морской воде соски стали твердыми, как под ласками мужчины; в такт набегающим на берег волнам полупогруженное тело мягко покачивается, как бывало когда-то в разгар любовных утех. Оно неплохо послужило мне за эти годы, мое тело, хотя и начало службу позже, чем могло бы. Позже, потому что ему внушили, что у него нет прав и что по природе вещей оно должно раболепно служить велениям разума, а не потакать собственным капризам. К тому времени, как я узнала, что у тела есть свои права, я успела дважды побывать замужем и родить троих детей...

И тем не менее мое первое настоящее знакомство со своим телом я вспоминаю как сон, в который в течение многих лет я не смела поверить. Это произошло в Илии, где мне поклонялись, словно богине. Даже теперь мне не верится, что то было не просто порождением моего ума; я помню, что поначалу мне все казалось забавной глупостью — варварской и прелестной глупостью.

Но скоро я убедилась, что это не так... Тому юноше, которого я выбрала для себя тогда в священной роще,—

ему ведь было не больше девятнадцати лет, и он никогда не знал женщины и был самым прекрасным юношей, какого мне когда-либо приходилось видеть. Стоит мне на мгновение закрыть глаза, как словно наяву я вижу его лицо и почти реально ощущаю упругую податливость его тела. Когда я увела его с собой в пещеру, я не собиралась точно придерживаться предписанного ритуала, да и зачем — я была богиней-матерью, и власть моя была бесконечна. Но я выполнила ритуал и обнаружила для себя власть моего тела и его желаний — то, чего, как мне с детства внушали, на свете не существует... Такой милый мальчик... Интересно, что с ним сталось после того, как он имел соитие с богиней и делил с ней ложе.

Мне кажется, я жила как бы во сне вплоть до самой смерти Марка Агриппы; я не могла поверить в то, что открылось мне в Илии, но знание об этом открытии подспудно продолжало жить во мне. Я не изменила Марку Агриппе — богиня, предававшаяся любви в священной роще, была ему верной женой; но я определенно изменила Тиберию Клавдию Нерону.

Только после смерти этого достойного человека, Марка Агриппы, Юлия, дочь Октавия Цезаря Августа, обнаружила в себе страсть, что до того была глубоко спрятана, и блаженство, которое эта страсть могла ей принести. И таковое блаженство дало ей власть, которая, как ей казалось, превосходила и величие ее имени, и могущество ее отца. Она стала самой собой.

Да, оно верно служило мне, это тело, размытые очертания которого я вижу в прозрачной воде, свободно раскинувшись в своей морской ванне. Оно служило мне, и только мне, хотя на первый взгляд обслуживало других. Руки, что блуждали по этим бедрам, делали это для меня, и любовник, которому я приносила наслаждение, на деле был жертвой моей собственной страсти.

Иногда во время моих морских купаний я думаю о тех, кто дарил этому телу радость,— о Семпронии Гракхе, Аппии Пульхре, Корнелии Сципионе — всех теперь и не упомню. Я думаю о них, и все их тела и лица сливаются в одно тело и одно лицо. Вот уже шесть лет, как до меня не дотрагивался ни один мужчина, шесть лет с тех пор, как мои руки и губы последний раз ласкали мужскую плоть. Нынче мне сорок четыре; четыре года назад я вступила в преклонный возраст. И все же при мысли об этой плоти мое сердце начинает биться быстрее, и я почти ощущаю себя снова живой, хотя и знаю, что это не так.

Сначала я была тайной богиней наслаждений; затем я стала их жрицей, а мои любовники — их адептами. Мне кажется, я хорошо служила нам.

И наконец, я думаю о том, кто стал для меня источником несравненного блаженства, о том, кому все прочие были предтечами. Я знаю вкус и тяжесть его тела лучше, чем что бы то ни было другое в своей жизни. Просто не верится, что с тех пор прошло уже шесть лет. Я думаю о Юле. Море неспешно вздымается, заставляя волны мягко перекатываться через мое тело. Если я не сдвинусь с места, то мне будет разрешено думать о нем. Я думаю о Юле Антонии.

III

Письмо: Гней Кальпурний Пизон — Тиберию Клавдию Нерону на Родос
(3 год до Р.Х.)

Сразу признаюсь тебе, мой друг,— я полон плохих предчувствий, но затрудняюсь точно определить, насколько они оправданны. Позволь мне привести тебе несколько примеров, чтобы ты сам мог рассудить, прав я или нет.

Твоя жена, насколько я могу судить, вот уже целый год остается верна одному и тому же человеку. Это, как ты знаешь, Юл Антоний. Их постоянно видят вместе; более того, об их связи так широко известно, что никто из них уже больше не пытается ее скрывать. Юлия даже принимает гостей в его доме и распоряжается его слугами, как своими. Ее отец не может не знать об их связи, но как ни в чем не бывало остается дружен как с дочерью, так и с Юлом Антонием. Более того, ходят слухи, что Юлия собирается развестись с тобой и выйти замуж за Юла. Однако, по моему мнению, этим слухам верить не стоит — Октавий Цезарь ни за что этого не допустит. Такого рода официальный союз просто-напросто нарушит деликатный баланс сил, который он поддерживает, и ему это хорошо известно. Я упомянул данные слухи лишь для того, чтобы наглядно показать, как далеко зашли их отношения.

Несмотря на скандальную связь с дочерью императора, а возможно, и благодаря ей,— кто их разберет, этих людей,— популярность Юла Антония продолжает расти. В настоящий момент он, как я полагаю, является вторым или третьим из наиболее могущественных людей в Риме; у него полно сторонников в сенате, но, должен признать, при всем при том держится он весьма осторожно. И все равно я ему не доверяю. Он не предпринимает никаких попыток добиться расположения сенаторов, имеющих влияние среди военных, постоянно всем улыбается и даже пытается умиротворить своих врагов. И тем не менее я подозреваю, что, как и его отец, он не лишен честолюбия, однако, в отличие от него, умеет лучше прятать его от мира.

Твоя же популярность среди народа, увы, падает — частично из-за твоего вынужденного отсутствия, но отнюдь не только поэтому. О тебе ходит немало клеветнических стишков и эпиграмм, что само по себе

вовсе не удивительно,— любая мало-мальски заметная фигура неизбежно оказывается мишенью бездарных поэтов и продажных писак. Но вот что странно: количество пасквилей намного превосходит то, что мне когда-либо приходилось наблюдать, а сами сочинения носят особенно злобный характер. Складывается впечатление, что тебя намеренно хотят очернить. Естественно, так легко дискредитировать тебя не удастся, как не удастся с помощью злобных памфлетов превратить твоих друзей во врагов, но за этим явно что-то стоит.

Как ни печально, император не изменил своего отношения к тебе, несмотря на уговоры твоей матери и друзей. Так что в этом отношении новости неутешительные.

Однако, несмотря на все это, я настоятельно советую тебе оставаться на Родосе. А пасквилянты тем временем пусть себе изощряются в написании непристойных стишков — до тех пор, пока ты находишься за границей, можешь позволить себе роскошь ничего не предпринимать. Память человеческая коротка.

Юл Антоний собрал вокруг себя группу поэтов — конечно, далеко не столь выдающихся, как покойные друзья императора; однако я подозреваю, что часть из упомянутых виршей и эпиграмм (естественно, анонимных) вышла из-под их пера. Некоторые из них заняты написанием поэм, восхваляющих самого Юла, который всем дает понять, что его бабка по материнской линии принадлежит к роду Юлиев. Этот человек честолюбив — тут не может быть другого мнения.

Не забывай, что у тебя осталось немало друзей в Риме и твое отсутствие вовсе не означает, что мы совсем тебя позабыли. Безусловно, это ожидание действует тебе на нервы, но постарайся сохранить терпение. Я по-прежнему буду держать тебя в курсе событий в городе, которые имеют касательство к нашему будущему.

IV

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

До того как Юл Антоний и я стали любовниками, он часто рассказывал мне о раннем детстве и о своем отце Марке Антонии. Юл никогда не был любимцем отца — эта честь выпала его старшему брату Антиллу, отец же всегда оставался для него почти совсем чужим. Мальчиком Юл рос под надзором моей тетки Октавии, которая, будучи всего лишь его мачехой, была ему ближе, чем родная мать — Фульвия. Часто, когда мы сидели все втроем — я, Юл Антоний и Марцелла — и тихо беседовали, мне думалось: как удивительно — когда-то, еще совсем детьми, мы вместе играли в доме тетки Октавии. Ни тогда, ни сейчас я не могу с точностью воспроизвести все детали; когда же мы пытались говорить о нашем общем детстве, стараясь выудить из памяти воспоминания о нем, то это больше походило на процесс создания пьесы, когда автор из головы выдумывает персонажей и сцены, в которых они действуют, основываясь на условностях и неизбежностях какого-то события в прошлом.

Мне вспоминается один поздний вечер, когда мы остались втроем после того, как все остальные немногочисленные гости разошлись по домам. По случаю теплой погоды мы покинули столовую и расположились во дворе. Сквозь прозрачный воздух на землю лился неяркий свет звезд; всех слуг распустили; в наступившей тишине музыкой нам служили загадочные шорохи и стрекотание бесчисленных насекомых, скрывающихся в ночной темноте. Мы вели тихий беспредметный разговор о случайностях, выпадающих на нашу долю.

— Мне часто не дает покоя такая мысль,— сказал Юл,— что сталось бы с нашей страной, если бы мой

отец не был столь импульсивным и сумел бы одержать победу в борьбе с Октавием Цезарем.

— Не забывай, Октавий — мой отец,— заявила я.

— Да-да, и мой друг,— добавил Юл.

— Есть и такие, кто предпочел бы именно такой исход событий,— заметила я.

Юл повернулся ко мне, мягко улыбнувшись. В свете звезд я видела его крупную голову с тонкими чертами лица. Он совсем не походил на бюсты своего отца, которые мне приходилось видеть.

— Они ошибаются,— проговорил он.— У Марка Антония была врожденная слабость слишком полагаться на авторитет собственной личности. Он неминуемо совершал бы ошибки и рано или поздно все равно бы пал. Он не обладал той целеустремленностью, какая присуща императору.

— Сдается мне, ты восхищаешься моим отцом,— сказала я.

— Больше, чем Марком Антонием.

— Даже несмотря на...— начала я и остановилась.

Он снова улыбнулся и сказал:

— Да. Даже несмотря на то, что Октавий предал смерти моего отца и старшего брата... Антилл был точной копией Марка Антония. Я полагаю, Октавий видел это и сделал то, что было необходимо в данных обстоятельствах. Впрочем, я никогда особенно не любил Антилла.

Помнится, у меня после этих его слов по спине пробежал холодок, хотя вечер был очень теплый.

— Будь ты несколькими годами старше...— произнесла я неуверенно.

— Вполне возможно, что и мне грозила бы такая же судьба,— тихо сказал Юл.— Без этого было бы не обойтись.

Тут Марцелла капризно и несколько сонно произнесла:

— Давайте не будем говорить о неприятных вещах.

— А мы о них вовсе и не говорим, дорогая моя супруга,— ответил Юл, повернувшись к ней.— Мы просто беседуем о жизни и о том, что в ней случается.

Через две недели мы стали любовниками.

Однако произошло это совсем не так, как я ожидала. В тот вечер я решила, что мы будем любовниками, но не могла и предположить, что моя победа над Юлом Антонием способна принести мне то, чего я не знала бы раньше. И хотя я хорошо относилась к его жене, которая к тому же была моей двоюродной сестрой, я находила ее такой же пустой и утомительной, как и большинство других женщин; Юл же представлялся мне обычным мужчиной — столь же жадным до власти над женщиной, сколь и охочим до любовных утех.

Тому, кто плохо знаком с любовной игрой, приемы, используемые при обольщении, могут показаться смешными и нелепыми, но они не более смешны или нелепы, чем движения в танце. Танцор получает удовольствие от своего искусства; то же и в любовной игре: все следует заведенному порядку — от первого обмена взглядом до заключительного акта соития. Взаимообман партнеров — неотъемлемая часть ее: оба прикидываются бессильными обуздать свою страсть, и каждый шаг вперед или назад, согласие или отказ — все это необходимые элементы этой искусной игры, из которой женщина всегда выходит победителем. Мне кажется, она даже отчасти презирает своего соперника, ибо он повержен и превращен в игрушку в ее руках, в то время как сам считает себя победителем и потому хозяином положения. Порой, когда мне бывало особенно скучно, я забывала о тонкостях интриги и без всяких околич-

ностей шла к намеченной цели, словно закаленный в боях воин, идущий в атаку на простого деревенского жителя; при этом всякий раз мужчина, каким бы умудренным он ни был и как бы ни пытался скрыть свои чувства, бывал до глубины души потрясен моим напором. Конец, правда, всегда был один и тот же, однако для меня победа никогда не являлась полной, ибо для него я уже не была загадкой и посему не имела над ним власти.

Итак, я разработала план совращения Юла Антония с таким же тщанием, с каким центурион планирует наступление на фланг противника, но с одним исключением: в моем случае ритуал требует, чтобы противник всегда желал быть побежденным. При наших встречах я бросала на него томные взгляды, тут же поспешно отворачиваясь; как бы ненароком легко касалась его, чтобы немедленно отпрянуть, будто в смущении; наконец однажды вечером я сумела сделать так, что мы остались вдвоем в моем доме.

Я сидела, небрежно расположившись на ложе; помнится, я сказала что-то такое, что должно было вызвать у него сочувствие, и позволила моей тунике как бы случайно задраться и несколько оголить мои ноги. Юл Антоний пересек комнату и присел рядом. Я притворилась смущенной и часто задышала, в любой момент ожидая прикосновения, после чего была готова разразиться небольшой речью о своей любви к Марцелле.

— Дорогая Юлия,— сказал Юл,— какой бы привлекательной ты мне ни казалась, я должен тебя сразу предупредить, что не собираюсь становиться очередным жеребцом в твоей конюшне.

Насколько я помню, его слова так поразили меня, что я тут же выпрямилась на своем ложе. Да-да, они, без сомнения, потрясли меня до глубины души, ибо я

пролепетала самые банальные слова, какие только можно себе представить:

— Что ты имеешь в виду?

Юл улыбнулся:

— Семпроний Гракх, Квинктий Криспин, Аппий Пульхр, Корнелий Сципион — все твое стойло.

— Все они мои друзья,— сказала я.

— И мои союзники,— добавил Юл,— время от времени оказывающие мне услуги. Но я не хочу участвовать в забеге с этими жеребцами. Они тебя не стоят.

— В этом ты схож с моим отцом — он тоже этого не одобряет.

— Неужели ты настолько ненавидишь своего отца, что ни за что не желаешь прислушаться к его совету? — спросил он.

— Нет,— ответила я,— я вовсе не ненавижу отца.

Юл смерил меня пытливым взглядом своих темных, почти черных глаз; в отличие от него, у отца они бледно-голубые, но у обоих — и у отца, и у Юла — в них живет такая сила и страсть, как будто в глубине их пылает неугасимое пламя.

— Если нам суждено стать любовниками, то это произойдет тогда, когда я того пожелаю, и на условиях, более благоприятных для нас обоих,— сказал Юл.

Затем он дотронулся губами до моей щеки, неспешно поднялся и покинул мою комнату.

После этого я еще долго сидела, не в силах двинуться с места.

Я уже не припомню, какие чувства обуревали меня тогда,— до этого мне никогда не приходилось сталкиваться с таким откровенным отказом,— должно быть, гнев, но, пусть даже и отчасти, облегчение и благодарность. Я думаю, к тому времени мне наскучили мои любовные похождения.

В течение нескольких последующих дней я не виделась ни с кем из своих друзей; я упорно отклоняла все их приглашения, а однажды, когда Семпроний Гракх неожиданно объявился у моего порога, выслала к нему свою служанку Фебу, которой наказала сообщить ему, что я больна и никого не принимаю. С Юлом Антонием я тоже не встречалась — от стыда или обиды, не знаю.

Я не виделась с ним почти две недели. И вот как-то в конце дня, неспешно приняв ванну, я приказала Фебе принести мои притирания, а заодно и чистую одежду. Она не отзывалась. Тогда я обернула вокруг себя большое полотенце и вышла во внутренний дворик. Там никого не было. Я снова кликнула Фебу. Обождав немного, я через двор прошла в свою спальню.

В ней стоял Юл Антоний — в белоснежной тунике, ярко освещенной лучами заходящего солнца, косо падавшими на него через узкое окно, так что лицо его оставалось в тени. Несколько мгновений мы оба не шевелились, словно окаменев. Затем, прикрыв за собой дверь, я сделала робкий шаг вперед. Юл по-прежнему хранил молчание.

Затем очень медленно он приблизился ко мне и, взяв в руки конец полотенца, в которое я была завернута, стал не спеша разматывать его. Потом он осторожными движениями насухо растер меня им, как будто был рабом, прислуживающим при купании. Я все так же неподвижно стояла, не произнося ни слова.

Он сделал несколько шагов назад и стал разглядывать меня, как если бы я была статуей. Я вся дрожала. Затем он снова подошел ко мне и прикоснулся руками к моему телу.

До этого дня я по-настоящему не знала радости любви, хотя сама так и не думала. В последующие месяцы

эта радость росла и умножалась, и я познала плоть Юла Антония, как ничто другое в своей жизни.

Даже сейчас, после стольких лет, я чувствую на своих губах горькую сладость его тела и ощущаю рядом с собой его упругое тепло. Как все-таки странно — я ведь хорошо знаю, что плоть Юла Антония обратилась в дым, который растаял в воздухе, не оставив следа. Его прекрасного тела больше нет, а мое по-прежнему живет. Так странно об этом знать...

С того дня ни один другой мужчина не притронулся ко мне, и ни один не притронется до тех пор, пока я живу.

V

Письмо: Павел Фабий Максим — Октавию Цезарю (2 год до Р.Х.)

Мне трудно определить, в какой ипостаси я пишу тебе это письмо: то ли как римский консул, который одновременно является твоим другом, то ли как друг, которому случилось быть консулом. Но промолчать я не имею права, и, хотя мы и видимся чуть ли не каждый день, я не могу заставить себя заговорить с тобой об этом деле, как не умею и изложить его в одном из официальных докладов, которые я регулярно тебе представляю.

Ибо то, что я вынужден раскрыть, затрагивает тебя и как государственное, и как частное лицо, коих в данном случае невозможно отделить друг от друга.

Поначалу, когда ты поручил мне выяснить, что стоит за слухами, которые ты счел слишком упорными, чтобы продолжать не обращать на них внимания, я решил, что ты перегнул палку; слухи давно стали неотъемлемой частью римской жизни, и если пытаться расследовать

каждый из них, то совершенно не останется времени ни на что другое.

Как ты знаешь, я взялся за это дело с большой долей скептицизма, но нынче я вынужден с грустью признать, что твои предчувствия тебя не обманули, а мой скептицизм, с другой стороны, оказался неоправдан. Мои сведения еще более тревожные, чем ты первоначально подозревал или даже мог предположить.

Речь идет о заговоре, и при этом очень серьезном, уже успевшем зайти достаточно далеко.

Я поделюсь добытыми мною сведениями, стараясь оставаться как можно более объективным, но ты должен понять, что все чувства восстают во мне против бесстрастной холодности моих слов.

Семь-восемь лет назад — в год его консульства — я отдал в услужение Юлу Антонию в качестве библиотекаря своего раба, которому незадолго до того дал свободу,— некоего Алексаса Афинского. Алексас всегда был разумным человеком, каковым является и по сю пору; на протяжении многих лет он неизменно оставался мне верен, и я на полном основании считаю его своим другом. Узнав о проводимом мной расследовании, он пришел ко мне в чрезвычайно расстроенных чувствах, принеся с собой некоторые записи, которые изъял из тайной картотеки Юла Антония, содержащие чрезвычайно тревожные разоблачения.

Без сомнения, существует заговор с целью убийства Тиберия. Заговорщики уже заручились поддержкой некоторых фракций из окружения Тиберия на Родосе. С ним предполагается расправиться в той же манере, в какой Брут, Кассий и другие расправились с Юлием Цезарем, представив это убийство как подлинное восстание против власти Рима. Под предлогом грозящей государству опасности планируется собрать армию под началом бывшего консула, а ныне сенатора Квинктия

Криспина якобы для защиты Рима, а на самом деле для захвата власти данной фракцией заговорщиков. Если ты попытаешься воспрепятствовать созданию этой армии, то выставишь себя либо трусом, либо безразличным к судьбе своей страны; если же нет, то поставишь под удар свое положение и личную безопасность, не говоря уже о мирном будущем Рима.

Ибо имеются веские доказательства, что одновременно с осуществлением плана по устранению Тиберия будет предпринято прямое покушение на твою жизнь.

В состав заговорщиков входят: Семпроний Гракх, Квинктий Криспин, Аппий Пульхр, Корнелий Сципион и Юл Антоний. Я знаю — это последнее имя особой болью отзовется в твоем сердце; я считал Юла своим другом и полагал, что и тебе он друг. Но, как оказалось, я ошибался.

Однако это еще не все.

Алексас Афинский также уведомил меня, что тайно от Юла Антония в его дом был внедрен раб, являющийся на деле соглядатаем Тиберия. Этот раб посвящен во все детали заговора; именно его мимоходом оброненные слова стали причиной возникших у Алексаса подозрений. Упомянутый соглядатай докладывает обо всем непосредственно Тиберию, из чего я могу заключить, что у того тоже есть план.

По всей видимости, ему так же хорошо известно о заговоре, как и мне, и он намерен использовать это знание в своих целях. Он собирается разоблачить заговор в сенате через своего представителя в нем, бывшего соконсула Гнея Кальпурния Пизона, который потребует привлечения виновных к суду за государственную измену; сенату ничего не останется делать, как только согласиться; затем Тиберий соберет армию на Родосе и вернется в Рим якобы для защиты тебя и

республики. В глазах народа он будет героем, а ты — глупцом; в результате твое влияние умалится, а его, напротив, возрастет.

И еще одно — самое тягостное из всех — известие, которое я обязан тебе сообщить.

Я не сомневаюсь, что в течение нескольких последних лет, с тех пор как Тиберий Клавдий Нерон оставил Рим, ты не мог не замечать предосудительного поведения своей дочери. Нет также сомнения, что из чувства сострадания к ее непростым обстоятельствам и личной привязанности к ней ты предпочитал смотреть в другую сторону — как и большинство твоих друзей и даже некоторые из врагов. Однако, как явствует из имеющихся у меня на руках документов, Юлия состояла в связи с каждым из заговорщиков, а в последний год ее любовником неизменно оставался Юл Антоний.

Если эти сведения станут достоянием общественности, Юлия почти наверняка будет представлена как участница заговора; к тому же у Тиберия могут иметься улики еще более сокрушительной силы, чем мы можем себе представить.

В случае публичного разоблачения заговора она неизбежно окажется замешанной, причем ее причастность к нему будет выглядеть столь неоспоримой, что ей в той же степени грозит обвинение в государственной измене, что и всем остальным заговорщикам. Ни для кого не секрет, что она ненавидит Тиберия и, как всем известно, любит Юла Антония.

Записи, на которые я ссылаюсь, хранятся у меня в надежном месте. Ни один человек, кроме меня и Алексаса Афинского (и самих заговорщиков, конечно), их не видел и не увидит. Они всецело в твоем распоряжении — можешь поступать с ними как пожелаешь.

Сам Алексас Афинский вынужден скрываться из опасения за свою жизнь, так как пропажа из дома Юла Антония столь важных свитков не может остаться незамеченной. Алексас — замечательный человек, и я ему целиком и полностью доверяю. Он заверил меня, что, несмотря на всю свою преданность Юлу Антонию, Рим и император для него важнее. В случае необходимости он готов дать показания. Но позволь попросить тебя об одной личной услуге: если для подтверждения этих показаний потребуется подвергнуть его пытке, пусть она будет ритуальной, а не настоящей. Я безоговорочно верю этому человеку, который и так потерял почти все, что имел, в результате своих разоблачений.

Мой дорогой друг, по правде говоря, я бы скорее предпочел расстаться с собственной жизнью, чем быть носителем столь печальных вестей. Но мне отказано в этой роскоши, ибо в первую очередь я должен позаботиться о безопасности личности императора и Рима, а только потом уже думать о кажущемся утешении собственной смерти.

Я ожидаю твоих приказаний, каковыми они бы ни были.

VI

Дневник Юлии, Пандатерия
(4 год после Р.Х.)

На Пандатерию пришла осень. Скоро свирепые северные ветра обрушатся на его голые скалы, громко свища и завывая среди камней, из коих сложен и мой домик, который будет содрогаться под их могучими порывами, а негостеприимное зимнее море станет яростно биться о пустынный берег... Здесь ничто не меняется, кроме времен года. Моя мать по-прежнему бранит и наставляет служанку, не зная устали, хотя в

последний месяц или около того она, как мне кажется, несколько подрастеряла свой пыл. Неужели и она умрет на этом острове? Если да, то это будет ее собственный выбор — в отличие от нее, у меня его нет.

Я уже почти два месяца не делала никаких записей в моем дневнике, решив, что мне больше нечего себе сказать. Но сегодня я получила письмо из Рима, в котором нашла новости, пробудившие во мне воспоминания о тех днях, когда я еще была живой. И вот я снова говорю с ветром, который тут же подхватывает и уносит мои слова прочь в бессмысленном порыве ярости.

Когда я писала о Юле Антонии, мне пришла в голову мысль, что на этом хорошо было бы и закончить мой дневник, который и без того уже растянулся до бесконечности. Ибо если Юл Антоний вдохнул в меня жизнь, то он же и навлек на меня медленную смерть на Пандатерии, где мне предстоит наблюдать собственное увядание. Интересно, мог ли он сам предвидеть, что с нами случится? Впрочем, это неважно — я все равно не способна на ненависть к нему.

Даже тогда, когда я поняла, что он погубил нас обоих, я не смогла возненавидеть его.

Осталось лишь одно, о чем я должна рассказать.

В консульство Октавия Цезаря Августа и Марка Плавтия Сильвана я, Юлия, дочь императора, перед лицом сената в Риме была обвинена в супружеской неверности и, таким образом, в нарушении законов о браке и прелюбодеянии, принятых сенатом согласно эдикту моего отца пятнадцать лет назад. Моим обвинителем был мой собственный отец. Он подробно рассказал обо всех моих преступлениях, назвал имена любовников, места тайных свиданий и даты. В целом все было верно, хотя несколько не особо важных имен он опустил, назвав Семпрония Гракха, Квинктия Криспи-

на, Аппия Пульхра, Корнелия Сципиона и Юла Антония. Он описал пьяный кутеж на форуме и постыдное шутовство на той самой трибуне, с которой он впервые объявил о введении этих законов; поведал о моих частых визитах в дома терпимости, давая понять, что в своем извращенном сладострастии я дошла до того, что продавалась любому, кто мог меня возжелать; описал мои посещения сомнительного свойства купален, в которые одновременно допускались и мужчины и женщины и где поощрялась всякого рода распущенность. Эти его сведения страдали преувеличением, но все же в них оставалось достаточно правды, чтобы они выглядели убедительно. В заключение он потребовал, чтобы, согласно юлианским законам, меня навечно изнали из пределов Рима, и попросил сенат отправить меня в ссылку на остров Пандатерия, где мне суждено было провести остаток моих дней в размышлении о своих пороках.

Если история и запомнит меня, то запомнит именно такой.

Но история не будет знать правды, если она вообще на это способна.

Отец знал о моих похождениях. Они причиняли ему боль, но он понимал, чем они вызваны, и никогда особенно не укорял меня ими. Ему было известно о моей любви к Юлу Антонию, и, как мне кажется, он был почти счастлив за меня.

В консульство Гая Октавия Цезаря и Марка Плавтия Сильвана я была осуждена на ссылку, чтобы не быть казненной по обвинению в измене против римского государства.

На Пандатерии осень — как когда-то, шесть лет назад в Риме, когда кончилась моя жизнь. Я не имела никаких вестей от Юла Антония в течение трех дней: записки, которые я посылала ему домой, пришли об-

ратно нераспечатанными; слугам, отряженным мной, отказали в приеме, и им пришлось в недоумении вернуться домой. Я пыталась вообразить то, что обычно приходит на ум всем влюбленным, но ничего не получалось. Я знала: что-то не так, что-то гораздо более серьезное, чем рискованные игры ревнивого любовника.

Но клянусь богами, я понятия не имела, в чем дело. Я ничего не подозревала или, возможно, не хотела подозревать. Я ни о чем не догадывалась и тогда, когда на третий день молчания у моих дверей появился гонец с четырьмя стражниками, чтобы препроводить меня к моему отцу. Я даже не поняла значения стражи, решив, что это положенная по обычаю охрана.

Мои носилки проследовали через форум, потом по Священной улице мимо императорского дворца и затем вверх по небольшому холму к дому моего отца на Палатине, который был почти совершенно безлюден. Когда я в сопровождении стражников прошла через двор к кабинету отца, несколько слуг, встретившихся нам по дороге, поспешно отвернулись от меня, как будто чем-то напуганные. Лишь тогда я, как мне кажется, начала осознавать всю серьезность моего положения.

Когда меня ввели в кабинет, мой отец стоял в дверях, как если бы ожидал меня. Он жестом отпустил стражников и затем долго всматривался в меня, прежде чем заговорить.

По какой-то необъяснимой причине я в то же самое время внимательно разглядывала его — в конце концов, я, наверное, все поняла. Лицо его выглядело старым, с морщинками, собравшимися вокруг светло-голубых глаз. Однако в сумраке темной комнаты это было лицо моего отца, каким я помнила его с детства. Наконец я сказала:

— Что за причуды? Зачем ты послал за мной?

Он приблизился ко мне и нежно поцеловал в щеку.

— Помни,— сказал он,— ты моя дочь, и я любил тебя.

Я ничего не ответила.

Отец подошел к небольшому столу, стоящему в углу, и, повернувшись ко мне спиной, застыл на мгновение, опершись на него. Затем он выпрямился и, не оборачиваясь, спросил:

— Ты знакома с неким Семпронием Гракхом?

— Ты прекрасно знаешь, что знакома,— ответила я.— И ты тоже.

— Ты была с ним близка?

— Отец...

Он повернулся ко мне — на лице его была написана такая мука, что больно было смотреть.

— Ты должна мне ответить,— сказал он.— Пожалуйста, прошу тебя.

— Да,— сказала я.

— И с Аппием Пульхром?

— Да.

— И с Квинктием Криспином и Корнелием Сципионом?

— Да,— снова ответила я.

— И с Юлом Антонием.

— И с Юлом Антонием тоже,— сказала я.— Все остальные не в счет — то было так, глупость. Но Юла Антония я люблю, и ты об этом знаешь.

Отец вздохнул.

— Дитя мое,— сказал он,— речь идет вовсе не о любви.

Он снова отвернулся и взял несколько свитков, лежавших на столе. Затем он передал их мне. Я стала читать. Руки мои дрожали. Я не видела этих бумаг раньше — среди них были письма, столбцы цифр и какие-то списки имен, среди которых я заметила зна-

комые: мое собственное, Тиберия, Юла Антония, Семпрония, Корнелия, Аппия. Только тогда я поняла, по какой причине отец вызвал меня к себе.

— Если бы ты потрудилась более внимательно прочитать эти свитки,— сказал он,— ты бы заметила, что в них идет речь о заговоре против государственной власти, и первым шагом его должно быть убийство твоего мужа Тиберия Клавдия Нерона.

Я промолчала.

— Ты знала об этом заговоре?

— Какой заговор? Не было никакого заговора,— ответила я.

— Говорила ли ты с кем-нибудь из этих твоих... твоих друзей о Тиберии?

— Нет. Может быть, лишь походя. Ни для кого не секрет, что...

— Ты его терпеть не можешь?

— Я его терпеть не могу,— помедлив, сказала я.

— Говорила ли ты что-нибудь касающееся его смерти?

— Нет, вернее, совсем не так, как ты думаешь. Возможно, я упомянула об этом в разговоре с...

— Юлом Антонием? — спросил отец.— Что ты говорила Юлу Антонию?

Голос мой дрожал. Напрягши каждый мускул в своем теле, я произнесла как можно отчетливее:

— Юл Антоний и я хотели пожениться. Мы говорили о супружестве. Вполне возможно, что в разговоре я упомянула о том, что хотела бы видеть Тиберия мертвым. Ты ведь не дал бы согласия на развод.

— Нет,— подтвердил он с грустью,— не дал бы.

— Вот и все. Больше я ничего не говорила.

— Ты дочь императора,— начал было отец и остановился.— Присядь, дитя мое,— предложил он, указывая на сиденье рядом со столом.— Это заговор,— сказал

он.— И в том нет никаких сомнений. К нему причастны твои друзья, которых я назвал, и некоторые другие. Ты тоже замешана в нем. Я не знаю ни степени, ни сущности твоей вины, но сам факт соучастия налицо.

— Юл Антоний, где Юл Антоний? — спросила я.

— Это обождет,— ответил он.— Известно ли тебе, что вслед за убийством Тиберия предполагалось и покушение на мою жизнь?

— Нет, не может быть! — воскликнула я.

— Это правда,— сказал отец.— Надеюсь, они не стали бы ставить тебя в известность, представив мою смерть как несчастный случай, болезнь или что-нибудь в этом роде. Но это определенно входило в их планы.

— Я не знала,— проговорила я.— Поверь мне, я ничего не знала.

— Надеюсь, это так. Ты ведь моя дочь,— сказал он, тронув меня за руку.

— Юл...

Он жестом остановил меня:

— Подожди... Если бы только я один знал об этом, то все было бы просто: я бы сохранил сведения в тайне и принял бы собственные меры. Но это известно не мне одному. Твой муж...— Он произнес это слово так, как будто оно было непристойностью.— Твой муж знает столько же, сколько и я, а возможно, и больше. У него имелся соглядатай в доме Юла Антония, который осведомлял его обо всем, что там происходит. План Тиберия — разоблачить заговор в сенате и через своих представителей в нем настоять на судебном процессе по делу о государственной измене. Кроме того, он собирается собрать армию и вернуться с ней в Рим для защиты от врагов государственной власти и меня лично. А тебе должно быть хорошо известно, что это значит.

— Это значит, что тебе угрожает опасность потерять свое влияние,— ответила я.— Это значит — снова гражданская война.

— Да. И более того: это неизбежно означает твою смерть. Я в этом почти не сомневаюсь. И я не уверен, что даже у меня хватило бы власти предотвратить такой исход. Решение останется за сенатом, и я не могу вмешиваться.

— Тогда я пропала.

— Пропала, но не погибла,— сказал отец.— Мысль о том, что я позволил тебе умереть до срока, для меня невыносима. Тебя не будут судить за измену. Я подготовил письмо, которое собираюсь зачитать сенату. Ты будешь осуждена в соответствии с моим законом о прелюбодеянии и выслана из Рима и его провинций. Это единственный выход и единственный путь спасти и тебя и Рим.

Он улыбнулся уголками губ, но я заметила, что его глаза полны слез.

— Помнишь, я когда-то называл тебя «мой маленький Рим»?

— Помню,— ответила я.

— И вот теперь, похоже, выясняется, что я был прав,— ваши судьбы оказались неотделимы одна от другой.

— Юл Антоний, что стало с Юлом Антонием? — потеряв терпение, спросила я.

Он снова тронул меня за руку.

— Дитя мое,— мягко сказал он,— Юла Антония нет в живых. Сегодня утром он покончил с собой, когда доподлинно узнал, что заговор раскрыт.

Я застыла, не в силах произнести ни слова. Наконец, обретя дар речи, я растерянно забормотала:

— Я надеялась... Я надеялась...

— Я больше никогда тебя не увижу,— сказал отец.— Никогда.

— Это уже не имеет значения,— сказала я.

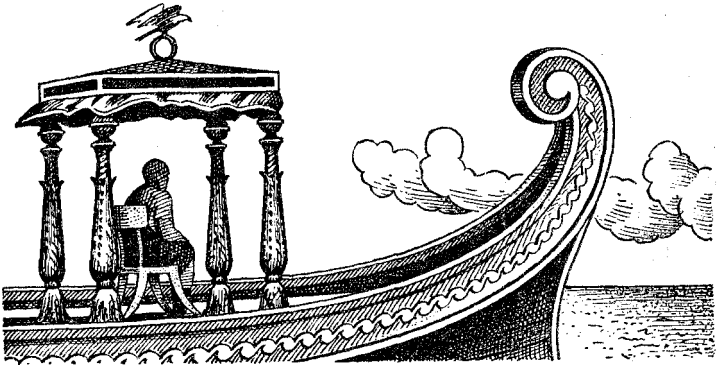
Он еще раз внимательно посмотрел на меня. На глаза его набежали слезы, и он отвернулся. Через некоторое время в комнату вошли стражники и увели меня с собой.

С тех пор я не виделась со своим отцом. Насколько мне известно, он отказывается даже упоминать мое имя.

Среди новостей, которые я получила из Рима сегодня утром, была и та, что после многих долгих лет отсутствия Тиберий вернулся с Родоса в Рим. Мой отец сделал его своим приемным сыном. Если он не умрет раньше времени, то унаследует власть моего отца и станет императором.

Тиберий победил.

Больше мне не о чем писать.



Книга третья

Письмо: Октавий Цезарь — Николаю Дамаскину
(14 год после Р.Х.)

Девятое августа

Дорогой Николай, прими мои сердечные приветствия и благодарность за очередную посылку с любимыми мною финиками, которыми ты столь любезно снабжал меня все эти годы. Они вошли в одну из самых значительных статей торговли с Палестиной и по всему Риму и его провинциям известны под твоим именем, которое я им присвоил. Я зову их «николаи»; это название закрепилось за ними среди тех, кому они по карману. Надеюсь, тебя позабавит тот факт, что твое имя больше знакомо миру благодаря ласковому прозвищу, данному финикам, чем написанным тобой многочисленным трудам. Мы оба уже достигли того возраста, когда можем находить проникнутое горькой иронией удовольствие в знании о том, каким ничтожным пустяком в конце концов обернулась наша жизнь.

Я пишу тебе с палубы своего корабля, того самого, на котором много лет назад мы вместе не раз неспешно путешествовали среди небольших островов, разбросанных вдоль западного побережья Италии. Я сижу под пологом в средней части корабля, где когда-то мы с тобой сиживали, на небольшом возвышении, с которого хорошо видно вечно меняющееся море. Мы отплыли из Остии сегодня утром, в холодный не по сезону предрассветный час, и в настоящий момент дрейфуем на юг в сторону побережья Кампании. Я решил, что спешить мне особо незачем. Мы положимся на волю ветра, а если ветра не будет, то станем терпеливо дожидаться его, отдавшись на волю морских волн.

Мы направляемся на Капри. Несколько месяцев назад один из моих греческих соседей пригласил меня в качестве почетного гостя на ежегодные состязания местных юношей; я тогда отклонил его приглашение, сославшись на бремя государственных забот. Но недавно выяснилось, что мне необходимо съездить на юг по совсем другой надобности, и я принял решение немного себя побаловать.

На прошлой неделе моя жена обратилась ко мне в присущей ей сухой и чопорной манере с просьбой ее и сына в их поездке в Беневент, где у Тиберия были дела, связанные с его новым постом. Ливия принялась объяснять мне то, что мне и без того хорошо известно: что народ сомневается в моей привязанности к приемному сыну и что проявление толики расположения или заботы с моей стороны только пойдет ему на пользу, когда он в конечном итоге заменит меня у кормила власти.

Она выразилась не так прямо, ибо, несмотря на всю силу своего характера, всегда оставалась весьма дипломатичной. На манер одного из тех азиатских царедвор-

цев, с которыми мне часто приходилось сталкиваться за свою долгую жизнь, она желала осторожно напомнить — без того, чтобы бросить мне в лицо жестокую истину,— что дни мои сочтены и что, мол, настала пора подумать о том, чтобы подготовить мир к грядущему хаосу, в который он неизбежно погрузится сразу после моей смерти.

Как водится, и в этом случае, как и почти во всех других, рассудительная Ливия оказалась совершенно права. Мне семьдесят шесть лет, я уже прожил дольше, чем хотел бы, и снедающая меня тоска отнюдь не способствует долгожительству. Зубы мои почти все выпали; руки трясутся от периодических приступов подагры, которая наносит визиты всегда некстати; старческая немощь поразила слабостью ноги. Порой, когда я выхожу на прогулку, во мне возникает странное ощущение, будто земля уходит у меня из-под ног — каждый камень, кирпич или клочок земли, на который я ступаю, так и норовит ускользнуть от меня,— и мне кажется, что в любой момент я могу упасть с лица земли туда, куда в конечном итоге попадает человек, время жизни которого на ней истекло.

Итак, я дал ей свое согласие, но при одном условии: мое присутствие будет символическим. Далее, я предложил, что, так как Тиберий не переносит морских путешествий, он с матерью отправится в Беневент по суше, в то время как я прибуду туда морем, и если тот или иной из них желает публично объявить о том, что муж одной и приемный отец другого путешествует вместе с ними, то я не стану против этого возражать. В конце концов, такое соглашение должно удовлетворить все заинтересованные стороны, и, как мне кажется, мы с бо́льшим удовольствием готовы спрятаться за этой уверткой, чем открыто признать неприятную правду.

Да, моя супруга — удивительная женщина; полагаю, мне с ней очень повезло. Она была достаточно хороша собой в молодости и сумела сохранить приятную наружность и в зрелом возрасте. По-настоящему мы любили друг друга лишь несколько лет после свадьбы, но и после этого мы всегда оставались в рамках приличий; более того, я бы даже сказал, что в конце концов мы стали чем-то вроде друзей. Мы понимаем друг друга. Я знаю, что где-то глубоко в ее сердце республиканки прячется чувство, что она вышла замуж за человека ниже себя, но обладающего огромной властью, променяв достоинство древнего рода на грубую силу того, кто по своему скромному происхождению не заслуживает такой чести. Со временем я пришел к выводу, что она пошла на это ради своего первенца Тиберия, которого всегда почему-то страстно любила и с которым связывала самые честолюбивые помыслы. Именно это и стало причиной нашего первоначального отчуждения, которое одно время зашло так далеко, что я говорил с собственной женой только о том, о чем предварительно готовил подробные записки, чтобы ненароком не вызвать дальнейших осложнений между нами вследствие недопонимания, реального или воображаемого.

И все же, несмотря на все трения, вызванные этим, ее честолюбие в конечном итоге пошло на пользу как авторитету моей власти, так и Риму. Ливия всегда была достаточно разумной, чтобы понимать, что судьба ее сына целиком зависит от сохранения мной единоличной власти и что он неизбежно окажется раздавлен, если не получит в наследство устойчивую империю. Посему если Ливия способна хладнокровно обдумывать мою смерть, то я не сомневаюсь, что точно так же она подходит и к своей; ее главная забота — о том уязвимом порядке, коего мы всего лишь жалкие орудия.

Поэтому из уважения к этим ее устремлениям, которые я целиком разделяю, я, готовясь к упомянутой поездке, три дня назад оставил на хранение в храме Девственных весталок четыре документа, которые должны быть вскрыты и зачитаны перед сенатом только в случае моей смерти.

Первый из них — мое завещание, согласно которому две трети моего личного имущества и казны отходит Тиберию; и хотя он в этом и не нуждается, таковой жест является необходимым ритуалом, определяющим порядок наследования. Оставшаяся часть, за исключением незначительных отчислений в пользу граждан, а также различных родственников и друзей, принадлежит Ливии, которая, согласно моей воле, становится членом рода Юлиев с предоставлением ей права на все мои титулы. Имя Цезарей ее вряд ли порадует, но титулы — наверняка, ибо это значит, что за счет их ее сын приобретет определенный вес, что, в свою очередь, будет способствовать скорейшему осуществлению ее планов.

Второй документ содержит ряд указаний относительно моих похорон. Те, на кого выпадет обязанность распоряжаться ими, без сомнения, выйдут за рамки моих инструкций, которые предусматривают и без того достаточно щедрые и вульгарные почести; к сожалению, таковые излишества неизменно приносят удовлетворение народу и потому совершенно необходимы. Единственное, в чем я нахожу для себя утешение,— это то, что мне самому не придется при этом присутствовать.

Третий документ представляет собой отчет о состоянии дел в империи: общее число солдат на действительной военной службе, количество (насколько мне известно) денег в казне, финансовые обязательства

властей перед управляющими провинциями и перед частными лицами, имена правителей, несущих финансовую или какую-либо другую ответственность, и тому подобные сведения, которые необходимо придать огласке в целях гарантии порядка и предотвращения возможных злоупотреблений. В дополнение к этому я присовокупил некоторые довольно жесткие рекомендации своему преемнику. Я посоветовал ему воздержаться от излишней щедрости и не проявлять чрезмерного своеволия в предоставлении римского гражданства, ибо таковые действия могут ослабить центр империи; я также предложил, чтобы все лица, занимающие высшие административные посты, состояли на службе у государства, получая твердо установленную плату, дабы уменьшить искушение властью или богатством; и наконец, я предписал, чтобы ни при каких обстоятельствах не предпринимались попытки расширить границы империи и чтобы войско использовалось исключительно для защиты уже существующих границ, особенно северных, где германские варвары, похоже, никак не устанут от своей бессмысленной вражды с Римом. Я нисколько не сомневаюсь, что данное указание в конечном итоге будет благополучно забыто, но до того пройдет несколько лет, а это значит, что я по меньшей мере сумел добиться хотя бы отсрочки.

И наконец, последнее: я отдал на хранение сим почтенным дамам свой послужной список, в котором дается полный перечень всех моих заслуг перед Римом и империей, с указанием выгравировать его на бронзовых дощечках, кои должны быть укреплены на колоннах, помпезно возвышающихся при входе в еще более помпезный мавзолей, в котором, согласно моему декрету, будут храниться мои останки.

Копия этого документа в настоящий момент лежит передо мной, и я время от времени поглядываю на него в недоумении, будто он был написан кем-то другим, а вовсе не мной. Во время составления данного списка я столкнулся с необходимостью порой обращаться к трудам, вышедшим из-под пера других людей,— настолько далеки ныне некоторые из событий, которые я перечислял. Как это все-таки странно — дожить до такого возраста, когда приходится полагаться на свидетельства других, вспоминая свою собственную жизнь.

Среди книг, на которые я опирался, было «Жизнеописание», созданное тобой, когда ты впервые появился в Риме; отрывки из истории нашего друга Тита Ливия, касающиеся основания города, в коих повествуется о моих ранних годах; и мои собственные «Заметки к автобиографии», каковые по прошествии стольких лет тоже представляются сочиненными кем-то другим.

Да простятся мне эти слова, мой дорогой Николай, но, сдается, их ныне объединяет одно: лживость. Надеюсь, ты не станешь слишком буквально относить это замечание к собственному труду — я уверен, ты понимаешь, что я имею в виду. Ни в одном из них нет неправды и содержится очень немного фактических ошибок, но все равно все они насквозь лживы. Интересно, за эти последние годы, что ты провел в занятиях наукой и размышлениях о жизни в тиши твоего далекого Дамаска, открылась ли и тебе эта истина?

Ибо, когда я читал упомянутые книги и писал собственные «Заметки», я, как мне теперь кажется, читал и писал о человеке, носящем мое имя, но которого я почти совсем не знал. И, как бы я ни старался, мне не удается как следует его разглядеть;

когда же я наконец умудряюсь мельком увидеть этого человека, образ его растворяется, как в тумане, ускользая от моего даже самого пристального взгляда. Любопытно, если бы он мог видеть меня сейчас, узнал бы он то жалкое подобие себя, в которое превратился? Узнает ли он в тех карикатурах, которыми стали люди в целом, своих прежних знакомцев? Не думаю.

В любом случае, мой дорогой Николай, написание этих четырех документов и последующее помещение их на хранение в храм Девственных весталок вполне может стать последней официальной обязанностью, которую мне суждено выполнить; неспешно несомый ветром и течением на юг в направлении Капри, я практически отрекся и от власти, и от мира и медленно дрейфую в сторону того места, куда до меня ушло так много моих друзей. Наконец-то я могу насладиться отдыхом с полным знанием того, что не оставил позади никаких незавершенных дел. По меньшей мере в течение нескольких последующих дней ко мне не примчится запыхавшийся гонец с вестями об очередном бедствии или заговоре; сенаторы не будут домогаться от меня поддержки своим никчемным и своекорыстным законам, а законники не станут досаждать делами своих в равной степени продажных клиентов. Я в долгу лишь перед этим письмом, написанием коего я занят, перед необъятным морем, что без усилий поддерживает на плаву нашу жалкую посудину, да перед голубым небом Италии.

Путешествую я почти в полном одиночестве — со мной лишь несколько гребцов, которым я дал указание браться за весла лишь в случае неожиданного шквала, да полдюжины слуг, лениво пересмеивающихся на корме. Ближе к носу судна расположился не спускающий с меня глаз новый молодой врач, которого я недавно взял на службу, некий Филипп Афинский.

До нынешнего дня я умудрился пережить всех своих лекарей и теперь нахожу определенное утешение в мысли о том, что Филиппа мне пережить уже не удастся, хотя это вовсе на значит, что я ему не доверяю. Он не слишком просвещен в своем искусстве, но при этом еще слишком молод, чтобы научиться тому непринужденному лицемерию врачей, которое так легко вводит в заблуждение их пациентов, тем временем наполняя их кошельки. Он не предлагает никаких лекарств от моих старческих болезней и не подвергает меня тем пыткам, за которые столь многие с такой готовностью платят большие деньги. Он чувствует себя немного не по себе в присутствии того, кого всерьез считает повелителем всего мира; однако он вовсе не раболепен и заботится больше о моем удобстве, чем о том, что другому могло бы показаться моим здоровьем.

Я быстро утомляюсь — возраст дает о себе знать; я почти совсем ослеп на левый глаз, но стоит мне его закрыть, как далеко на востоке я вижу плавные линии моего любимого италийского побережья, и даже из этого далека могу различить очертания отдельных домов и фигурки людей на берегу. Наслаждаясь столь редко выпадающим мне досугом, я размышляю о тайной жизни этих простых людей. Впрочем, любая жизнь полна загадок, даже моя.

Филипп выходит из оцепенения и бросает на меня тревожный взгляд; я понимаю, что он хочет, чтобы я оставил свое занятие, которое он рассматривает скорее как труд, чем удовольствие. Я, предупредив его заботливые слова, откладываю перо и делаю вид, что отдыхаю.

«В возрасте девятнадцати лет по собственной воле и за свой счет я собрал армию, с помощью которой вернул свободу республике, страдавшей от жестоких междоусо-

биц. За эту услугу сенат, воздав мне хвалу, включил меня в свои ряды в консульство Гая Пансы и Авла Гирция, предоставив мне военные полномочия и предпочтительное право голоса наравне с консулами. В качестве пропретора сенат повелел мне, как и своим консулам, «защищать республику от напастей». В тот же год, после гибели на войне обоих — Гая Пансы и Авла Гирция,— народ избрал меня консулом и триумвиром, дабы исправить положение.

Тех, кто убил моего отца, я вынудил к бегству из страны, покарав их деяния в соответствии с законом; впоследствии, когда они развязали войну против республики, я дважды разбил их в битвах...»

Так начинается мой послужной список, о котором я писал тебе сегодня утром. В течение часа, что я лежал, притворяясь спящим, давая Филиппу возможность хоть ненадолго вздохнуть свободно, я снова думал об этом перечне моих свершений на службе у Рима и того, что с ним связано. Данный текст будет выгравирован на бронзовых дощечках, которые, в свою очередь, должны быть укреплены на колоннах, стоящих у входа в мой мавзолей; на каждой колонне имеется достаточно места для шести таких дощечек, каждая из которых может содержать максимум пятьдесят строчек, по шестидесяти знаков в каждой, что составит примерно восемнадцать тысяч знаков.

Тот факт, что я вынужден писать о своей личности, ограничив себя определенными жесткими рамками, какими бы случайными они ни выглядели, как мне кажется, вполне оправдан, ибо как слова мои, так и жизнь вынуждены подчиняться требованиям общественной необходимости. И точно так же, как поступки, слова эти утаивают по меньшей мере столько же, сколько и раскрывают. Истина находится за выгравированными на бронзе строчками, в плотном камне,

который они опоясывают. И это тоже представляется мне вполне уместным, ибо большая часть моей жизни была окружена тайной. Я никогда не считал благоразумным делиться с другими тем, что у меня на душе.

Очень кстати, что юности не дано знать пределов своей неосведомленности, ибо в противном случае она ни за что не нашла бы в себе мужества выработать привычку безропотно сносить удары судьбы. Возможно, это инстинкт, свойственный всему роду человеческому, позволяющий мальчику вырасти в мужчину и наконец убедиться в бессмысленности своего существования.

Так и я в свои восемнадцать лет был еще совсем наивным юнцом, когда той весной в Аполлонию, где я постигал премудрости наук, пришла весть о смерти Юлия Цезаря... Немало было сказано о моей преданности Юлию Цезарю, но, клянусь богами, дорогой мой Николай, я до сих пор не знаю, любил я его на самом деле или нет. За год до покушения я вместе с ним участвовал в испанском походе; он был моим дядей и самым влиятельным человеком, какого я только знал; мне льстило его доверие ко мне, и было хорошо известно, что он собирался меня усыновить и сделать своим наследником.

И хотя с тех пор прошло уже почти шестьдесят лет, я до сих пор отчетливо помню тот день в тренировочном лагере, когда узнал о смерти дяди Юлия. Со мной вместе были Меценат, Агриппа и Сальвидиен. Послание доставил один из слуг моей матери, и я, помнится, громко вскрикнул, словно пронзенный острой болью, прочитав его.

Но на самом деле, дорогой Николай, в этот первый момент я ничего не почувствовал, и тот горестный вопль издал вовсе не я, а кто-то другой. А затем меня охва-

тило такое холодное равнодушие, что мне пришлось уйти прочь от моих друзей, чтобы они не могли разглядеть моих чувств или, вернее, отсутствия их. Не разбирая дороги я брел по полю, стараясь вызвать в себе подходящие случаю чувства скорби и утраты и неожиданно ощутил какой-то бешеный восторг, какой охватывает всадника, когда лошадь под ним вдруг понесет, но он уверен, что у него хватит умения совладать с норовистым скакуном, который в избытке жизненной энергии желает помериться силами со своим хозяином. Когда я вернулся к моим друзьям, я знал, что изменился, что я уже не тот, кем был раньше. Я знал свое предназначение, но не мог сказать им об этом, хотя они и были мне друзьями.

Тогда я, пожалуй, не смог бы облечь это в слова, но я понял, что мое предназначение заключается в одном: изменить мир. Юлий Цезарь пришел к власти в мире, который был настолько растлен, что и представить себе невозможно. Всем заправляли шесть самых влиятельных семейств; города, районы и провинции, находившиеся под властью Рима, служили разменной монетой, когда было необходимо дать кому-то взятку или наградить за услугу; именем республики и под видом традиции убийства, гражданские распри и безжалостное преследование недовольных стали средством к достижению общепризнанных целей — таких, как власть, богатство и слава. Любой обладающий достаточными средствами мог собрать армию и с ее помощью приумножить свое состояние, что приносило ему еще больше власти и соответственно славы. Римлянин убивал римлянина, а вопрос о власти решался простым превосходством в вооруженной силе и богатстве. Среди всех этих междоусобиц и раздоров корчился в смертных муках, словно заяц, попавший в ловушку, простой римский гражданин.

Не пойми меня превратно — я никогда не испытывал сентиментально-напыщенной любви к простому народу, которая была так популярна в годы моей юности (как, впрочем, и сейчас). Человечество в целом я всегда считал глупым, невежественным и жестоким, будь то селяне в грубой одежде или сенаторы в белой с пурпуром тунике. И все же даже в самом слабом из людей в те краткие мгновения, когда он оставался наедине с самим собой, я находил проявления силы, словно вкрапления золота среди пустой породы; в самом безжалостном — проблески нежности и сострадания; в самом тщеславном — простоту и изящество. Я помню поведение Марка Эмилия Лепида в Мессине, на старости лет лишенного всех своих титулов, вынужденного публично, на глазах у воинов, которыми он только недавно еще командовал, просить прощения за свои преступления и умолять сохранить ему жизнь: тяжело поднявшись с колен, он окинул меня долгим пронзительным взглядом, в котором не было ни тени стыда, или раскаяния, или страха, улыбнулся и, повернувшись ко мне спиной, ушел в безвестность, широко расправив плечи. А еще я помню Марка Антония в битве при Акции, когда он, стоя на носу своего корабля, наблюдал за бегством Клеопатры со всем ее флотом, обрекшим его на неминуемое поражение, остро осознав в тот момент, что она его никогда не любила, но при этом сохранив на своем лице выражение почти материнской любви и всепрощения. Мне также вспоминается Цицерон, когда он наконец понял, что его глупые интриги окончились неудачей, а я предупредил его, притом тайно, о смертельной опасности. Он ласково улыбнулся, как будто между нами никогда не было вражды, и сказал:

— Не утруждай себя. Я пожил свое, и, какие бы ошибки я ни допустил, я всегда любил родину.

Мне говорили, что он с тем же достоинством отдал себя в руки палача.

Я решил изменить мир вовсе не из наивного идеализма изнеженного юнца или тщеславной праведности — этих неизменных предвестников поражения — и не ради увеличения своего богатства и влияния, ибо богатство, превышающее разумные пределы, всегда казалось мне самым тривиальным из всех земных благ, а власть, превышающая собственную полезность,— самым презренным. То неумолимая судьба заключила меня в свои объятия в тот решающий день в Аполлонии, почти шестьдесят лет назад, и я не стал делать попыток вырваться из них.

Тем не менее, скорее благодаря инстинкту, чем твердому знанию, я понял, что если человеку на роду написано изменить мир, то прежде он обязан изменить самого себя. Для этого он должен найти внутри себя или создать заново второе, тайное и безжалостное, «я», равнодушное как к нему самому, так и к другим, а также к миру, который ему предписано переделать, руководствуясь вовсе не собственными желаниями, а тем, с чем он сталкивается по ходу переделки.

И все же они оставались моими самыми близкими друзьями даже тогда, когда в глубине души я отказался от них. Какое своенравное это создание — человек, который почему-то больше всего ценит то, от чего отказался или что оставил позади! Солдат, выбравший войну своей профессией, в разгар битвы жаждет мира, а во время мира мечтает о звоне мечей и кровавом хаосе сражения; раб, воспротивившись навязанной ему зависимости, за счет собственного усердия покупает себе свободу, чтобы затем попасть в кабалу к еще более жестокому и требовательному хозяину; любовник, покинувший свою подругу, остаток жизни проводит в мечтах о ее воображаемом совершенстве.

Все это в полной мере я отношу и к себе. В молодости я бы сказал, что мое одиночество и отчужденность были мне навязаны извне — и был бы не прав. Как и большинство других людей, я сам выбрал свою жизнь; я предпочел отгородиться от мира некой неопределенной мечтой о своем предназначении, мечтой, которой я ни с кем не могу поделиться, закрыв себе тем самым путь к той самой обычной человеческой дружбе, о коей так редко говорят — настолько она ординарна — и потому почти не дорожат.

Обычно мы прекрасно осознаем, чем чреваты те или иные наши действия, однако имеем обыкновение внушать себе, что легко сможем ужиться с их последствиями. Я знал, что мне до конца дней своих предстоит жить с последствиями моего решения, но не мог и предположить, насколько тяжело это будет. Ибо чем больше росла моя потребность в дружбе, тем решительнее я отказывался от нее. И, как мне кажется, мои друзья — Меценат, Агриппа и Сальвидиен — так никогда и не сумели до конца оценить, как важна была для меня их дружба.

Сальвидиен Руф умер задолго до того, как мог это понять; как и я, он был движим энергией юности, столь беспощадной, что сам по себе результат стал ничем, а выход энергии превратился в самоцель.

Молодой человек, не имеющий понятия о будущем, видит свою жизнь как эпическое приключение, некую одиссею среди незнакомых островов и неизвестных морей, где он сможет проверить и показать себя и через это добиться бессмертия. Человек средних лет, поживший в будущем, о котором когда-то мечтал, рассматривает свою жизнь как трагедию, ибо понял, что вся его власть, какой бы огромной она ни была, не способна взять верх над теми силами природы и случая, которых он называет богами, и узнал, что смертен. Но

человек преклонного возраста, если он строго придерживается предписанной ему роли, должен рассматривать жизнь как комедию, ибо все его победы и поражения в конце концов сливаются воедино, и первое дает не больше оснований для гордости, чем второе — для стыда; он начинает осознавать, что не является ни героем, проявившим себя в борьбе с этими силами, ни их жертвой. Словно давно растерявшему себя, жалкому и ничтожному актеришке, ему вдруг открывается, что он перепробовал так много ролей, что уже давно перестал быть самим собой.

Я тоже сыграл немало ролей за свою жизнь, и если теперь, когда подошла пора сыграть последнюю из них, мне представляется, что я сумел уклониться от участия в той бездарной комедии, в которую я был против своей воли вовлечен, то это может быть очередной уловкой, последним ироническим поворотом сюжета, на котором она кончается.

Юношей я играл роль школяра, то есть того, кто изучает предметы, ему доселе незнакомые. Вместе с Платоном и пифагорейцами я на ощупь пробирался сквозь туман, в котором, как предполагается, бродят неприкаянные души в поисках новых тел; и некоторое время, убежденный в кровной близости между человеком и зверем, я отказывался есть скоромное и испытывал такое чувство родства со своим конем, какое раньше и представить себе не мог. В то же самое время, не видя в том ни малейшего противоречия, я всем сердцем воспринял противоположные Платону учения Парменида* и Зенона* и весьма уверенно чувствовал себя в абсолютно цельном и неподвижном мире, который, по существу, был вещью в себе и потому открывал бесконечные возможности для манипуляции, во всяком случае для созерцательного ума.

И когда обстоятельства мои изменились, я не увидел ничего предосудительного в том, чтобы надеть маску воина и разыграть также и эту роль. «*Войны, как внутренние, так и внешние, я вел по всему миру, на суше и на море... Дважды я был удостоен триумфа с овацией — торжественной встречей победителя, трижды праздновал курульные триумфы*, и двадцать один раз меня приветствовали как императора*». Да, как верно заметили другие,— возможно, с большим тактом, чем я того заслуживаю,— я был неважным воином. Все успехи, кои я относил на свой счет, были достигнуты благодаря людям, более умелым в военном деле, чем я,— сначала Марку Агриппе, а позже тем, кто перенял у него навыки искусства, мастером которого он слыл. Вопреки эпиграммам и слухам, имевшим хождение в первые годы моей военной карьеры, я был не трусливее других и достаточно крепок духом, чтобы сносить тяготы военных походов. Я полагаю, тогда меня еще меньше занимал факт моего существования, чем сейчас, а невзгоды походной жизни приносили мне некую странную радость, какую мне никогда не доводилось испытывать ни до того, ни после.

Говорят, наши древние предки приносили в жертву богам людей, а не животных; сегодня мы с гордостью заявляем, что этот обычай так давно отошел в прошлое, что существует лишь в условном мире мифов и легенд. Мы недоуменно качаем головой, поражаясь тому варварскому времени, столь далеко (по нашим собственным словам) отстоящему от нынешней просвещенной и гуманной эпохи, и не устаем дивиться примитивной жестокости, на которой покоятся основы нашей цивилизации. Я тоже порой смутно ощущал некую абстрактную жалость к древнему рабу или селянину, вынужденному закончить свою жизнь под жертвенным ножом на алтаре кровожадно-

го божества, но при этом неизменно чувствовал какую-то неловкость.

Иногда во сне передо мной бесконечными рядами проходят десятки тысяч человеческих призраков, которым уже никогда не доведется ходить по земле, призраков не менее безвинных, чем те жертвы, что смертью своей должны были умилостивить древних богов; и мне кажется в смутной неясности или, напротив, очевидности моего сна, что я и есть тот жрец, что вышел из темного прошлого нашего народа, дабы произнести ритуальные слова, вслед за которыми в невинную жертву вонзается жертвенный нож. Мы уверяем себя, что стали цивилизованными, и с благоговейным ужасом говорим о тех временах, когда бог плодородия по недоступным простому смертному причинам требовал себе в жертву человеческую плоть. Но разве бог, коему на нашей памяти и даже в наше время поклонялось так много римлян, не является столь же грозным и непонятным, как и то древнее божество? Чтобы покончить с ним, я стал его жрецом, чтобы ослабить его власть, я во всем повиновался ему. Но мне не удалось ни уничтожить его, ни умалить его могущества. Он, затаившись, дремлет в душах людей, ожидая подходящего момента, чтобы воспрянуть ото сна. Я не видел большой разницы между жестоким прошлым, готовым положить невинную жизнь отдельного человека на алтарь страха, не имеющего имени, и просвещенным настоящим, способным принести тысячи жизней в жертву страху, которому мы дали имя.

Однако я рано понял, что почитание богов, порожденных темными глубинами инстинкта, подрывает общественные устои. Именно поэтому я подбил сенат на то, чтобы объявить божественным Юлия Цезаря, и приказал воздвигнуть в Риме храм в его честь, дабы присутствие его гения постоянно чувствовалось людь-

ми. Я не сомневаюсь, что после моей смерти сенат точно так же сочтет необходимым обожествить и меня. Как ты знаешь, меня уже почитают за бога во многих италийских городах и провинциях, хотя я никогда и не позволял практиковать сей нелепый культ в самом Риме. Подобное поклонение конечно же глупость, но с ней приходится мириться. Тем не менее из всех ролей, что мне довелось сыграть в своей жизни, роль смертного бога вызывала у меня наибольшую неловкость. Я самый обычный человек, столь же склонный к ошибкам и подверженный тем же слабостям, что и большинство других людей; и если у меня и было какое преимущество перед моими собратьями, так это то, что я не питал никаких иллюзий на свой счет, а посему знал их собственные слабости и никогда не считал себя сильнее или мудрее, чем кто бы то ни был другой. Это знание было одним из источников моей власти.

День перевалил за середину, и солнце начинает медленно клониться к западу. На море опустился штиль; безвольно повисшие надо мной пурпурные паруса ярким пятном выделяются на фоне бледно-голубого неба; наше суденышко плавно покачивается на волнах, почти оставаясь на месте. Умирающие от скуки гребцы, целый день предоставленные самим себе, бросают на меня полные надежды взгляды, ожидая, что я наконец прерву их безделье и брошу на борьбу со штилем, приостановившим наше продвижение вперед. Но я вовсе не собираюсь этого делать. Через полчаса, или через час, или даже через два поднимется ветер, и мы не спеша направимся к берегу, где, подыскав подходящую гавань, бросим в ней якорь. А пока я готов целиком положиться на волю волн.

Из всех напастей, приносимых нам старостью, самой мучительной является бессонница, от которой я

все больше и больше страдаю. Как ты знаешь, я всегда испытывал затруднения со сном, но когда я был моложе, я умел найти применение сему ночному беспокойству ума и высоко дорожил теми прекрасными мгновениями, когда весь мир пребывал в глубоком забытьи и лишь мне одному было дано видеть его спящим. Вдали от тех, кто любит давать мне советы, исходя из собственного видения мира, то бишь самих себя, я наслаждался возможностью неспешного созерцания и царящей вокруг тишиной; многие из моих самых важных решений были приняты в ранние предрассветные часы, когда я лежал без сна в своей постели. Но бессонница, которая мучает меня отныне, совсем другого рода. Это уже не порождение неуемной энергии ума, слишком живого, чтобы позволить сну лишить его осознания самого себя; это, скорее, некое ожидание, растянутое мгновение, в течение которого душа готовит себя к тому покою, какого никогда не знали ни ум, ни тело.

Я совсем не спал этой ночью. На закате мы бросили якорь примерно в трех стадиях от берега, в небольшой бухточке, прячущей от посторонних глаз несколько рыбацких лодок и безымянную деревушку, крытые соломой хижины которой лепились по склонам невысокого холма в полумиле от кромки моря. С наступлением вечера мне стали еще отчетливее видны факелы и огни костров, мерцающие в темноте, и я наблюдал за ними до тех пор, пока они не погасли один за другим. И снова мир погрузился в сон; по случаю теплой ночи часть команды решила расположиться на палубе; Филипп отдыхает внизу подо мной, возле каюты, где, как он полагает, я сплю. Легкие, почти неприметные волны плещутся о борт; ночной бриз нежно шепчет в свернутых парусах; светильник на моем столе неровно мерцает, и мне приходится напрягать глаза, чтобы разглядеть написанные мною строчки.

Этой долгой ночью мне пришло в голову, что мое письмо служит вовсе не той цели, каковой первоначально предполагалось. Когда я начал его писать, в мои намерения входило всего лишь поблагодарить тебя за «николаи» и заверить в своей дружбе и, может быть, еще предложить слова утешения, столь необходимые нам в старости. Но так вышло, что сия дружеская любезность, как я вижу, обернулась чем-то совсем иным. Она превратилась в другое, вовсе не предвиденное мной путешествие. Мой путь лежит на Капри, но нынче мне кажется, что в этой ночной тиши, под этим небом с его таинственной геометрией звезд, в мире, где ничего другого не существует, кроме моей руки, выводящей эти странные знаки, кои ты каким-то непостижимым образом сумеешь распознать, я направляюсь совсем в иное место, загадочнее которого я ничего не знаю. Я продолжу письмо завтра. Может быть, нам удастся узнать порт моего назначения.

Десятое августа

Утро нашего отплытия из Остии было сырое и холодное; я долго оставался на палубе (что было весьма легкомысленно с моей стороны), наблюдая за тем, как в утреннем тумане постепенно скрывается из глаз итальянский берег, и обдумывая начало моего письма к тебе, в котором я первоначально намеревался просто передать свою благодарность за очередную посылку с «николаями» и заверить, что, несмотря на нашу долгую разлуку, по-прежнему тебя люблю. Но, как ты уже, наверное, догадался, мое письмо вылилось в нечто большее; и я прошу своего старого друга проявить ко мне снисходительность и выслушать то, что я хочу сказать Холодный воздух вызвал-таки одну из моих

простуд, которая переросла в лихорадку, и мне в который раз пришлось смиряться с очередным недомоганием. Я не стал говорить Филиппу об этой моей новой болезни; более того, я даже заверил его в своем полном благополучии, ибо чувствую настоятельную потребность завершить мое письмо и не хочу, чтобы Филипп своим чрезмерным вниманием помешал мне в этом.

Вопрос моего здоровья всегда занимал меня гораздо меньше, нежели всех остальных. С юных лет оно не отличалось особой крепостью — я был подвержен такому количеству различных болезней, что немало врачей — больше, чем мне хотелось бы думать,— нажили себе на этом состояние. У меня есть сильные подозрения, что по большей части богатство досталось им незаслуженно, но я их в том не виню. Мое тело так часто приводило меня на грань смерти, что во время моего шестого консульства, когда мне было всего тридцать пять лет, *«сенат постановил, что каждые четыре года консулы и жрецы будут возносить молитвы и совершать жертвоприношения за мое здоровье. В подкрепление их действий устраивались зрелища* (дабы напомнить народу о его долге перед императором), *и всех граждан, как по отдельности, так и целыми муниципиями, поощряли на принесение регулярных жертв в храмах богов во благо моего здоровья и благополучия».* Это конечно же была глупость, но, как бы то ни было, сия глупость оказалась не менее полезной для моего здоровья, чем многочисленные лекарства и различные экзекуции, которым подвергали меня врачи, и дала народу возможность почувствовать свою причастность к судьбе империи.

Шесть раз за мою жизнь это тело — склеп моей души — приводило меня на порог вечной тьмы, в которую в конце концов канут все смертные, и шесть раз

в самый последний момент оно отступало, как будто повинуясь велению рока, которому не могло противиться. Я намного пережил всех своих друзей, в которых я мог раскрыться гораздо полнее, чем в узких рамках собственного существования. Их никого уже нет в живых, моих старинных друзей. Юлий Цезарь погиб в пятьдесят восемь лет, будучи почти на двадцать лет моложе меня нынешнего; мне всегда казалось, что его смерть можно в той же степени отнести на счет неизбывной скуки, этой предвестницы опасной беспечности, как и кинжалов его убийц. Сальвидиен Руф умер в двадцать три года, в самом расцвете жизни, пав от своей собственной руки, ибо полагал, что предал нашу дружбу. Бедный Сальвидиен! Из всех друзей моей юности он больше всего походил на меня. Догадывался ли он, что на самом-то деле предателем был я, а он — всего лишь невинной жертвой болезни, которой заразился от меня,— вот что хотелось бы мне знать. Вергилий умер в пятьдесят один год, и до самой последней минуты я не отходил от его изголовья. Метаясь в бреду, он говорил, что умирает неудачником, и заставил меня дать обещание уничтожить его великую поэму об основании Рима. А затем, в возрасте пятидесяти лет, достигнув вершины своего величия, совсем неожиданно — прежде, чем я смог принести ему свой последний поклон,— скончался Марк Агриппа, который за всю жизнь ни разу ничем не болел. А несколькими годами позже — в моей памяти они все сливаются в одно, словно звуки тамбурина, лиры и трубы, образующие единую мелодию,— в течение месяца один за другим почили Меценат и Гораций. За исключением тебя, мой дорогой Николай, они были последними из моих старых друзей.

И вот нынче, когда моя собственная жизнь медленно, капля по капле покидает меня, в их судьбах мне видится некая гармония, которой я не был благослов-

лен. Все они умерли в расцвете сил, завершив труд своей жизни, но при этом знали, что она могла подарить им еще много славных побед; им не случилось с сожалением узнать, что их жизнь прошла впустую. Я же теперь пришел к выводу, что почти двадцать лет моей жизни оказались выброшены на ветер. Александру Великому посчастливилось умереть молодым, иначе бы он узнал, что покорить мир — заслуга небольшая, а управлять им — и того меньшая.

Ты знаешь, что как поклонники мои, так и хулители часто сравнивали меня с молодым честолюбивым македонцем: это правда, что Римская империя ныне включает в себя многие из тех земель, что когда-то покорил Александр; также верно и то, что, как и он, я пришел к власти еще совсем молодым и успел побывать во многих землях, которые он первым подчинил своей необузданной воле. Однако я никогда не стремился к покорению мира и был скорее тем, кем правят, чем правителем.

И если я и присоединил к нашей империи новые территории, то сделал это лишь для защиты ее пределов — будь Италия в безопасности без этих завоеваний, я бы вполне удовлетворился нашими древними границами. Так вышло, что я провел в чужих землях больше времени, чем хотелось бы. От узкого пролива, где Боспор переходит в Понт Эвксинский,— до самых дальних берегов Испании; от холодных голых равнин Паннонии, где живут отогнанные от границ империи германские варвары,— до горячих песков Африки — везде я побывал; однако я чаще приходил в чужие страны не как завоеватель, а как посол, вступая в мирные переговоры с правителями, больше напоминающими племенных вождей, чем глав государств, часто даже не владеющими ни греческим, ни латынью. В отличие от моего дяди Юлия Цезаря, находившего

некую странную новизну в продолжительных странствиях за границей, мне пребывание в чужеземных краях никогда не доставляло ни малейшего удовольствия — я всегда скучал по родным италийским просторам и даже по Риму.

Но я научился уважать и отчасти даже любить этих странных людей, столь непохожих на римлян, с коими мне приходилось иметь дело. Полуобнаженный воин из северных племен, закутавшийся в шкуру дикого зверя, коего он убил собственной рукой, и внимательно разглядывающий меня сквозь дым походного костра, не многим отличался от смуглого выходца из Северной Африки, принимавшего меня на вилле, пышностью своей затмевающей многие римские дворцы; как, впрочем, и от носящего на голове тюрбан персидского вельможи, с его тщательно завитой бородой, в шальварах и плаще, расшитом золотой и серебряной нитью, с внимательными, как у змеи, глазами; или от свирепого нумибийского вождя, встречающего меня с копьем и щитом из слоновой кожи, чье черное как смоль тело завернуто в шкуру леопарда. Время от времени я давал этим людям власть и покровительство Рима, делая их царями в их собственных землях. Я даже предоставлял им римское гражданство, дабы именем Рима поддерживать порядок в их владениях. Они были варварами, и я не мог им полностью доверять; однако не раз я ловил себя на том, что находил в них не меньше черт, достойных восхищения, чем тех, что заслуживают порицания. Знание этих людей помогло мне лучше понять моих собственных соплеменников, которые зачастую казались мне не менее странными, чем другие народы, населяющие этот огромный мир.

За надушенным и тщательно завитым римским щеголем, одетым в тогу из запрещенного шелка и жеманно рассуждающим о своем замечательно ухожен-

ном саде, стоит неотесанный селянин, который добывает свой хлеб насущный, ходя за плугом, весь покрытый потом и пылью; за мраморным фасадом самого роскошного римского особняка скрывается крытая соломой хижина сельского жителя, а в жреце, который совершает во славу богов ритуальное заклание белой телки, живет трудолюбивый отец семейства, обеспечивающий мясом на обед и одеждой для защиты от зимних холодов.

Одно время, когда мне необходимо было заручиться благорасположением и благодарностью народа, я, бывало, устраивал сражения гладиаторов. В то время большинство их участников были преступниками, которым за их низкие деяния в любом случае полагалась либо смерть, либо высылка из страны. Я предоставлял им выбор между ареной цирка и наказанием, что было назначено судом; при этом в качестве непременного условия я поставил право побежденного бойца просить о пощаде, а также то, что по истечении трех лет гладиатор, сумевший остаться в живых, будет отпущен на свободу вне зависимости от тяжести совершенного им преступления. Меня ничуть не удивляло, что преступник, осужденный на смерть или рудники, выбирал цирк, но вот что действительно поражало меня до глубины души, так это то, что осужденный на высылку из Рима предпочитал арену цирка относительно невеликим опасностям, ждущим его в чужих краях. Меня эти развлечения никогда не привлекали, однако я заставлял себя их посещать, чтобы показать народу, что разделяю его вкусы, и с ужасом созерцал, какое неизбывное наслаждение он получал от этого кровавого зрелища, как бы внося новый смысл в собственную жизнь посредством наблюдения за тем, как другой, менее удачливый, чем они, расставался со своей. Не раз мне приходилось усмирять кровожадную жесто-

кость толпы, сохраняя жизнь храбро сражавшемуся бедолаге; при этом на лицах зрителей, в тот момент словно слившихся в одно, я читал горькое разочарование неудовлетворенной страсти. Я даже одно время приостановил зрелища, предусматривающие неминуемую смерть побежденного, и заменил их кулачными боями, в которых италиец противостоял варвару. Однако толпе это не приглянулось, и другие, желавшие купить себе обожание народа, стали устраивать зрелища настолько кровавые, что я был вынужден оставить эту свою затею с подменой и снова уступить пожеланиям моих соотечественников, дабы не потерять власти над ними.

Наблюдая за гладиаторами, возвращающимися из цирка в свои казармы, покрытыми кровью, пылью и потом, я замечал, что порой они рыдали, словно женщины, из-за совершеннейших пустяков: гибели ручного сокола, жестоких слов любовницы или потери любимого плаща. А на трибунах я видел респектабельных матрон, с искаженными лицами требующих крови злополучного бойца, а позже, в мирной домашней обстановке, с удивительной нежностью и лаской обращающихся со своими детьми и слугами.

Посему если в жилах даже самого светского римлянина неизбежно присутствует хоть капля крови его простого сельского предка, то также в них течет и горячая кровь самого дикого северного варвара, и обоим им не спрятаться за пышным фасадом, который он возвел не столько затем, чтобы отгородиться от других, сколько для того, чтобы скрыть свою истинную сущность от себя самого.

Следя за нашим неспешным продвижением на юг, мне вдруг подумалось, что гребцы, зная, что торопиться некуда, без всяких указаний с моей стороны ин-

стинктивно держались в пределах видимости берега, хотя из-за постоянно меняющегося ветра следовать неровной линии побережья было весьма непросто. Есть что-то такое в глубине италийской души, что не жалует морскую стихию, и эта неприязнь к воде является, по мнению некоторых, такой необъяснимо острой, что выходит за рамки разумного. Это нечто большее, чем простой страх или естественная склонность сельского жителя трудиться на земле и избегать любой иной работы. Потому тяга твоего беспечного друга Страбона к путешествиям по чужим морям в поисках чего-то необычного не может не поражать обычного римлянина, который отваживается покинуть пределы видимости земли только в чрезвычайных обстоятельствах войны. И тем не менее под командованием Марка Агриппы римский флот стал самым могущественным за всю мировую историю, а битвы, которые спасли Рим от врагов, произошли на море. И все же неприязнь остается. Это неотъемлемая черта италийского характера.

Сию нелюбовь к водной стихии всегда хорошо понимали поэты. Тебе знакомо небольшое стихотворение Горация, обращенное к кораблю, несущему на своем борту его друга Вергилия в Афины? Все оно построено на изящной метафоре, сущность которой заключается в том, что боги отделили одну страну от другой не поддающимися воображению глубинами океана, чтобы люди, населяющие эти страны, могли бы различаться между собой; но человек в своем упрямом безрассудстве дерзает вторгнуться на утлом суденышке в чуждую ему стихию, которую не следует понапрасну дразнить. А сам Вергилий в своей великой поэме об основании Рима никогда не говорит о море иначе, как в самых зловещих тонах: Эол* посылает свои ветра и громы в морские глубины, из которых

поднимаются волны такой высоты, что закрывают звезды; корабль раскалывается пополам, и все погружается в вечную тьму. Но даже сейчас, после стольких лет и многократных прочтений поэмы, у меня на глаза наворачиваются слезы при мысли о кормчем Палинуре, обманом завлеченном в глубины океана, где он находит свою смерть, слишком доверившись кажущемуся спокойствию моря и неба. Эней* горько оплакивает его гибель, в то время как обнаженное тело несчастного Палинура лежит, бездыханное, на неведомом берегу.

Среди многочисленных услуг, оказанных мне Меценатом, самой важной, как мне теперь кажется, было то, что он позволил мне познакомиться со своими друзьями-поэтами. То были одни из самых замечательных людей, каких мне когда-либо доводилось знать; и если римлянин, как это часто случалось, относился к ним с почти неприкрытым презрением, то причиной тому был скрывавшийся за этим презрением страх, чем-то похожий на его чувства по отношению к морю. Несколько лет назад мне пришлось выслать из Рима поэта Овидия за его причастность к некой интриге, угрожавшей поколебать устоявшийся порядок в государстве; в связи с тем, что его роль во всем этом была скорее светско-озорного, нежели зловредно-политического свойства, я постарался сделать условия его ссылки как можно менее обременительными. В ближайшее время я намереваюсь ее совсем отменить и разрешить ему вернуться с холодного севера в более умеренный и располагающий к себе климат Рима. Но даже в ссылке, в полуварварском городишке Томы, что приютился в устье реки Данувий, он по-прежнему продолжает писать стихи. Мы время от времени с ним переписываемся и находимся в достаточно дружеских отношениях; он, хотя и скучает по утехам Рима, пребывает в бодром

расположении духа. Однако из всех поэтов, которых я когда-либо знал, единственно Овидию я не могу до конца доверять. И все же я всегда его любил и продолжаю любить и поныне.

Я доверял поэтам потому, что был не способен дать им то, чего они желали. Император может поспособствовать рядовому гражданину в приобретении такого несметного богатства, которое поразит воображение даже человека с самыми изощренными вкусами и расточительными привычками; ему по силам наделить своего избранника такой властью, какой немногие рискнут воспротивиться; он способен так высоко вознести простого вольноотпущенника и пожаловать ему такие почести, что даже консул будет вынужден обращаться с ним с известной долей почтения. Я както предложил Горацию пост моего личного письмоводителя, который сделал бы его одним из самых влиятельных людей в Риме и, будь он хоть немного не чист на руку, одним из самых богатых. На это он ответил, что, к его вящему сожалению, состояние его здоровья не позволяет ему принять пост, связанный с такой огромной ответственностью. Мы оба прекрасно знали, что сия должность была скорее церемониальной, чем по-настоящему хлопотной, и здоровье у него было отменное. Я не мог на него за это обижаться; ему вполне хватало нескольких слуг и небольшого поместья, когда-то подаренного ему Меценатом, с его виноградниками, приносящего достаточно дохода, чтобы закупать отличное вино.

Я подозреваю, что мое восхищение поэтами было вызвано тем, что они казались мне самыми свободными, а посему и самыми увлеченными людьми. Я ощущал некую свою общность с ними, ибо задачи, стоящие перед ними, носили определенное сходство с той целью, которую я с самого начала поставил перед собой.

Поэт созерцает хаос бытия, столкновение случайностей и непостижимые грани возможного — иначе говоря, столь хорошо знакомый нам мир, в коем мало кто из нас берет на себя труд по-настоящему разобраться. Плодом этого созерцания становится открытие или создание некоего принципа гармонии и порядка, существующего где-то среди этого хаоса, и применение к этому открытию законов поэтики, делающих само сие открытие возможным. Нет такого военачальника, который бы с бóльшим упорством натаскивал свои войска в искусстве построения в четкие боевые порядки, чем поэт, расставляющий слова согласно строгим требованиям метра; нет такого консула, который бы с бóльшим умением настраивал одну фракцию против другой для достижения собственных целей, чем стихотворец, противопоставляющий одну строчку другой, чтобы ярче высветить истину; и ни один император не собирает воедино с таким тщанием несовместимые друг с другом составляющие мира, которым он правит, чтобы они образовали одно целое, как собирает поэт части своей поэмы, чтобы новый мир, возможно даже более реальный, чем тот, в котором мы влачим столь ненадежное существование, зажил в необъятном пространстве человеческого разума.

Мне судьбой было наказано изменить мир, написал я выше. Может быть, мне лучше следовало бы сказать, что мир был моей поэмой и я взял на себя труд собрать его разрозненные части воедино, подчинив одну фракцию другой, а затем придал полученному целому, насколько это было уместно, соответствующие привлекательные черты. Однако если мне удалось создать поэму, то такую, которой не суждено надолго пережить свое время. Лежа на смертном одре, Вергилий страстно умолял меня уничтожить его великую поэму — она не доведена до конца, говорил он, и несовершенна. Словно полко-

водец, на глазах у которого терпит поражение один легион и не подозревающий, что два других одержали победу, он считал, что потерпел неудачу; однако я нисколько не сомневаюсь, что его труд об основании Рима переживет сам Рим и уж наверняка мое жалкое творение. Я не уничтожил ее и не думаю, что Вергилий на самом деле верил, что я выполню свое обещание. Время разрушит Рим.

Лихорадка по-прежнему не оставляет меня. Час назад я почувствовал внезапный приступ головокружения, сопровождаемый острой болью в левом боку, и затем онемение. Я обнаружил, что моя левая нога, и без того слабая, почти совсем отказалась мне служить. Она еще в силах держать мой вес, но безвольно волочится по земле, стоит мне попытаться сделать несколько шагов; когда я укалываю ее острым кончиком моего стило, то ощущаю лишь слабое подобие боли.

Я до сих пор не поставил в известность о своем нездоровье Филиппа, ибо он все равно ничем не сможет мне помочь, и я предпочитаю не унижать его достоинства, вынуждая попусту тратить время и силы на тело, распад которого зашел так далеко, что никакие усилия врача уже не помогут. По прошествии стольких лет я не могу сердиться на быстро сдающее тело, ибо, несмотря на всю его слабость, оно сослужило мне добрую службу. Поэтому вполне уместно, что я присутствую при его угасании, словно у изголовья постели умирающего друга, и, пока моя душа постепенно погружается в бессмертие, каким бы оно ни было, я предаюсь воспоминаниям о смертной душе, которая при жизни не могла отделить себя от зверя, жившего в ней. Несколько месяцев назад я открыл в себе способность покидать собственное тело и как бы со стороны наблюдать это подобие меня. Не скажу, чтобы я никогда не

испытывал ничего подобного и прежде, но ныне эта моя способность представляется мне более естественной, чем раньше.

И вот, отделившись от угасающего тела, почти не замечая боли, ставшей его неразлучной спутницей, я свободно парю над невообразимо прекрасным морем, несущим мои живые останки на юг к острову Капри. Свет застывшего в точке зенита солнца играет на воде, рассекаемой носом нашего корабля; белая пена с шипением разбегается по верхушкам волн. Я пока отложу письмо в надежде, что силы хоть отчасти вернутся ко мне. Этим вечером мы остановимся в Путеолах, а завтра прибудем на Капри, где я приму участие в церемонии, которая может оказаться последней в моей жизни.

Мы стоим на рейде. Солнце только-только перевалило зенит, и вечерний туман еще не успел спрятать от взгляда морского путешественника береговую линию. Я сижу за столом и занимаю свой досуг написанием этого письма. Мне кажется, что Филипп, продолжающий внимательно следить за мной со своего наблюдательного пункта на носу корабля, начал подозревать, что состояние моего здоровья резко ухудшилось, и на его молодом лице появилось выражение тревоги и озабоченности. Он время от времени с беспокойством поглядывает на меня своими карими глазами из-под прямых и тонких, словно у женщины, бровей. Я не знаю, как долго мне еще удастся скрывать от него мое состояние.

Мы бросили якорь в небольшой бухте чуть севернее Путеол; дальше к северу лежит Неаполис, где находится прорытый Марком Агриппой канал, соединивший море с Лукринским озером, где римский флот мог проводить маневры, не опасаясь капризов погоды и нападения

пиратского флота Секста Помпея. Одно время в этой удаленной от моря гавани проводились учения, в которых одновременно принимало участие до двухсот кораблей, что позволило им в дальнейшем разгромить Секста Помпея и спасти от голодной гибели Рим. Но за годы мира канал, брошенный на произвол судьбы, постепенно зарос илом и, как я понимаю, теперь превратился в устричную банку, чтобы римская знать могла еще больше наслаждаться прелестями своей новой жизни. С того места, где мы стоим, мне ничего этого не видно, чему я не могу не радоваться.

Не так давно мне пришла в голову мысль, что, возможно, надлежащими условиями существования человека, то бишь теми, при которых он может проявить себя с самой лучшей стороны, являются вовсе не мир, процветание и гармония, которые я, не жалея усилий, старался принести Риму. В начальные годы моего правления я находил в моем соотечественнике немало достойных восхищения черт: в период лишений он не жаловался и порой даже был весел; во время войны он больше тревожился за жизнь товарища, чем за свою собственную, а в разгар неурядиц был решителен и предан римской власти в любых землях, на которые она, по его мнению, распространялась в тот момент. Вот уже больше сорока лет мы живем в мирном Риме: за эти годы ни разу римлянин не поднял меча на своего собрата; не было случая, чтобы нога враждебного варвара безнаказанно ступила на италийскую землю, и никто не смел принудить римского воина взяться за оружие помимо его воли. Мы живем во времена процветания Рима: ни один обитатель его, каким бы низким ни было его положение, ни дня не остался без положенной ему меры зерна; житель провинции больше не живет в постоянном страхе голода или природного бедствия, ибо всегда может рассчитывать на помощь в случае несча-

стья; любой гражданин независимо от происхождения имеет возможность разбогатеть, насколько позволяют ему его способности и игра случая. И еще мы живем в Риме, где царит порядок: я организовал судопроизводство таким образом, что теперь любой человек может обратиться к магистрату с уверенностью, что найдет у него хоть какое-то, но правосудие; я упорядочил законы империи так, чтобы даже в глухой привинции люди могли жить спокойно, не опасаясь тирании единоличной власти или алчного корыстолюбия; я обезопасил государство от грубой силы честолюбца, предложив и проведя в жизнь те самые законы о государственной измене, которые Юлий Цезарь огласил накануне своей смерти.

Однако ныне я замечаю на лице римлянина выражение, которое, боюсь, не сулит ему ничего хорошего в будущем. Больше не удовлетворяясь добродетельной и спокойной жизнью, он снова склоняется к дурным привычкам прошлого, которые однажды уже чуть не привели к гибели Римское государство. И, несмотря на то что я освободил людей от тирании власти и происхождения и дал им возможность открыто выражать свое мнение, не страшась наказания, *«народ и римский сенат дважды предлагали мне стать диктатором: первый раз в мое отсутствие — я в тот момент находился на Востоке* (после разгрома Марка Антония при Акции), *а затем в консульство Марка Марцелла и Луция Аррунция, после того, как на свои собственные средства я спас Италию от голода, восстановив ее зерновые запасы. В обоих случаях я отказался от этой чести»*, чем навлек на себя всеобщее неудовольствие. А ныне сыновья сенаторов, от которых следовало бы ожидать честной службы на благо своих соотечественников или хотя бы самих себя, шумно требуют позволить им, рискуя жизнью, биться на арене цирка с обычными гладиаторами, находя в

этом щекочущее нервы развлечение. Так римская храбрость обратилась в прах.

Созданная Марком Агриппой гавань ныне поставляет устриц к столу римского сибарита, тела честных римских воинов удобряют его роскошные сады с их аккуратно подстриженными деревьями и кустами, а слезы солдатских вдов питают его весело сверкающие в лучах яркого италийского солнца фонтаны. А тем временем на севере терпеливо ждет своего часа свирепый варвар.

Варвар ждет. Пять лет назад в той части германской границы, что проходит по Верхнему Рейну, Рим постигла беда, от которой он до сих пор не оправился; возможно, то было предвестие ждущей его судьбы.

От северных берегов Понта Эвксинского до восточного побережья Германского океана, от Мезии до Белги на протяжении более чем тысячи миль Италия остается не защищенной никакой естественной преградой от воинственных германских племен. Разбить их невозможно, как невозможно и убедить отказаться от привычки к набегам и грабежам. Моему дяде это не удалось, как, впрочем, и мне за все долгие годы моего пребывания у власти. Посему я видел настоятельную необходимость укрепить данную границу, дабы защитить как наши северные провинции, так в конечном итоге и сам Рим. Самой уязвимой частью границы была северо-западная область, примыкающая к Рейну, где находились особенно богатые и плодородные земли. Поэтому из двадцати пяти легионов, насчитывавших примерно сто пятьдесят тысяч воинов, стоявших на страже границ империи, пять, состоявших из наиболее опытных ветеранов, я отрядил на защиту этого небольшого участка. Командовал ими Публий Квинтилий Вар, до того с успехом занимавший должности проконсула в Африке и наместника в Сирии.

Я полагаю, ответственность за случившееся целиком падает на мои плечи, ибо я позволил убедить себя отдать командование германскими легионами Вару. Он являлся дальним родственником моей жены, и в прошлом ему случалось оказывать услуги Тиберию. Это была одна из самых серьезных ошибок, когда-либо совершенных мной, и единственным случаем в моей жизни, когда я доверил такой высокий пост человеку, которого плохо знал.

Ибо среди грубых и примитивных нравов этой приграничной северной провинции Вар возомнил, что может, как в Сирии, по-прежнему жить в роскоши и довольстве; он чуждался своих воинов, больше доверяя местным германским вождям, столь гораздым на лесть, которые к тому же умели предложить ему некое подобие тех чувственных удовольствий, к коим он привык в Сирии. Самым искусным среди всех этих льстецов был некий Арминий, король херусков, когда-то служивший в римской армии, за что получил в награду римское гражданство. Арминий, свободно говоривший на латыни, несмотря на свое варварское происхождение, проник в доверие к Вару, дабы во имя собственных честолюбивых устремлений подчинить своей власти разрозненные германские племена. Убедившись в легковерии и тщеславии Вара, он вероломно уверил его в том, что дальние племена кауци и бруктериев подняли мятеж и словно лавина катятся на юг в направлении границы провинции. Вар, в своем высокомерии и безрассудстве не желавший прислушаться к советам других, забрал два легиона из летнего лагеря на реке Визургис и вышел с ними на север. Арминий все хорошо рассчитал: когда Вар со своими легионами пробивался через леса и болота в сторону Лемго, племена варваров, заранее предупрежденные и подготовленные Арминием, неожиданно напали на завязшие в трясине леги-

оны. Захваченные врасплох, неспособные к организованному сопротивлению и непривычные к густым лесам, дождю и болотистой почве, они были полностью уничтожены. В течение трех дней погибло или попало в плен пятнадцать тысяч солдат; многих пленных варвары живьем зарыли в землю, других распяли, а некоторых принесли в жертву своим северным богам, отрубив им головы и развесив на деревьях в священных рощах. Менее чем ста воинам удалось избежать засады — они-то и рассказали о случившемся несчастье. Вар или погиб в сражении, или покончил с собой — точно никому не известно. Как бы то ни было, его отрубленную голову доставил ко мне в Рим племенной вождь по имени Маробод — движимый почтительным состраданием или торжествующим злорадством, не могу сказать. Я позволил похоронить жалкие останки Вара со всеми полагавшимися почестями не столько ради его собственной души, сколько ради римских воинов, на которых он навлек беду. А варвар по-прежнему ждет.

После победы на Рейне Арминию не хватило ума развить свой успех; весь север — от устья Рейна почти до самого его слияния с Эльбой — лежал перед ним, ничем не защищенный, однако он удовлетворился привычными набегами на соседей. На следующий год я поставил Тиберия командовать германскими армиями, ибо именно он уговорил меня назначить Вара на этот пост. Он понимал, что часть ответственности за поражение лежит на нем, и знал, что его собственное будущее зависело от того, насколько успешной будет его попытка усмирить германцев и восстановить порядок в неспокойных северных провинциях. В этом его предприятии ему сопутствовал успех, в немалой степени потому, что он больше полагался на опыт ветеранов — центурионов и трибунов своих легионов,— нежели на

собственную инициативу. Так что теперь на севере установился тревожный мир, хотя Арминий по-прежнему остается на свободе, скрываясь где-то в густых лесах за пределами границы, покой которой он так злонамеренно нарушил.

Говорят, что далеко на востоке, за Индией, в том загадочном мире, куда не ступала нога римлянина, лежит страна, цари которой за годы правления бесчисленных династий построили огромную крепостную стену, что тянется на сотни миль вдоль всей их северной границы, защищая это царство от набегов варваров-соседей. Может быть, эта история — всего лишь выдумка какого-нибудь искателя приключений и такой земли вовсе и не существует. Тем не менее, должен признаться, ко мне не раз закрадывалась мысль о подобном предприятии, когда я думал о наших северных соседях, кои не поддаются ни покорению, ни попыткам их умиротворить. И все же я понимаю, что стена тут не поможет. Со временем дожди и ветра подточат даже самый твердый камень, и, кроме того, нет на свете такой стены, которая могла бы защитить человека от него самого.

Ибо винить тут нужно не Арминия и его орды, а Вара, по слабости своей допустившего, чтобы пятнадцать тысяч римских воинов были, словно скот, перерезаны среди далеких северных лесов и болот, а также римского сибарита, который своей пустой и никчемной жизнью способствует убийству тысяч других. Варвар ждет, а мы тем временем становимся все слабее, упиваясь жизнью, полной праздности и наслаждений.

Снова наступила ночь, вторая за время этого путешествия, которое, как мне с каждым часом становится все яснее, вполне может оказаться моим последним. Я не думаю, что мой разум угасает вместе с телом, но

должен признаться, что темнота ночи объяла меня прежде, чем я успел заметить ее приближение, обнаружив, что сижу на палубе, уставившись невидящим взглядом на запад. Тогда-то Филипп, не в силах больше скрывать своей тревоги, обратился ко мне в своей несколько грубоватой манере, за которой столь очевидно скрывается его стеснительность и неуверенность в себе. Я позволил ему положить руку мне на лоб, чтобы определить, насколько далеко зашла моя лихорадка, и ответил на несколько его вопросов, утаив при этом правду,— нельзя не добавить. Но когда он попытался настоять на том, чтобы я удалился в свою каюту под палубой, дабы не подвергать себя опасности пагубного воздействия прохладного ночного воздуха, я сыграл роль своенравного и капризного старика, изобразив гнев. При этом я вложил в свою роль столько страсти, что сумел убедить Филиппа в своем благополучии; посему он удовлетворился тем, что послал вниз за несколькими одеялами, в которые я обещал завернуться. Он решил остаться на палубе, чтобы держать меня в поле зрения, но вскоре его сморил сон, и теперь, свернувшись калачиком на голой палубе и положив под голову руки, полный трогательной веры и наивности юности, он крепко спит, убежденный в том, что проснется на следующее утро.

Сейчас я не вижу тот остров, но ранее, перед тем как вечерний туман, поднимающийся с моря, заволок горизонт на западе, мне показалось, что я сумел различить его очертания — небольшое темное пятно на фоне безбрежного моря. Мне кажется, я видел остров Пандатерию, где моей дочери пришлось провести столько долгих лет в ссылке. Ее там больше нет — десять лет назад я рассудил, что ей можно вернуться на материковую часть Италии; ныне она проживает в калабрийской деревушке Регий, на самом кончике

италийского сапога. Вот уже более пятнадцати лет я не видел ее, не называл ее по имени и не позволял в своем присутствии упоминать о ее существовании, ибо все связанное с ней причиняло мне невыразимую боль. Это молчание было всего лишь еще одной из многочисленных ролей, которые мне приходилось играть всю свою жизнь.

Мои враги находили вполне понятное удовольствие в мысли о том, что по злой иронии судьбы мне в конце концов пришлось применить пресловутые законы о браке, выдвинутые мной и принятые сенатом почти тридцать лет назад, те самые законы, которые даже мои друзья порой находили абсурдными. Гораций как-то сказал мне, что законы бессильны против страстей человеческих и только тот, у кого нет власти над ними — поэт или философ,— способен склонить сердце человека к добру. Возможно, в данном случае и друзья и враги правы: мои законы не сумели вернуть людей на путь добродетели, а политические преимущества, которые я приобрел, потрафив вкусам более зрелых и консервативных представителей аристократии, оказались преходящими.

Я никогда не был настолько глуп, чтобы поверить, что законам о браке и прелюбодеянии будут подчиняться,— ни я сам, ни мои друзья этого не делали. Вергилий, обращаясь к небесам с мольбой о помощи в написании «Энеиды», по-настоящему ведь и не верил в музу, к коей столь страстно взывал,— просто таким образом было принято начинать поэмы, как бы заранее объявляя о своих намерениях. Так и выдвинутые мной законы предполагали не столько безоговорочное им подчинение, сколько сознательное следование; я полагал, что добродетель немыслима без осознания самой ее идеи, а эта последняя не может существовать без того, чтобы быть не записанной в законе.

Я конечно же ошибался — мир вовсе на поэма, и моим законам не суждено было выполнить свое предназначение. Но в конечном итоге они все-таки сослужили мне службу, хотя и не так, как я предполагал, и я до сих пор не жалею, что ввел их, ибо они спасли жизнь моей дочери.

По мере того как человек становится старше и мир начинает все меньше и меньше занимать его, он все чаще задумывается о том, что двигало им в жизни. Не приходится сомневаться, что богам нет дела до жалкого создания, что, спотыкаясь, бредет навстречу своей судьбе; знамения их столь неопределенны, что в конечном итоге бедный человек вынужден сам для себя решать, что они предвещают. В качестве верховного жреца я за свою жизнь изучил внутренности и печень сотен различных животных, с помощью авгуров* находя или изобретая знамения, соответствующие моим намерениям, и в конце концов придя к выводу, что боги, даже если они и существуют, ничего не значат. И если я поощрял веру народа в древних римских богов, то делал это скорее по необходимости, чем из благоговейного убеждения в том, что они действительно обладают той властью, что им приписывается... Возможно, ты все-таки был прав, мой дорогой Николай; возможно, на свете есть только один бог. Но если это так, то ты неверно назвал его, ибо имя ему — Случай, а жрец его — человек, и последней жертвой, которую он должен принести, является он сам, его собственное, раздираемое противоречиями «я».

Как и многое другое, поэты знают это лучше, чем большинство других смертных, однако они облекают свое знание в слова, которые иным могут показаться тривиальными. В прошлом я соглашался с тобой, что они слишком много рассуждают о любви, придавая чересчур важное значение тому, что в лучшем случае

является не более чем приятным времяпрепровождением; однако ныне я вовсе не так твердо уверен, что ты был прав. «Люблю и ненавижу»,— писал Катулл, говоря о той самой Клодии Пульхре, чье семейство доставило так много хлопот Риму даже в наше время, по прошествии стольких лет после ее смерти. Этого конечно же недостаточно, но как еще можем мы начать познавать то свое «я», которое никогда до конца не бывает довольно или, наоборот, недовольно тем, что может предложить нам мир?

Прости меня, дорогой Николай,— я знаю, что ты не согласишься со мной, однако лишен возможности выразить это свое несогласие. Но вот что любопытно: в последние годы мне иногда казалось, что все-таки возможно построить теологическую систему или религию, в основе которой будет лежать идея любви, если вывести эту идею за пределы ее обычного понимания и особым образом к ней подойти. Теперь, когда любовь мне уже недоступна, я занялся изучением той таинственной силы, что в столь многих ипостасях жила во мне на протяжении многих лет. Может быть, имя, которое мы даем этой силе, не отражает ее истинной сущности, как и имена, нашедшие выражение в словах и не нашедшие, которые мы даем самым рядовым богам.

Я пришел к выводу, что в жизни каждого человека рано или поздно наступает момент, когда ему открывается — вне зависимости от того, как много он знает и умеет ли выразить это свое знание,— наполняющая его ужасом истина, что он один в этом мире, брошенный на произвол судьбы, и ему не дано стать не кем другим, как этим жалким созданием — собой. Я гляжу на свои худые ноги, на усохшую кожу моей руки, на дряблую плоть в старческих пятнах, и мне трудно представить, что когда-то это тело жаждало избавле-

ния от самого себя, чтобы в едином порыве слиться с другим, которое желало того же. Этому мгновению наслаждения некоторые посвящают всю свою жизнь, обрекая себя на чувство горечи и пустоты, когда тело их неизбежно начинает сдавать. Они полны горечи и пустоты, ибо изведали только само наслаждение, но не знали его сути. Ибо в противоположность тому, что мы привыкли думать, эротическая любовь является самой бескорыстной из всех многочисленных разновидностей любви; она стремится к слиянию с другим телом, а значит, к тому, чтобы вырваться из собственной бренной оболочки. Такая разновидность любви естественно и умирает самой первой, угасая вместе с телом, в котором заключена; вот потому-то многие и считают ее самой примитивной формой любви. Но тот факт, что ей суждено умереть и что нам об этом известно, делает ее еще более драгоценной — ведь, познав ее, мы уже больше не замкнуты, словно в тюрьме, внутри самих себя.

Но одной ее недостаточно. Я любил многих мужчин, но никогда так, как любил женщин; ты сам с недоумением и, как мне кажется, с отвращением наблюдал, сколь распространена среди мужского населения Рима любовь к красивым мальчикам, и никак не мог взять в толк, почему я так терпимо относился к сей нездоровой практике, притом что сам этим не увлекался. Но тот род привязанности, который зовется дружбой, всегда казался мне самым свободным от плотских вожделений, ибо, лаская тело, принадлежащее существу того же пола, человек ласкает самого себя, а значит, не покидает своего тела, а остается заточенным в нем. Ибо любовь к другу не превращает тебя в него — ты остаешься самим собой, свободный размышлять о непознаваемой тайне того, кем тебе никогда не стать, или тех, кем ты никогда не был. Любовь к ребенку можно

назвать самой чистой формой такой тайны, ибо в нем скрыты такие возможности, которые трудно себе даже представить, то самое «я», что более всего удалено от наблюдателя. Моя любовь к приемным детям и собственным внукам часто была объектом насмешливого удивления среди тех, кто меня знал, и воспринималась как позволительная слабость во всех других отношениях вполне трезво мыслящего человека, некая трогательная сентиментальность обычно весьма требовательного отца.

Однажды, много лет назад, я спускался по Священной улице в сторону здания сената, где мне предстояло выступить с речью, осуждающей мою дочь на вечную ссылку, и встретил женщину, которую знал еще ребенком. Ее звали Гирция, и она была дочерью моей кормилицы. Эта Гирция ухаживала за мной, как если бы я был ее собственным сыном, и впоследствии за свою верную службу получила свободу. Мы не виделись с ней почти пятьдесят долгих лет, и я не узнал бы в этой согбенной старухе свою первую приемную мать, если бы с ее губ не сорвалось имя, столь знакомое мне когда-то. Мы стали говорить о нашем детстве, и на мгновение я забыл про свои года; в печали своей я чуть было не раскрыл Гирции то, что мне предстояло сделать в тот день. Когда же она заговорила о своей жизни, о детях и я увидел, с каким безмятежным чувством возвращалась она памятью к месту, где родилась, чтобы унести с собой в могилу приятные воспоминания о прошедшей юности, комок застрял у меня в горле. Во имя Рима и своей власти я должен был осудить собственную дочь; и вдруг я подумал, что если бы перед Гирцией стоял такой выбор, то Рим бы пал, но ее дитя осталось бы в живых. Я молчал, ибо знал, что Гирция не поймет неизбежности моего выбора и это лишь отравит ее последние

мгновения на этой земле. На короткое время я снова стал ребенком, лишившись дара речи перед лицом мудрости, которой не мог постичь.

После этой встречи с Гирцией мне пришло в голову, что существует еще одна разновидность любви, более могучая и долговечная, чем тот непрочный союз, что завлекает нас обещанием чувственных утех, или та платоническая любовь, что заставляет нас задуматься о тайне другого и таким образом стать собой. Любовницы стареют или приедаются, плоть теряет силу, друзья умирают, а дети раскрывают — и, таким образом, предают — то, что в них изначально было заложено и на что мы сами открыли им глаза. Это любовь, с которой ты, дорогой Николай, прожил большую часть своей жизни, та самая любовь, которая приносила больше всего радости нашим поэтам,— любовь ученого к своему предмету, философа — к своей идее, поэта — к своему слову. Потому-то Овидий и не страдает от одиночества в далеком северном городке Томы, как и ты в своем неблизком Дамаске, куда ты удалился, решив посвятить оставшиеся годы жизни твоим книгам. Такой чистой любви не нужен живой объект, и поэтому она повсеместно считается высшей формой любви, ибо объект ее близок к совершенству.

Однако, с другой стороны, она в какой-то степени может рассматриваться и как самая примитивная разновидность любви, ибо если мы отбросим высокопарные слова, столь часто окружающие данное определение, то окажется, что это просто-напросто любовь к власти. (Еще раз прости меня, дорогой Николай,— представь себе, что мы ведем одну из наших полных софизмов бесед, которыми, бывало, с тобой забавлялись.) Это власть философа над бесплотным разумом его читателя, власть поэта над живым умом и сердцем его слушателя. И если разум, сердца и души тех, кто

подпал под чары сей самодовлеющей власти, возносятся к неизмеримым высотам совершенства, то сие всего лишь случайность, вовсе не являющаяся непременным атрибутом этой любви или даже ее следствием.

Я начал постепенно понимать, что именно данный род любви был моей главной движущей силой все эти годы, хотя я и был вынужден скрывать сей факт как от себя самого, так и от других. Сорок лет назад, когда мне пошел тридцать шестой год, сенат и народ Рима присвоили мне звание Августа; через двадцать пять лет, когда мне исполнилось шестьдесят, в тот год, когда я навечно выслал из Рима свою дочь, народ и сенат даровали мне титул отца отечества. Все было предельно просто: я обменял одну дочь на другую, и моя приемная дочь подтвердила этот обмен.

Там, на западе, далеко во тьме лежит остров Пандатерия. Маленький домик, где Юлия проживала пять лет, стоит необитаем и, согласно моим указаниям, заброшен, открытый ветрам и медленной эрозии времени; через несколько лет камень начнет разрушаться, и время приберет его, как прибирает все. Я надеюсь, Юлия простила мне то, что я сохранил ей жизнь, как я простил ей то, что она помышляла отнять у меня мою.

Да, слухи, которые должны были дойти и до тебя, абсолютно верны: моя дочь была участницей заговора, целью которого было убийство ее мужа, а также и меня. Я обратился к законам о браке, столь долго пылившимся в архивах сената без употребления, и осудил Юлию на пожизненную ссылку, дабы не допустить того, чтобы она была осуждена на смерть тайными происками ее мужа Тиберия, собиравшегося привлечь ее к суду по обвинению в государственной измене.

Я часто спрашиваю себя: признала ли моя дочь хотя бы перед самой собой всю степень своей вины? В последний раз, когда я видел ее, она, потрясенная и опе-

чаленная смертью Юла Антония, была на это не способна. Я надеюсь, она так и останется в неведении о своей истинной роли в этих событиях и проживет остаток своей жизни в уверенности, что стала жертвой страсти, приведшей ее к падению, нежели участницей заговора, который непременно привел бы к гибели ее отца и почти наверняка погубил бы Рим. Первое я еще мог допустить, но второе — ни в коем случае.

Я давно оставил все недобрые мысли о своей дочери, ибо пришел к пониманию, что, несмотря на ее причастность к заговору, в Юлии всегда жила маленькая девочка, глубоко привязанная к слепо любящему ее отцу, которая не могла в ужасе не отшатнуться от того, на что ее толкали обстоятельства; и эта Юлия, сидючи одна в печальном уединении Регия, до сих пор не может забыть любящую дочь, которой она когда-то была. Я понял, что можно желать смерти другому, и в малой степени не поступившись любовью к своей жертве. Одно время я имел обыкновение называть ее «моим маленьким Римом», что было многими истолковано превратно; на самом деле это ласковое прозвище обозначало мое стремление найти в Риме те же скрытые возможности, какие я находил в ней. В конечном итоге они оба предали меня, но я все равно не могу не любить их.

К северу от места нашей стоянки — Лукринское озеро, в свое время углубленное руками честных италийцев, дабы вновь рожденный римский флот был достаточно хорошо подготовлен, чтобы защитить свой народ, теперь поставляет устриц к столам римской знати; Юлия прозябает в Регии, на бесплодном побережье Калабрии; а Тиберий правит миром.

Я зажился на свете. Никого из тех, кто мог бы прийти мне на смену и не жалел сил ради благополучия

Рима, нет в живых: Марцелл, первый муж моей дочери, умер в девятнадцать лет; Марк Агриппа тоже умер; мои внуки Гай и Луций, сыновья Агриппы, погибли, выполняя свой долг перед Римом; другой сын Ливии — Друз, которого я воспитал как собственное дитя и гораздо более способный и уравновешенный, чем его брат Тиберий, скончался в Германии. Остался один Тиберий.

У меня нет ни тени сомнения, что Тиберий, более чем кто-либо другой, виноват в том, что случилось с моей дочерью. Он без всяких колебаний обвинил бы ее в попытке покушения как на свою жизнь, так и на мою и всей душой радовался бы решению сената осудить ее на смерть, надев при этом маску печали и сожаления. Я не могу не презирать Тиберия. Его душа полна горечи, причины которой никто не может понять, а сердце — какой-то врожденной жестокости, ни на что конкретно не направленной. Однако он обладает сильной волей и при этом достаточно умен, а что касается жестокости, то для императора это гораздо менее опасный недостаток, чем слабоволие или глупость. Посему я отдал Рим на милость Тиберия и судьбы. Ничего другого мне не остается.

Одиннадцатое августа

В течение всей ночи я не сошел со своего ложа, откуда наблюдал за звездами, медленно проплывающими у меня над головой в их вечном странствии по необъятному небосводу. Ближе к рассвету, впервые за многие дни, я задремал, и мне приснился сон. Я находился в том странном состоянии, когда видишь сон и знаешь, что это всего лишь сон, но при всем при том узнаешь в нем реальность, которая является пародией на твою собственную жизнь. Я пытался запомнить

неясные очертания этого другого мира, но когда проснулся, мой сон растворился в ярком свете наступившего дня.

Меня разбудило движение на палубе моей команды и доносившиеся откуда-то издалека звуки пения; спросонья мне в голову было пришла мысль о сиренах, столь красочно описанных Гомером, и я представил себя, привязанного к мачте моего корабля, бессильно внимающего их невообразимо прекрасным призывам. Однако то были не сирены, а торговое судно-зерновоз из Александрии, которое медленно двигалось в нашу сторону с юга; члены его египетской команды, одетые в белые одежды и с венками на головах, стояли на палубе и пели протяжную песню на своем родном языке; легкий утренний бриз доносил до нас пряный запах благовоний.

Мы в недоумении следили за их приближением, пока наконец огромный корабль, рядом с которым наша посудина казалась совсем крошечной, не подошел так близко, что мы могли разглядеть улыбающиеся смуглые лица его матросов; затем вперед вышел капитан и отдал мне салют, назвав при этом по имени.

Не без усилия, которое, смею надеяться, мне удалось скрыть даже от Филиппа, я поднялся со своего ложа и подошел к поручню, опершись на который ответил на приветствия капитана. Выяснилось, что, когда корабль стоял под разгрузкой в гавани между Путеолами и Неаполисом, капитан прознал о моем нахождении неподалеку и по настоянию команды прежде, чем вернуться домой в далекий Египет, решил встретиться со мной, чтобы выразить свою благодарность. Мы находились так близко друг от друга, что мне даже не пришлось напрягать голос и я хорошо видел загорелое лицо капитана. Я спросил, как его зовут. Он сказал, что

Потелиос. Под мелодичное пение своей команды Потелиос произнес:

— Ты подарил нам возможность свободно бороздить водные пространства и поставлять Риму дары щедрой египетской земли; ты избавил моря от пиратов и разбойников, которые в прошлом не позволяли нам воспользоваться этой возможностью. И ныне египетский римлянин благоденствует, уверенный в том, что благополучно вернется на родину и что лишь своенравные волны или ветра могут угрожать его безопасности на море. За все это мы благодарим тебя и молим богов, чтобы они были милостивы к тебе до конца твоих дней.

На мгновение я потерял дар речи. Потелиос обращался ко мне на неуклюжей, но вполне сносной латыни, и я подумал, что еще каких-то тридцать лет назад он говорил бы на своем жутком египетско-греческом и мне стоило бы больших трудов понять его. В ответ я поблагодарил капитана и сказал несколько слов команде, дав указание Филиппу проследить за тем, чтобы каждый член ее получил несколько золотых монет. Затем я вернулся обратно на свое ложе, откуда наблюдал, как огромное судно неспешно развернулось и стало медленно удаляться на юг, поймав попутный ветер в паруса, унося на своем борту смеющуюся и весело машущую нам на прощание команду, в счастливом предвкушении благополучного возвращения домой.

Теперь настала очередь и нам направиться к югу на нашем значительно менее неуклюжем суденышке, беззаботно пляшущем на волнах. Солнечный свет отражается в брызгах пены, увенчивающей верхушки мелких волн, которые с нежным шепотом плещутся о борта корабля; зелено-голубое море кажется почти игривым; и мне все-таки удается убедить себя, что в конце концов и в моей жизни была определенная гармония, некая

высшая цель, и что своим существованием я принес больше пользы, чем вреда, этому миру, который рад оставить навсегда.

Ныне в мире царит римский порядок. Но на севере затаился и ждет германский варвар, на востоке — парфянский, а также множество других, нам пока неизвестных; и если Рим не падет под их ударами, то в конечном итоге погибнет под натиском варвара, от которого никому нет спасения,— Времени. Но пока он держит верх, и в течение еще скольких-то лет римский порядок будет жить, как живет он в каждом маломальски значительном италийском городе, в каждой провинции и каждой колонии: от Рейна и Данувия — до границ Нумидии, от Атлантического побережья Испании и Галлии — до аравийских песков и Понта Эвксинского. По всему миру я открыл школы, чтобы люди изучали латынь и знали римские порядки, и заботился о том, чтобы школы эти не нуждались в средствах; римское право умеряет беззаконную жестокость провинциальных нравов точно так же, как обычаи провинций смягчают суровость римских законов; и мир в благоговейном страхе взирает на Рим, который я принял глиняным, а оставляю мраморным.

Сейчас мне кажется, что мои сетования безосновательны. Рим вечен, но это не имеет значения. Рим падет — и это неважно. Варвар победит — ну и что? Было время Рима, и оно не пройдет без следа; варвар сам станет Римом, который он покорил; напевная плавность латыни сгладит его грубую речь, а образы величия и красоты, которые он разрушит, навсегда останутся жить в его душе. А для времени, бесконечного, как это соленое море, в котором затерялся мой хрупкий челн, гибель империи — ничто, меньше чем ничто.

Мы приближаемся к острову Капри, который сияет, словно драгоценный камень в лучах утреннего солнца, темно-зеленым изумрудом возникая из голубого моря. Ветер почти совсем спал, и мы медленно, словно по воздуху, подплываем к этому тихому и спокойному уголку, где я провел немало счастливых часов. Обитатели острова — мои соседи и друзья — уже начали собираться на пристани; они машут нам руками, и я слышу их веселые голоса, звоном отдающиеся в утренней тишине. Сейчас я встану и поприветствую их.

Сон, Николай, я вспомнил сон, что приснился мне давеча. Я снова был в Перузии во время восстания Луция Антония против власти Рима. Всю зиму мы держали город в осаде, надеясь вынудить Луция к сдаче, чтобы избежать бессмысленного пролития римской крови. Мои воины, измотанные долгим ожиданием, пали духом; назревал мятеж. Чтобы возродить в них надежду, я приказал соорудить неподалеку от городских стен алтарь для принесения жертвы Юпитеру. И вот что случилось дальше в моем сне.

Служители подводят к алтарю белого быка с позолоченными рогами, никогда не знавшего ярма или плуга. Его не приходится тянуть насильно — он идет по своей воле, высоко неся голову, украшенную лавровым венком. У него голубые глаза, и мне кажется, что он наблюдает за мной, словно заранее зная, кто будет его палачом. Служитель разламывает кусок соли у него над головой — бык не шевелится; затем служитель, попробовав вино, выливает его между рогов быка — тот по-прежнему стоит как вкопанный. Наконец служитель говорит:

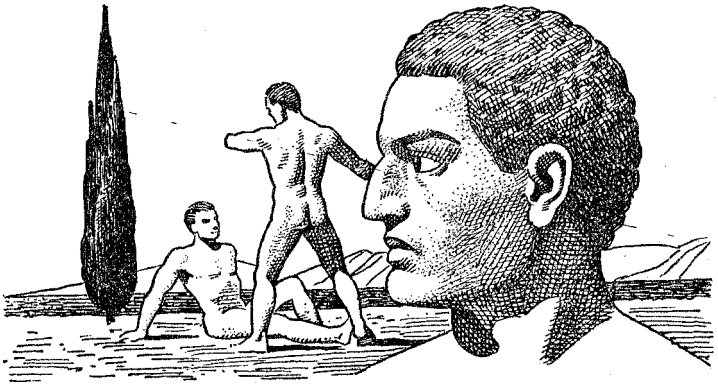
— Начнем?

Я поднимаю топор; голубые глаза по-прежнему внимательно смотрят на меня; топор опускается, и я говорю:

— Готово.

По телу быка пробегает дрожь, ноги его подкашиваются, и он медленно опускается на колени, все так же высоко держа голову и не спуская с меня своих голубых глаз. Служитель достает кинжал и перерезает ему глотку, собирая кровь в специальный сосуд. Но и истекая кровью, бык продолжает смотреть меня, пока наконец глаза его не стекленеют и он не заваливается на бок.

Это было больше пятидесяти лет назад; мне шел двадцать третий год. Странно, что через столько лет мне вдруг приснился об этом сон.



Эпилог

Письмо: Филипп Афинский — Луцию Аннею Сенеке из Неаполиса (55 год после Р.Х.)

Дорогой мой Сенека, меня удивило и порадовало твое письмо. Я надеюсь, что ты простишь мне задержку с ответом — оно застигло меня в Риме в тот самый день, когда я покидал город, и я только сейчас начал осваиваться на новом месте. Тебе будет приятно узнать, что я воспользовался советом, высказанным тобой как лично, так и в письмах, и оставил суету и волнения медицинской практики, чтобы посвятить себя мирному и достойному занятию наукой, дабы поделиться с другими теми скромными знаниями, кои я накопил за годы своей деятельности в качестве врача. Я пишу эти строки на своей вилле под Неаполисом; солнечный свет, пробивающийся сквозь цветущие виноградные кусты, которые ажурной аркой нависают над моей террасой, яркими бликами пляшет на лежащем передо мной куске пергамента, и я вполне счастлив в своем уединении, как ты мне и обещал. Посему я хочу поблагодарить тебя за эти твои заверения и за то, что они оказались не пустыми.

На протяжении долгих лет наши с тобой дружеские отношения оставались весьма непостоянными. Я не могу не испытывать к тебе благодарности за то, что ты меня помнишь и тактично обходишь молчанием тот факт, что я не замолвил за тебя слова в то несчастливое для тебя время, которое ты был вынужден провести в бесплодной глуши Корсики; я полагаю, ты лучше, чем большинство других людей, понимал, что бедный лекарь, не имеющий в этом никакой власти,— да будь то хоть сотня таких, как он,— не смог бы изменить волю такого непредсказуемого человека, как наш покойный император Клавдий. Все те из нас, кто все это время продолжал, пусть и молчаливо, восхищаться тобой, в восторге от того, что звезда твоего гения снова засияет на римском небосклоне, в городе, который ты всегда любил.

Ты просишь меня рассказать о том, о чем мы говорили с тобой во время наших столь нечастых встреч,— о моем кратком знакомстве с императором Цезарем Августом. Я более чем счастлив оказать тебе эту услугу, но должен признаться, что сгораю от любопытства: можем ли мы ожидать нового эссе? или эпистолы*? а может быть, даже трагедии? Я с нетерпением буду ждать от тебя словечка о том, как ты думаешь распорядиться моими сведениями.

Когда мы раньше беседовали с тобой об императоре Августе, то,— возможно, из желания добиться твоего расположения, чему, как я полагал, будет способствовать твое неудовлетворенное любопытство,— я, преследуя собственные корыстные интересы, был нарочито скрытен и неопределенен в том, что касалось интересующих тебя сведений. Ныне же, в свои шестьдесят шесть лет — что на десять лет меньше, чем было Октавию Цезарю, когда он умер,— я, как мне кажется, уже достиг того возраста, когда можно позабыть о пустом тщесла-

вии, которое ты столь гневно клеймил в людях, делая любезное исключение для меня. Я без утайки поведаю тебе все, что помню.

Как ты знаешь, я был личным врачом Октавия Цезаря всего несколько месяцев, но в течение этого короткого времени я неотлучно находился при нем, всегда оставаясь в достаточной близи на тот случай, если он меня позовет, и был рядом с ним, когда он умер. Мне до сих пор непонятно, почему в те несколько месяцев, которые, как он хорошо знал, должны были стать последними в его жизни, он именно мне доверил свое здоровье, хотя вокруг было полно гораздо более известных и опытных врачей, чем я; в ту пору мне было всего двадцать пять лет. Тем не менее он выбрал меня; я по молодости не мог понять причины этого странного решения, но подозреваю, что он был ко мне неравнодушен, скрывая свои чувства за несколько необычной и бесстрастной манерой. И хотя я был не в состоянии ничем помочь ему в его последние дни, он позаботился о том, чтобы после его смерти я никогда не нуждался в деньгах.

После занявшего несколько дней неторопливого путешествия из Остии на юг мы высадились на Капри; было совершенно очевидно, что силы его оставляют, но он не хотел показаться неучтивым и потому не счел возможным оставить без внимания то, что на пристани собралась толпа народу, чтобы поприветствовать его. Он остановился перекинуться с ними парой слов, называя всех по имени, хотя иногда в приступе слабости ему и приходилось опираться на мою руку. Так как большинство обитателей Капри греки, то он говорил с ними по-гречески, время от времени извиняясь за свой довольно странный акцент. Наконец он попрощался со всеми и направился на императорскую виллу, с которой открывается великолепный вид на Неаполи-

танский залив, всего в нескольких милях от нее. Я уговорил его прилечь отдохнуть, на что он без возражений согласился.

Он обещал присутствовать на состязаниях местных юношей, когда определятся самые достойные из них, чтобы представлять Капри на играх в Неаполисе на следующей неделе. Несмотря на мои решительные возражения, он настоял на том, чтобы выполнить свое обещание; более того, опять же вопреки моим предостережениям, вечером, после завершения соревнований, он пригласил всех их участников к себе на виллу — на пир, который устроил в их честь.

Во время пира император был необыкновенно весел; он сыпал бесчисленными, весьма вольного содержания эпиграммами на греческом языке, заставляя гостей охать в изумлении от их откровенной непристойности; принимал участие в их мальчишеских забавах, перекидываясь с ними катышками из хлеба; и, несмотря на все старания, проявленные ими во время только что закончившихся состязаний, в шутку называл их «остролентяями», а не островитянами из-за свойственного им весьма размеренного образа жизни. Он дал слово, что будет на играх в Неаполисе, в которых они должны были принимать участие, и утверждал, что собирается поставить на них все свое состояние.

Мы оставались на Капри в течение четырех дней. Большую часть времени император проводил, сидя в саду и глядя на море или восточное побережье Италии. Его лицо освещала мирная улыбка; время от времени он чуть заметно кивал головой, как будто припоминал что-то.

На пятый день мы пересекли залив и прибыли в Неаполис. К этому времени император так ослабел, что уже не мог передвигаться без посторонней помощи. Тем не менее он настоял на своем присутствии на играх, как

обещал молодым каприйским атлетам. Должен признаться, что я, хотя и знал, что конец его близок, не мог не согласиться на это. Мне было совершенно очевидно, что разница в лучшем случае будет измеряться днями, не более того. Все утро он провел на самом солнцепеке, громко подбадривая команду каприйских греков, а когда соревнования наконец закончились, выяснилось, что он не может подняться с ложа.

Мы вынесли его со стадиона на носилках; по дороге на виллу он сказал, что хотел бы посетить поместье, где когда-то бывал еще ребенком. Нола, где оно находилось, была недалеко — всего в восемнадцати милях от нас, поэтому я не стал возражать. Рано утром следующего дня мы прибыли в старый дом семейства Октавиев.

Зная, что ждать осталось недолго, я послал гонца в Беневент, где в это время находились Ливия с Тиберием. Согласно велению императора, я дал им ясно понять, что он не желает видеть Тиберия, но при этом разрешает объявить о том, что Тиберий был при нем в его последние часы.

Утром в день своей смерти он спросил меня:

— Уже скоро, Филипп?

Что-то в его голосе не позволило мне покривить душой.

— Трудно сказать наверняка,— ответил я.— Но ждать осталось недолго.

Он умиротворенно кивнул.

— В таком случае мне следует выполнить свои последние обязанности.

Ряд его знакомых — я полагаю, к тому времени у него никого не осталось, кого он мог бы с полным правом назвать другом,— прослышав о его болезни, поспешили из Рима в Нолу. Он их принял, любезно попрощался со всеми и, попросив содействовать законному переходу власти, обязал поддержать Тиберия,

приходящего ему на смену. Один из присутствующих изобразил было рыдания, на что Октавий, нахмурившись, сказал:

— Как нехорошо с твоей стороны плакать по случаю моей радости.

Затем он пожелал остаться наедине с Ливией. Я сделал движение к дверям, но он подал мне знак остаться.

Когда он говорил с Ливией, я чувствовал, что силы его на исходе. Он подозвал ее к себе; она встала подле него на колени и поцеловала его в щеку.

— Твой сын...— с трудом проговорил он.— Твой сын...

Он вдруг хрипло задышал, челюсть его отвалилась; затем, с видимым усилием, он собрал последние силы и сказал:

— Нам не в чем себя винить. Мы неплохо ладили. Лучше, чем большинство других.

Он откинулся на постели; я бросился к нему; он еще дышал. Ливия дотронулась до его щеки. Она еще немного посидела возле него, а потом вышла из комнаты.

Через некоторое время он вдруг открыл глаза и сказал, обращаясь ко мне:

— Филипп, мои воспоминания... Они мне теперь ни к чему.

На мгновение, мне показалось, его разум помутился, ибо он вдруг вскрикнул:

— Молодые! Молодые подхватят эстафету!

Я положил руку ему на лоб; он снова взглянул на меня, поднялся на локте и улыбнулся; затем его ярко-голубые глаза остекленели, тело судорожно дернулось, и он завалился на бок.

Так умер Гай Октавий Цезарь Август, в три часа пополудни девятнадцатого дня августа, в консульство Секста Помпея и Секста Аппулея. Он скончался в той

же самой комнате, что и его родной отец, Октавий-старший, за семьдесят два года до этого.

Что касается того длинного письма, что Октавий написал своему другу Николаю Дамаскину, то могу сказать следующее: мне было доверено доставить его по назначению, но еще в Неаполисе я узнал, что Николай умер двумя неделями раньше. Я не стал говорить об этом императору, ибо, как мне представлялось в то время, он был счастлив мыслью о том, что его старинный друг прочтет последние слова, написанные им, и не хотел лишний раз огорчать старика.

Через несколько недель после его смерти в своей ссылке в Регии умерла и его дочь Юлия; в городе шептались, что ее бывший муж Тиберий уморил ее голодом. Я не знаю, насколько правдив этот слух, и подозреваю, что никто из ныне живущих не может его подтвердить.

Последние тридцать лет, вплоть до сегодняшнего дня, среди многих молодых людей принято снисходительно отзываться о долгом правлении Октавия Цезаря. Да и сам он в конце жизни думал, что его усилия пропали даром.

Тем не менее созданная им Римская империя сумела пережить суровость Тиберия, чудовищную жестокость Калигулы и бездарность Клавдия. Что касается нашего нынешнего императора, то ты был его наставником с самых ранних лет и остаешься близок к нему в его новой роли. Возблагодарим же судьбу за то, что он будет править, освещенный твоей мудростью и добродетелью, и вознесем молитвы богам, чтобы под властью Нерона Рим наконец-то осуществил мечту Октавия Цезаря.

Рим, Нортхемптон, Денвер
1967 — 1972 гг.

КОММЕНТАРИИ

ДЖОН УИЛЬЯМС известен в США как талантливый литератор, выпустивший несколько романов и два стихотворных сборника. Он стал лауреатом таких престижных литературных премий, как Рокфеллеровская премия, полученная им за прозаические произведения в 1967 году, и Национальная премия в области искусств (1969 г.). Дж. Уильямс является также крупным филологом, автором монографии «Поэзия английского Возрождения»; с 1954 года он профессор английской филологии в Денверском университете (США, штат Колорадо).

Литературная критика отмечает Дж. Уильямса как блестящего стилиста, что в полной мере отразилось в его историческом романе «Август», который поставлен критиками в ряд лучших произведений исторической беллетристики.

Текст печатается по изданию: John Williams. Augustus. Viking Press.— N. Y., 1972.

Стр. 5. *Август* — от глагола «augere», т.е. «возвеличенный богами» или «податель благ: тот, кто возвеличил свое государство».

Октавиан — буквально означает «бывший Октавий» и указывает на то, что человек перешел в другой род, в данном случае — из рода Октавиев в род Юлиев; понятно, что Август всячески избегал этого имени, как бы унижавшего его значимость и родовитость.

Претор (praetor) — второй после консула сановник, осуществлявший верховную судебную власть; с 247 г. до н.э. их было

двое: претор по делам римских граждан и претор по делам иностранцев и их взаимоотношений с римлянами, затем их число возросло до шестнадцати; при Августе — главный казначей; пропретор — наместник в одной из спокойных провинций.

Патриций (patricius) — человек, принадлежащий к родовой римской знати.

Понтифик (pontifex) — член жреческой коллегии; соответственно верховный понтифик — ее глава.

Стр. 6. *Марк Антоний* (Marcus Antonjus) (83 —30 гг. до н.э.) — римский полководец, сторонник Цезаря.

Цицерон (Cicero) Марк Туллий (106 — 43 гг. до н.э.) — римский политический деятель, оратор и писатель; сторонник республиканского строя. Из сочинений сохранились 58 судебных и политических речей, 19 трактатов по риторике, политике, философии и более 800 писем.

Консул (consul) — глава римской республики; ежегодно избирались два консула — до 367 г. до н.э. только из патрициев, а впоследствии — также из плебеев; *проконсул* — глава одной из провинций, обычно из консуляров, т.е. бывших консулов.

Проскрипции (proscripcio) — объявление лиц вне закона, подлежащих, таким образом, физическому устранению.

Всадники — члены одного из высших римских сословий (equitatus).

Стр. 7. *Секст Помпей* (ок. 75 — 35 гг. до н.э.) — римский политический деятель, полководец, сын Гнея Помпея. Активно занимался морским пиратством.

Овация — малый триумф. Полководец идет пешком к форуму в сопровождении сената в миртовом венке. *Триумф* — торжество в честь полководца-победителя.

Плебейский трибун (tribuncia potestas) — лицо, контролирующее от имени народа Рима деятельность сената и должностных лиц; Август, присвоив себе трибунскую власть, нарушил закон, поскольку трибунами имели право быть только плебеи, а он по усыновлению принадлежал к патрицианскому роду Юлиев.

Стр. 8. *Клеопатра* (69 — 30 гг. до н.э.) — последняя царица Египта с 51 г. из династии Птолемеев.

Весталки — в Древнем Риме жрицы богини Весты, поддерживавшие в храме богини священный огонь. Избирались из девочек знатных семей, должны были служить богине 30 лет, соблюдая обет безбрачия.

Стр. 9. *Помпей* Великий (Pompeius Magnus) Гней (106 — 48 гг. до н.э.) — римский полководец. Участвовал в подавлении восстания Спартака. Создал с Крассом (см. стр. 13) и Цезарем первый триумвират. После распада триумвирата (53 г.) воевал

против Цезаря. В 48 г. победил его при Диррахии (Эпир), но затем был сам разбит Цезарем при Фарсале (Фессалия).

Стр. 10. *Pontifex maximus* (*греч.*) — верховный понтифик — см. выше *Понтифик*.

Стр. 11. *Эдил* (atdilis) — чиновник, в обязанности которого входили организация народных зрелищ, городское благоустройство, надзор за общественными зданиями, полицейский надзор и регулирование продовольственного снабжения.

Стр. 12. *Тиберий* (Tiberius) Клавдий Нерон (как император Тиберий Цезарь Август) (42 г. до н.э. — 37 г. н.э.) — римский император с 14 г. н.э. Пасынок Августа. Опираясь на преторианскую гвардию, проводил автократичную политику. Добился улучшения финансового положения империи.

Стр. 13. *Легат* (legatus) — 1) посол; 2) помощник главнокомандующего; 3) в имперскую эпоху — командир легиона; 4) помощник наместника провинции; 5) императорский наместник в провинции.

Красс (Crassus) (ок. 115 — 53 гг. до н.э.) — римский полководец. В 71 году подавил восстание Спартака. Входил вместе с Помпеем и Цезарем в первый триумвират.

Стр. 14. *Маркоманны* — германское племя. В 166 — 180 гг. н.э. воевали с Римом. В конце V века осели в Баварии.

Стр. 17. *Меценат* (Maecenas) Гай Цильний (между 74 и 64 — 8 гг. до н.э.) — приближенный императора Августа, выполнявший его дипломатические и политические, а также частные поручения. Покровительство поэтам сделало его имя нарицательным.

Вергилий (Vergilius) Марон Публий (70 — 19 гг. до н.э.) — римский поэт. Основные произведения: «Буколики» («Пастушеские песни»), «Георгики» («Поэма о земледелии»), героический эпос «Энеида» о странствиях троянца Энея и основании Рима — вершина римской классической поэзии. Эпикурейские и идиллические мотивы сочетаются с интересом к политике, идеализируется строй Римской империи.

Гораций (Horatius) (Квинт Гораций Флакк) (65 — 8 гг. до н.э.) — римский поэт. В сатирах, лирических «одах», посланиях — философские рассуждения, наставления житейско-философского характера. Трактат «Наука поэзии» стал теоретической основой классицизма.

Овидий (Ovidius) (Публий Овидий Назон) (43 г. до н.э. — ок. 18 г. н.э.) — римский поэт. Любовные элегии и послания, проникнутые юмором и иронией дидактические поэмы «Наука любви», «Средства от любви». Мифологический эпос «Метаморфозы» о превращениях людей и богов в животных, созвездия и т.п. «Фасты» — о римских религиозных праздниках. В конце

жизни, находясь в изгнании, написал «Скорбные элегии» и «Письма с Понта».

Стр. 18. *Август умер.*— Согласно римскому историку Светонию, «перед смертью он спросил окружавших его друзей, хорошо ли он сыграл комедию жизни? И произнес заключительные строки:

Коль хорошо сыграли мы, похлопайте
И проводите добрым нас напутствием».

Стр. 21. *...при Фарсале.*— См. выше *Помпей.*

Тит Ливий (Titus Livius) (59 г. до н.э. — 17 г. н.э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

Сенека (Seneca) Луций Анней (ок. 4 г. до н.э. — 65 г. н.э.) — римский политический деятель, философ и писатель, представитель стоицизма. Воспитатель Нерона; по его приказу покончил жизнь самоубийством.

Стр. 32. *Каллимах* (ок. 310 — ок. 240 гг. до н.э.) — древнегреческий поэт, автор гимнов, элегий и эпиграмм.

Катулл (Catullus) Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 гг. до н.э.) — римский поэт, известный своей любовной лирикой.

Стр. 39. *Сулла* (Sulla) (138 — 78 гг. до н.э.) — римский полководец, консул в 88 г. до н.э. Победив Г. Мария в гражданской войне, стал в 82 г. диктатором, проводил массовые проскрипции. В 79 г. сложил полномочия.

Стр. 58. *Сократ* (470/469 — 399 гг. до н.э.) — древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как метода познания. Излагал свое учение устно. Цель философии — самопознание как путь к постижению истинного блага; добродетель есть знание, или мудрость. Для последующих эпох стал воплощением идеала мудреца.

Стр. 69. *Пизон* Гней Кальпурний — консул в 7 г. до н.э., позднее, в 17 г. н.э., наместник Сирии.

Стр. 118. *Страбон Амасийский* (64/63 г. — 23/24 г. н.э.) — греческий историк, географ, путешественник. Автор «Географии», ставшей итогом географических знаний античности, и несохранившегося труда «Исторические записки».

Николай Дамаскин (Дамасский) (61 г. до н.э. - нач. I в. н.э.) — древнегреческий историк. Из сочинений дошли во фрагментах: «История» (в четырех книгах), первые книги которой посвящены истории и мифологии Востока, последние — событиям 7 — 4 гг. в Средиземноморье, «Жизнь Цезаря», прославляющая императора Августа, и др.

Стр. 150. *Вакх* (Дионис) — в греческой мифологии бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия.

Афина — в греческой мифологии богиня мудрости и справедливой войны.

Стр. 151. *Тот* — в египетской мифологии бог мудрости, счета и письма.

Стр. 154. *Эврисфей* — в греческой мифологии царь Тиринфа и Микен, сын Сфенела и Никиппы, родившийся раньше Геракла и поэтому получивший власть над Микенами и соседними народами. Геракл, выполняя его приказы, совершил свои двенадцать подвигов.

Стр. 156. *Амон-Ра* — в египетской мифологии бог солнца.

Стр. 175. *Медея* — в греческой мифологии волшебница, дочь царя Колхиды Эета, влюбившаяся в предводителя аргонавтов Ясона и бежавшая с ним из Колхиды.

Цирцея (Кирка) — в греческой мифологии волшебница, дочь Гелиоса и Персеиды, сестра колхидского царя Эета, тетка Медеи. Одиссей покоряет ее и провел на ее волшебном острове год счастливой жизни.

Стр. 190. *Далмация* — юго-западная, береговая часть Иллирии.

Стр. 223. *Каллиопа* («Прекрасноголосая») — в греческой мифологии одна из девяти олимпийских муз, муза эпической поэзии и науки.

Стр. 224. *Антисфен Афинский* (ок.444 — ок.365 гг. до н.э.) — древнегреческий философ, основатель школы киников. Вел аскетический образ жизни и проповедовал отказ от каких-либо потребностей.

Стр. 245. *Гесиод* (VIII — VII вв. до н.э.) — первый известный по имени древнегреческий поэт. Поэмы: «Труды и дни», славящая труд землепашца, «Теогония» (т.е. родословие богов), представляющая собой систематизацию греческих мифов.

Эсхил (ок. 525 — 456 гг. до н.э.) — древнегреческий поэт, драматург, «отец трагедии». Трагедии «Орестея», «Семеро против Фив», «Прикованный Прометей».

Стр. 246. *Тибулл* (Tibullus) Альбий (ок. 50 — 19 гг. до н.э.) — римский поэт, автор любовных элегий, идеализирующих деревенскую жизнь.

Стр. 281. *Тезей* (Тесей) — один из главных героев греческой мифологии, сын афинского царя Эгея.

Скирон — в греческой мифологии разбойник, сын Посейдона. Убивал путников на дороге между Афинами и Мегарой и сбрасывал их в море на съедение чудовищной черепахе.

Стр. 289. *Аякс* — в греческой мифологии имя двух героев, участников Троянской войны: Алиса Оилида, царя локров, искусного метателя копья и бегуна, и Аякса Теламонида, двоюродного брата Ахилла. В романе упомянут второй из них, который кончает жизнь самоубийством. Оскорбленный несправедливым, по его мнению, дележом доспехов погибшего Ахилла, он решает

перебить ахейских вождей, но Афина насылает на него безумие, и он убивает стада скота. Очнувшись от помрачения, он, не в силах пережить позора, бросается на меч.

Стр. 307. *Секст Проперций* (Propertius) (ок. 50 — ок. 15 гг. до н.э.) — римский поэт, известный любовной лирикой, оказавшей влияние на развитие элегического стиля.

Стр. 309. *Сатурналии* (Saturnalia) — в Древнем Риме ежегодные празднества, проводившиеся в декабре в честь бога Сатурна. Сопровождались карнавалами, в которых не соблюдались сословные различия, и порой — откровенными оргиями.

Стр. 325. *Веста* — в римской мифологии богиня священного очага городской общины, курни, дома.

Стр. 326. *Аврора* — в римской мифологии богиня утренней зари.

Юнона — в римской мифологии богиня брака, материнства, женщин и женской производительной силы, супруга верховного бога Юпитера.

Стр. 401. *Парменид* из Элей (ок. 540 — ок. 470 гг. до н.э.) — древнегреческий философ; первым провел принципиальное различие между умопостигаемым неизменным и вечным бытием (сфера истинного знания) и чувственно воспринимаемой изменчивостью и преходящей текучестью всех вещей (сфера «мнения»); сформулировал идею тождества бытия и мышления.

Зенон из Элей (ок. 490 — 430 гг. до н.э.) — древнегреческий философ. Аристотель считал его основателем диалектики как метода постижения истины посредством спора или истолкования противоположных мнений.

Стр. 402. *Курульный триумф* — триумф на колеснице.

Стр. 413. *Эол* — в греческой мифологии владыка ветров.

Стр. 414. *Эней* — в греческой и римской мифологиях сын Анхиса и Афродиты (римской Венеры), троянец. Потомками его сына Аскания (Юла) считали себя представители рода Юлиев (Юлий Цезарь и Август). Легенда о переселении Энея в Италию и основание им Рима нашла свое поэтическое воплощение в творении Вергилия «Энеида».

Стр. 427. *Авгуры* (Augures) — в Древнем Риме древнейшая коллегия жрецов, толковавшая волю богов главным образом на основании ауспиций, т.е. по наблюдениям за полетом и криком птиц.

Стр. 441. *Эпистола* — произведение, написанное в жанре письменного обращения автора к другому лицу.

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯНИЙ АВГУСТА ОКТАВИАНА

63 год до н.э.
В Риме родился Гай Октавий.

44 год до н.э.
Убийство Юлия Цезаря; Октавий возвращается из Аполлонии Иллирийской в Рим, чтобы принять наследство Цезаря в качестве его приемного сына и свое новое имя — Гай Юлий Цезарь.

43 год до н.э.
Победа над Марком Антонием при Мутине; первый консулат Октавиана; соглашение с Антонием и Лепидом и создание второго триумвирата.

42 год до н.э.
Победа над армиями убийц Цезаря Брутом и Кассием при Филиппах.

41 — 40 годы до н.э.
Перузийская война с братом Антония Луцием Антонием.

40 год до н.э.
Брундизийский договор с Антонием; брак со Скрибонией; брак Антония и Октавии, сестры Октавиана.

39 год до н.э.
Рождение единственного ребенка Октавиана, Юлии.

38 год до н.э.
Развод Октавиана со Скрибонией и женитьба на Ливии.

38 — 36 годы до н.э.
Война с морским пиратом Секстом Помпеем.

32 год до н.э.
Клятва верности народа Рима и Италии Октавиану; объявление войны Клеопатре.

31 год до н.э.
Разгром армий Антония и Клеопатры при Акции.

30 год до н.э.
Окончательная победа над Антонием и Клеопатрой. Аннексия Египта.

29 год до н.э.
Возвращение Октавиана в Рим и празднование тройного триумфа.

27 год до н.э.
«Восстановление республики» и принятие от сената имени Август.

28 — 24 годы до н.э.
Пребывание Августа в Испании.

23 год до н.э.
Заговор Авла Теренция Вара Мурены; отказ Августа от консульства, получение трибунской власти; смерть Марцелла, племянника Августа.

22 — 19 годы до н.э.
Поездка Августа по восточным провинциям.

19 год до н.э.
Сенат предоставляет Августу проконсульскую власть.

16 — 13 годы до н.э.
Пребывание Августа в Галлии; завоевание Реции и Норика.

13 — 9 годы до н.э.
Подчинение Паннонии.

12 год до н.э.
Избрание Августа великим понтификом.

2 год до н.э.
Провозглашение Августа отцом отечества; освящение форума Августа; ссылка Юлии, согласно закону о прелюбодеянии и по подозрению в участии в заговоре.

4 год н.э.
Усыновление Тиберия (сына от первого брака Ливии).

14 год н.э.
Смерть Августа в Ноле, область Кампания.

СОДЕРЖАНИЕ

Август Октавиан. *Биографическая статья* 5

Джон Уильямс. АВГУСТ. *Исторический роман*

От автора 21
Книга первая 23
Книга вторая 207
Книга третья 386
Эпилог 440

Комментарии 447

Хронология жизни и деяний Августа Октавиана 453

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Издательство просит отзывы об этой книге и ваши предложения по серии «Великие властители» присылать по адресу:

125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 37б

Издательство АРМАДА

А 18 **Август Октавиан:** Уильямс Джон. Август: Исторический роман / Коммент. С. А. Смирнова; Худож. В. Н. Любин.— М.: АРМАДА, 1997.— 456 с.— (Великие властители).

ISBN 5-7632-0231-7

Роман известного американского писателя и поэта Джона Уильямса посвящен жизни одного из величайших политических деятелей истории — римского императора Августа. Будучи тонким стилистом, автор воссоздает широкую панораму бурной римской жизни, гражданских войн, заговоров, интриг и строительства грандиозной империи в виде собрания писем различных исторических лиц — самого Августа, его родных, друзей и врагов,— а также из «неизвестных» страниц летописей той эпохи.

УДК 82-311.6(02)
ББК 84.(7)я5

РЕДАКЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературно-художественное издание

Великие властители

АВГУСТ ОКТАВИАН

ДЖОН УИЛЬЯМС
АВГУСТ

Заведующая редакцией
Е. В. Леонова

Редактор
С. А. Смирнов

Художественный редактор
Л. П. Копачева

Технический редактор
А. А. Ершова

Изд. лицензия ЛР № 040627 от 12.05.93. Формат 84x108 1/32.
Бумага кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Изд. № 1035. Заказ № 817

Издательство АРМАДА
125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 37б

Отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии
«Правда Севера»
163002, Архангельск, Новгородский просп., 32

ВЕЛИКИЕ ВЛАСТИТЕЛИ

в романах

АВГУСТ ОКТАВИАН

63 до н. э. – 14 н. э.